

МИРЫ АЙЗЕКА АЗИМОВА

МИРЫ АЙЗЕКА АЗИМОВА









**ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ФИРМА
«ПОЛЯРИС»**

WORLDS OF ISAAC ASIMOV

Volume twelve

AZAZEL

SHORT STORIES

**«POLARIS» PUBLISHERS
1994**

МИРЫ АЙЗЕКА АЗИМОВА

Книга двенадцатая

**АЗАЗЕЛ
РАССКАЗЫ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1994**

Azazel

Copyright © 1988 by Nightfall, Inc.

© 1994 Издательская фирма «Полярис»,
*перевод на русский язык, оформление,
составление, название серии*

Книга выпущена при участии
издательства «Фолио», г. Харьков

Перепечатка отдельных рассказов и
всего издания в целом запрещена без
разрешения издателя и переводчика. Вся-
кое коммерческое использование данного
издания возможно исключительно с пись-
менного разрешения издателя.

А 4703040100—040 Без объявл.
94

ISBN 5-88132-120-0



АЗАЗЕЛ

1

-

·

)

ВВЕДЕНИЕ

В 1980 году джентльмен по имени Эрик Плоттер попросил меня поставлять по одной таинственной истории каждый месяц для очередного номера выпускаемого им журнала. Я согласился, поскольку приятным людям отказывать не умею (а все мои знакомые редакторы — весьма приятные люди).

Первый написанный мной рассказ был смесью фантастики и детектива, и в нем фигурировал демон ростом в два сантиметра. Рассказ я назвал «Сравнять счет», и Эрик его принял и напечатал. В нем описывался джентльмен по имени Гризволд в роли рассказчика и трое слушателей (в том числе персонаж, излагавший события от первого лица, которым был я, хотя и не названный по имени). Упоминалось, что они все вчетвером собираются каждую неделю в Юнион-клубе; и эту серию я собирался продолжить еженедельными рассказами Гризволда.

Но когда я попытался написать следующую историю про того же двухсантиметрового демона из «Сравнять счет» (новый рассказ назывался «Всего один концерт»), Эрик сказал «нет». Один раз чуть-чуть фантастики — хорошо, но не следует возводить это в обычай.

Поэтому я отложил в сторону «Всего один концерт» и стал писать таинственные истории без малейшей примеси фантастики. Тридцать этих рассказов (Эрик настаивал, чтобы они были от 2000 до 2200 слов) вошли потом в книгу «Таинственные истории Юнион-клуба» (Даблдей, 1983). «Сравнять счет» я туда не включил, потому что из-за того самого маленького

демона рассказ этот стоял особняком от остальных. Тем временем я шлифовал «Всего один концерт». Не люблю, когда что-то пропадает зря, и не люблю, когда не удастся опубликовать написанное. Поэтому я подошел к Эрику и спросил:

— Тот рассказ, «Всего один концерт», от которого вы отказались, — я могу его печатать?

Он сказал:

— Конечно, только измените имя персонажа. Мне бы хотелось, чтобы ваши рассказы о Гризволде и его слушателях были только в моем журнале.

Так я и сделал. Гризволду я изменил имя на «Джордж», а аудиторию сократил до одного человека — персонажа «от первого лица», которым был я. После этого я продал «Всего один концерт» в «Журнал фэнтези и научной фантастики». Потом я написал еще один рассказ этой серии, которую я начал мысленно называть «Рассказы о Джордже и Азазеле» (Азazel — имя демона). Этот рассказ, названный «Улыбка, принссящая горе», я продал тому же журналу.

Однако у меня есть и свой собственный «Журнал научной фантастики Айзека Азимова», и моему редактору, Шоне Мак-Карти, не понравилось, что я отдаю работу в грубой журнал.

Я ответил:

— Шона, истории о Джордже и Азазеле — это чистая фэнтези, а мы публикуем только научную фантастику.

Она ответила:

— Так замените маленького демона с волшебной силой на внеземное существо с развитой технологией и продавайте рассказы мне.

Я так и сделал. А поскольку истории Джорджа и Азазела меня не отпускали, я продолжал их писать, и вот восемнадцать рассказов из них я включаю в сборник «Азazel». Их только восемнадцать, потому что не было Эрика, который требовал краткости, и я мог писать рассказы вдвое длиннее, чем про Гризволда.

Но рассказ «Сравнить счет» я снова не включил, поскольку он был не в духе остальных рассказов сборника. Его постигла грустная судьба оказавшегося между двух стульев, и он ни к одной серии не подошел. (Огорчаться не стоит, потому что он уже включался в

антологии и может попасть туда еще. Не надо так уж его жалеть.)

В этих рассказах есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание читателя. Наверное, каждый и сам их отметил бы, но просто я очень болтлив.

1) Как я уже говорил, первый рассказ, написанный мной про этого демона, я опустил, поскольку он не подходит к остальным. Моя красавица редактор, Дженнифер Брель, тем не менее потребовала, чтобы в первом рассказе было описано, как я познакомился с Джорджем и откуда у Джорджа взялся демон. Дженнифер — воплощенная мягкость, но когда она чего-то хочет, борьбы с ней нет. Поэтому я написал рассказ «Демон ростом в два сантиметра», в котором было то, что она просила, и включил его в книгу первым. Более того, Дженнифер решила, что Азazel должен быть демоном, а не внеземным существом, так что мы опять вернулись к чистой фантазии. «Азazel» — имя библейское, и читатели Библии обычно воспринимают его как имя демона, хотя на самом деле все несколько сложнее.

2) Джордж описан как любитель гармовщинки, и хотя вообще я не люблю таких людей, лично Джордж кажется мне симпатичным. Надеюсь, что и вам тоже. Персонаж «от первого лица» (на самом деле — Айзек Азимов) часто получает от него оскорбления и регулярно подвергается вытягиванию нескольких долларов, но я не обращаю на это внимания. Как я объяснил в конце первого рассказа, его рассказы того стоят, и я делаю на них больше денег, чем даю Джорджу, — хотя бы потому, что даю я только в рассказах.

3) Пожалуйста, имейте в виду, что все рассказы задуманы как юмористические, и если вы сочтете, что их стиль слишком претенциозный и «не азимовский», то это сделано намеренно. Можете считать это предрепреждением. Если вы ждете чего-то другого — не покупайте эту книгу, чтобы не испытать разочарования. И если вам покажется, что в ней чувствуется легкое влияние П. Дж. Вудхауза, то поверьте мне — это не случайно.

ДЕМОН РОСТОМ В ДВА САНТИМЕТРА

Джорджа я встретил много лет назад на одной литературной конференции. Меня тогда поразило странное выражение откровенности и простодушия на его круглом немолодом лице. Мне сразу показалось, что это именно тот человек, которого хочется попросить постеречь вещи, когда идешь купаться.

Он меня узнал по фотографиям на обложках моих книг и сразу же стал радостно рассказывать мне, как нравятся ему мои романы и рассказы, что, конечно, позволило мне составить о нем мнение как о человеке интеллигентном и с хорошим вкусом.

Мы пожали друг другу руки, и он представился:

— Джордж Кнутовичер.

— Кнутовичер, — повторил я, чтобы запомнить. — Необычная фамилия.

— Датская, — сказал он, — и весьма аристократическая. Я происхожу от Кнута, более известного как Канут, — датского короля, завоевавшего в начале одиннадцатого столетия Англию. Основатель моей фамилии был сыном Канута, но он, разумеется, был рожден не с той стороны одеяла.

— Разумеется, — пробормотал я, хотя мне не было понятно, почему это разумелось.

— Его называли Кнудом по отцу, — продолжал Джордж. — Когда его показали королю, августейший датчанин воскликнул: «Бог и ангелы, это мой наследник?» «Не совсем, — сказала придворная дама, баюкавшая младенца. — Он ведь незаконный, поскольку его мать — та прачка, которую Ваше...» «А, — ухмыльнулся король, — в тот вечер...» И с этого момента младенца стали называть Кнутвечер. Я унаследовал это имя по прямой линии, хотя оно со временем превратилось в Кнутовичер.

Глаза Джорджа смотрели на меня с такой гипнотизирующей наивностью, которая исключала саму возможность сомнения.

Я предложил:

— Пойдемте позавтракаем? — и показал рукой в сторону роскошно отделанного ресторана, который явно был рассчитан на пухлый бумажник.

Джордж спросил:

— Вы не считаете, что это быстро несколько вульгарно выглядит? А на той стороне есть маленькая закусочная...

— Я приглашаю, — успел я добавить.

Джордж облизал губы и произнес:

— Теперь я вижу это быстро несколько в другом свете, и оно мне кажется вполне уютным. Я согласен.

Когда подали горячее, Джордж сказал:

— У моего предка Кнутвечера был сын, которого он назвал Свайн. Хорошее датское имя.

— Да, я знаю, — сказал я. — У короля Кнута отца звали Свайн Вилобородый. Позднее это имя писали «Свен».

Джордж слегка поморщился:

— Не надо, старина, обрушивать на меня свою эрудицию. Я вполне готов признать, что и у вас есть какие-то зачатки образования.

Я устыдился.

— Извините.

Он сделал рукой жест великодушного прощения, заказал еще бокал вина и сказал:

— Свайн Кнутвечер увлекался молодыми женщинами — черта, которую от него унаследовали все Кнутовичеры, и пользовался успехом, — как и мы все, мог бы добавить я. Есть легенда, что многие женщины, расставшись с ним, покачивая головой, замечали: «Ну, он и Свин». Еще он был архимагом. — Джордж остановился и настороженно спросил: — Что значит это звание — вы знаете?

— Нет, — солгал я, пытаюсь скрыть свою оскорбительную осведомленность. — Расскажите.

— Архимаг — это мастер волшебства, — сказал Джордж, что прозвучало как вздох облегчения. — Свайн изучал тайные науки и оккультные искусства. В те времена это было почтенное занятие, потому что еще не появился этот мерзкий скептицизм. Свайн хотел найти способы делать юных дам сговорчивыми и ласковыми, что является украшением женственности, и избегать проявлений всякого с их стороны своеволия или невоспитанности.

— А, — сказал я с сочувствием.

— Для этого ему понадобились демоны. Он научился их вызывать путем сжигания корней определенных папоротников и произнесения некоторых полузабытых заклинаний.

— И это помогло, мистер Кнутовичер?

— Просто Джордж. Разумеется, помогло. На него работали демоны целыми командами и преисподними. Дело было в том, что, как он часто сетовал, женщины тех времен были довольно тупы и ограничены, и его заявления, что он — внук короля, они встречали издевательскими замечаниями насчет природы его происхождения. Когда же в дело вступал демон, им открывалась истина, что королевская кровь — всегда королевская кровь.

Я спросил:

— И вы уверены, Джордж, что так это и было?

— Конечно, поскольку прошлым летом я нашел его книгу рецептов для вызова демонов. Она была в одном старом разрушенном английском замке, принадлежавшем когда-то нашей семье. В книге перечислялись точные названия папоротников, способы сожжения, скорость горения, заклинания, интонации их произнесе-

ния — одним словом, все. Написана эта книга на староанглийском, — точнее, англосаксонском, но так как я немного лингвист...

Тут я не смог скрыть некоторого скептицизма:

— Вы шутите?

Он взглянул на меня гордо и недоуменно:

— Почему вы так решили? Я что, хихикаю? Книга настоящая, и я сам проверил рецепты.

— И вызвали демона.

— Разумеется, — сказал он, многозначительным жестом показывая на нагрудный карман пиджака.

— Там, в кармане?

Джордж провел пальцами по карману, явно собираясь кивнуть, но вдруг нащупал что-то или отсутствие чего-то. Он полез пальцами в карман.

— Ушел, — с неудовольствием сказал Джордж. — Дематериализовался. Но винить его за это нельзя. Он тут был со мной вчера вечером, потому что ему, понимаете ли, было любопытно, что это за конференция. Я ему дал немножко виски из пипетки, и ему понравилось. Быть может, даже слишком понравилось, поскольку ему захотелось подраться с какаду в клетке над баром, и он своим писклявым голоском стал осыпать бедную птицу гнусными оскорблениями. К счастью, он заснул раньше, чем оскорбленная сторона успелаотреагировать. Сегодня утром он выглядел не лучшим образом, и я думаю, он отправился домой, где бы это ни было, для поправки.

Я слегка возмутился:

— Вы мне хотите сказать, что носите демона в нагрудном кармане?

— Ваше умение сразу схватывать суть достойно восхищения.

— И какого он размера?

— Два сантиметра.

— Что же это за демон размером в два сантиметра!

— Маленький, — сказал Джордж. — Но, как говорит старая пословица, лучше маленький демон, чем никакого.

— Зависит от того, в каком он настроении.

— Ну, Азazel — так его зовут — довольно дружелюбный демон. Я подозреваю, что его соплеменники

обращаются с ним свысока, а потому он из кожи вон лезет, чтобы произвести на меня впечатление своим могуществом. Он только отказывается дать мне богатство, хотя ради старой дружбы давно уже должен был бы. Но нет, он утверждает, что вся его сила должна использоваться только на благо других.

— Ну, бросьте, Джордж. Это явно не адская философия.

Джордж прижал палец к губам:

— Тише, старина. Не говорите такого вслух — Азазел обидится несусветно. Он утверждает, что его страна благословенна, достойна и крайне цивилизована, и с благоговением упоминает правителя, имя которого не произносит, но называет Сущий-Во-Всем.

— И он в самом деле творит добро?

— Где только может. Вот, например, история с моей крестницей, Джунипер Пен...

— Джунипер Пен?

— Да. По глазам вижу, что вы хотели бы услышать об этом случае, и я вам с радостью его расскажу.

В те времена (так говорил Джордж) Джунипер Пен была большеглазой второкурсницей, юной приятной девушкой, и увлекалась баскетболом, а точнее, баскетбольной командой — там все как один были высокие и красивые парни.

А более всего из этой команды привлекал ее девичьи мечты Леандр Томпсон. Он был высокий, складный, с большими руками, которые так ловко обхватывали баскетбольный мяч или любой предмет, имевший форму и размеры баскетбольного мяча, что как-то сама собой вспоминалась Джунипер. На играх, сидя среди болельщиков, она все свои вопли адресовала ему одному.

Своими сладкими грезами Джунипер делилась со мной, потому что, как и все молодые женщины — даже те, кто не были моими крестницами, — она при виде меня испытывала тягу к откровенности. Наверное, это из-за моей манеры держать себя тепло, но с достоинством.

— О дядя Джордж, — говорила она мне, — ведь ничего нет плохого в том, что я мечтаю о будущем для

нас с Леандром. Я сейчас уже вижу, как он будет самым великим баскетболистом мира, красой и гордостью профессионального спорта, с долгосрочным контрактом на огромную сумму. Я ведь не слишком многого хочу. Все, что мне надо от жизни, — это увитый лозами трехэтажный особнячок, маленький садик до горизонта, несколько слуг — два-три взвода, не больше, и маленький гардероб с платьями на любой случай, на любой день недели, на любой сезон и...

Я был вынужден прервать ее очаровательное воркование:

— Деточка, — сказал я. — В твоих планах есть маленькая неувязка. Леандр не такой уж хороший баскетболист, и не похоже, чтобы его ждал контракт с бешеными гонорами.

— Но это так несправедливо, — она надула губки. — Ну почему он не такой хороший игрок?

— Потому что мир так устроен. А почему бы тебе не перенести свои юные восторги на какого-нибудь понастоящему классного игрока? Или, например, на молодого брокера с Уолл-стрит, имеющего доступ к внутренней биржевой информации?

— Честно говоря, дядя Джордж, я пыталась, но мне нравится Леандр. Бывает, что я смотрю на него и спрашиваю себя: на самом ли деле деньги так много значат?

— Тише, моя милая! — Я был шокирован. Современные девицы не имеют понятия, о чем можно, а о чем нельзя говорить вслух.

— А почему нельзя, чтобы и деньги у меня тоже были? Разве я так много прошу?

И в самом деле, разве это так много? В конце концов, у меня был свой демон. Маленький, конечно, демон, но зато с большим сердцем. Понятно, что он захочет помочь двум истинно любящим, у которых сердца бьются сильнее при мысли о том, как они сами и их капиталы сольются в экстазе. Азazel послушно явился, когда я вызвал его соответствующим заклинанием. Нет, вам я не могу его сообщить. Неужели у вас нет элементарного понятия об этике?

Да, так он послушался, но не выразил энтузиазма, на который я мог рассчитывать. Я допускаю, что вытаскил

его из его собственного континуума, оторвав от какого-то удовольствия вроде турецких бань, поскольку он был завернут в довольно тонкое полотенце и дрожал от холода, а голос у него казался еще выше и писклявее, чем обычно. (Я, честно говоря, не думаю, что это его настоящий голос. Скорее всего он общается со мной с помощью чего-то вроде телепатии, а в результате я слышу — или воображаю, что слышу — писклявый голос.)

— Что такое «баскетбол» — корзинный шар? Это шар в форме корзины? А если это так, то что такое корзина?

Я попытался объяснить, но для демона он был весьма твердолоб. Я описывал ему всю игру с полной ясностью и во всех подробностях, а он смотрел на меня так, как если бы я нес бессмыслицу. Наконец он сказал:

— *Увидеть* эту игру можно?

— Конечно, — ответил я. — Сегодня вечером будет игра. Я пройду по билету, что дал мне Леандр, а ты — в моем кармане.

— Отлично, — сказал Азazel. — Вызови меня, когда пойдешь. А сейчас у меня зимжиговка, — и он исчез.

Думаю, он имел в виду турецкие бани.

Должен признать, что меня крайне раздражает, когда кто-то прерывает мои важнейшие дела, вылезая со своими мелкими трудностями, кажущимися ему неотложнее всего на свете — да, кстати, официант давно пытается привлечь ваше внимание. Полагаю, он хочет принести вам счет. Возьмите у него бумажку, и я буду рассказывать дальше.

Этим вечером я пошел на баскетбол, а в кармане у меня сидел Азazel. Он все время высовывал голову, чтобы получше все рассмотреть, и хороший бы я имел вид, если бы кто-нибудь заметил! У него ярко-красная шкура и рожки на лбу. Хорошо еще, что он не вылезал весь, поскольку сантиметровый мускулистый хвост — наиболее замечательная часть его тела, но и наиболее неприятная на вид.

Я не очень большой тиффози баскетбола, так что я предоставил Азазелу самому разбираться, что происходит на площадке. У него довольно мощный интеллект, хотя скорее демонический, нежели человеческий.

После игры он мне сказал:

— Насколько я могу заключить по неуклюжим действиям этих громоздких, нелепых и абсолютно неинтересных индивидуумов там, на арене, они весьма заинтересованы в том, чтобы просунуть в обруч этот странный шар.

— Именно так, — сказал я. — Попадание в корзину приносит очки.

— Следовательно, твой протеже станет героем этой глупой игры, если будет каждый раз забрасывать шар в обруч?

— Совершенно верно.

Азazel задумчиво повертел хвостом.

— Это нетрудно. Я ему слегка подрегулирую рефлексy, улучшу оценку угла, высоты, силы... — он погрузился в недолгое сосредоточенное молчание, потом сказал: — Давай посмотрим. Я во время игры зафиксировал особенности его координации движений. Да это можно сделать. Вот, уже готово. Теперь твой Леандр будет забрасывать шар в обруч без труда.

Я был слегка заинтригован и с нетерпением ждал следующей игры. Маленькой Джунипер я не сказал ни слова, поскольку ни разу до того не использовал демоническую силу Азazела и не был вполне уверен, что его дела стоят его слов. Ну, и еще я хотел сделать ей сюрприз. (А получилось так, что сюрприз, и крупный, пережили мы оба.)

Наконец настал день игры, и это была она — *та самая* игра. Наш колледж, Зубрилвильский технологический, в котором Леандр был довольно тусклой звездой не первой величины, играл с командой Исправительной школы имени Аль Капоне, и битва обещала быть эпической.

Но чтобы настолько эпической — не ожидал никто. Пятерка капонцев повела в счете, а я внимательно следил за Леандром. Первое время он никак не мог подладиться к игре и даже промахивался по мячу, пытаясь вести его в дриблинге. Я думаю, у него настолько изменились все рефлексy, что он поначалу не мог вообще управлять мышцами.

Но постепенно он привык к новым возможностям своего тела. Он ухватил мяч, и тот выскользнул у него

из рук — но как! Описав в воздухе высокую дугу, он с центра поля опустился в обруч. Трибуны взорвались криком, а Леандр недоверчиво осмотрел свои руки, как будто пытаясь понять, что случилось.

Но то, что случилось, случалось опять и опять. Как только мяч попадал к Леандру, он плавно взлетал в воздух, а оттуда падал точно в корзину. Все происходило так быстро, что никто не видел, как Леандр прицеливается, — казалось, что он действует без всякого усилия. А публика, считая это признаком высокого искусства, впала в неистовство.

Но потом, конечно, произошло неизбежное — игра превратилась в хаос. Зрители орали, как мартовские коты, выпускники-капонцы, покрытые шрамами, с переломанными носами, выкрикивали замечания самого уничижительного толка, а по всем углам зала вскипали кулачные бои. Что я забыл сообщить Азазелу, так это то, что казалось мне само собой понятным — а именно, что две корзины в разных концах площадки не идентичны. Одна — своя, другая — противника, и каждый игрок должен целиться в нужную корзину. А мяч из рук Леандра с равнодушием, свойственным столь неодушевленному объекту, летел всегда в ту корзину, которая была ближе. В результате Леандр много раз забивал мячи собственной команде.

И делал он это, несмотря на все вежливые указания, что давал ему с трибуны зубрилвильский тренер Вурд О'Лак, по прозвищу «папаша», когда ему удавалось сквозь пену на губах прохрипеть хоть что-то осмысленное. Горько улыбаясь, папаша Вурд вынужден был собственноручно удалить Леандра с площадки и плакал, не таясь, когда судьи оторвали его пальцы от горла Леандра, чтобы довести удаление до конца.

Друг мой, Леандр уже никогда потом не оправился от этой истории. Я полагал, что он будет искать забвения в вине и станет упорным и вдумчивым алкоголиком. Это бы я понял. Но он скатился гораздо ниже. Он занялся учебой.

Под сочувственно-презрительными взглядами своих говарищей он шатался с лекции на лекцию, прятал глаза в книгу и все глубже погружался в трясину учения.

Но Джунипер, несмотря ни на что, его не бросила. «Я ему нужна», — так она говорила, и непролитые слезы блестели в ее глазах. Жертвуя для него всем, она вышла за него замуж сразу после их выпуска. Она держалась за него даже тогда, когда он пал так низко, что был заклеямен ученой степенью по физике.

Теперь они с Джунипер прозябают где-то в маленьком домике в Вестсайде. Он преподает физику и занимается, насколько я знаю, какими-то космогоническими исследованиями. Зарабатывает он шестьдесят тысяч в год, и те, кто знал его вполне добропорядочным лоботрясом, шепотом передают отвратительный слух, что он — готовый кандидат на Нобелевскую премию.

Однако Джунипер никогда не жалуется и хранит верность поверженному кумиру. Ни словом, ни поступком она никогда не показала, как жалеет об утрате, но своего старого крестного ей не обмануть. Я-то знаю, как иногда вздыхает она о том увитом лозами особнячке, которого никогда уже у нее не будет, и видит перед собой крутые холмы и далекие горизонты маленького именища, так и оставшегося мечтой.

— Вот и вся история, — сказал Джордж, сгребая со стола принесенную официантом сдачу и списывая сумму с чека кредитной карты (как я полагаю, чтобы вычесть ее из суммы налога). — На вашем месте я бы оставил приличные чаевые.

Я так и сделал, скорее всего — от удивления, а Джордж улыбнулся и пошел прочь.

О потере сдачи я не сожалел. В конце концов, Джордж получил только еду, а я — рассказ, который могу выдать за свой и который принесет мне гораздо больше денег, чем стоил обед.

А вообще, я решил, что время от времени буду обедать с Джорджем.

ВСЕГО ОДИН КОНЦЕРТ

У меня есть приятель, который иногда намекает, что умеет вызывать духов из бездны.

По крайней мере, как он утверждает, одного духа — очень маленького и со строго ограниченными возможностями. Об этом он, впрочем, заговаривает не раньше четвертого бокала шотландского с содовой. Здесь очень важно поймать точку равновесия: три — он слыхом не слыхивал ни о чем спиритическом (кроме виски и джина), пять — и он уже спит.

В тот вечер мне казалось, что он как раз вышел на нужный уровень, и я его спросил:

— Вы помните, Джордж, о вашем спиритусе?

— М-м? — Джордж уставился на свой стакан, пытаясь понять, что именно о нем он мог забыть.

— Не винный спирт, Джордж, а тот дух, помните — два сантиметра ростом, которого вы вроде бы вызывали из какого-то другого места, где он якобы существует. Ну, тот, со сверхъестественными возможностями.

— А, — сказал Джордж, — это Азazel. Конечно, его зовут не так, но настоящее его имя, боюсь, не произнести, так я его зову этим. Помню его.

— Вы часто его используете?

— Нет. Опасно. Слишком опасно. Всегда есть соблазн поиграть с этой силой. Сам я весьма осторожен, вдвойне осторожен. Но я, как вы знаете, человек высокой этики и вот однажды почувствовал, как сострадание призывает меня помочь своему другу. Но что из этого вышло! Даже сейчас мучительно вспоминать.

— А что случилось?

— Может быть, я должен с кем-то разделить этот груз, лежащий на моей душе, — задумчиво сказал Джордж. — Нарыв должен прорваться...

Я был много моложе в те времена (так говорил Джордж), в том возрасте, когда женщины составляют значительную часть жизни. Теперь, оглядываясь назад, понимаешь, что это глупо, но тогда, я помню, очень было безразлично, какая именно женщина будет рядом.

На самом деле ты просто запускаешь руку в мешок, да и вытащишь оттуда примерно одно и то же, но в те года...

Был у меня друг по имени Мортенсон — Эндрю Мортенсон. Вы вряд ли его знаете. Я его и сам последние годы не очень часто вижу.

Дело было в том, что он сходил с ума по одной женщине — одной вполне определенной женщине. Она была ангелом. Он жить без нее не мог. Она была единственной в мире, и все вселенная без нее была просто куском грязи в нефтяной луже. Ну, известно, какую чушь несут влюбленные.

Беда же была в том, что она дала ему окончательную и очевидную отставку, и сделала это в исключительно грубой форме, никак не стараясь пощадить его самолюбие. Она его продуманно унизила, уйдя с другим прямо на его глазах, щелкнув пальцами у него перед носом и бессердечно рассмеявшись в ответ на его слезы.

Я не утверждаю, что все эти действия совершались буквально. Я просто передаю его переживания, которыми он со мной поделился. Мы тогда сидели и выпивали вот в этой самой комнате. Мое сердце обливалось кровью от сострадания, и я сказал ему:

— Мортенсон, вы меня простите, но не надо воспринимать это так трагически. Попробуйте рассудить здраво — в конце концов, она всего только женщина, каких тысяча в день проходит мимо этого окна.

Он горько ответил:

— Друг мой, не будет отныне женщин в моей жизни ни одной — кроме моей жены, общения с которой не всегда удастся избежать. Но этой я бы хотел как-то отплатить.

— Жене? — спросил я.

— Да нет, с чего бы это я решил ей платить? Я имею в виду ту, что бросила меня столь бессердечно.

— Отплатить — как именно?

— А черт меня побери, если я знаю, — сказал он.

— Может быть, я смогу помочь, — сказал я, ибо сердце мое все еще обливалось кровью сострадания. — Я могу воспользоваться услугами духа, обладающего сверхъестественной силой. Маленького, конечно, духа — я развел пальцы на пару сантиметров, давая понятие о его размере, — который и может сделать не больше, чем столько.

Я рассказал ему про Азазела, и он, разумеется, поверил. Я часто замечал, что мои рассказы весьма убедительны. Когда вы, старина, что-нибудь рассказываете, дух недоверия стоит такой густой, хоть топор вешай. Со мной по-другому. Нет ничего дороже репутации правдивого человека и честного, прямодушного вида.

Да, так я ему рассказал, и у него глаза заблестели. Он спросил, может ли демон устроить ей то, что он попросит.

— Только если это приемлемо, старина. Я надеюсь, у вас нет на уме ничего такого, как, например, заставить ее плохо пахнуть или чтобы у нее изо рта при разговоре выпрыгивала жаба.

— Конечно, нет, — сказал он с отвращением. — За кого вы меня принимаете? Она подарила мне два счастливых года, и я хочу ей сделать подарок не хуже. У вашего духа, говорите, ограниченные возможности?

— Он — маленькое существо, — сказал я и снова показал пальцами.

— Может он дать ей совершенный голос? Хотя бы на время? Хотя бы на одно выступление?

— Я его спрошу.

Предложение Мортенсона звучало в высшей степени по-джентльменски. Его экс-симпатия пела кантаты, если я правильно называю это занятие, в местной церкви. В те дни у меня был прекрасный музыкальный слух, и я часто посещал подобные концерты (стараясь, конечно, держаться подальше от кружки для пожертвованной). Мне нравилось, как она поет, да и публика принимала ее достаточно вежливо. Я в те времена считал, что ее нравственность несколько не соответствовала обстановке, но Мортенсон говорил, что для сопрано допускаются исключения.

Итак, я обратился к Азазелу. Он охотно взялся помочь, без этих дурацких штучек насчет того, чтобы отдать ему взамен душу. Помню, я его однажды спросил, не нужна ли ему моя душа, и оказалось, что он даже не знает, что это такое. Он спросил меня, что я имею в виду, и выяснилось, что я тоже не знаю. Дело в том, что в своем мире он настолько мелкая сопка, что для него большим успехом является сам факт переброски своей массы в нашу вселенную. Он просто любит помогать.

Азазел ответил, что может это устроить на три часа, а когда я передал ответ Мортенсону, тот сказал, что это будет великолепно. Мы выбрали тот вечер, в который она должна была петь Баха, или Генделя, или кого-то из этих старых композиторов и где ей полагалось долгое впечатляющее соло.

Мортенсон тем вечером направился в церковь, а я, конечно, пошел с ним. Я чувствовал себя ответственным за то, что должно было произойти, и хотел как следует понаблюдать за ситуацией.

Мортенсон мрачно заявил:

— Я был на репетициях. Она пела, как всегда — как будто у нее есть хвост и кто-то на него все время наступают.

Раньше он описывал ее голос несколько иначе. Музыка сфер, говаривал он при случае, и самых горних сфер. Правда, она его бросила, а это иногда приводит к смене критериев.

Я строго посмотрел на него:

— Так не отзываются о женщине, которой собираются поднести столь бесценный дар.

— Не говорите ерунды. Я действительно хочу, чтобы ее голос стал совершенным. Воистину совершенным. И теперь, когда с моих глаз спала пелена влюбленности, я понимаю — ей есть куда расти, и долго. Как вы думаете, ваш дух даст ей этот голос?

— Изменение не должно начаться ранее 20.15. — Меня пронзил холодок подозрения. — Вы хотите, чтобы совершенство пришлось на репетицию, а на публике — разочарование и фиаско?

— Вы ничего не поняли, — ответил он.

Они начали чуть раньше, и когда она вышла в своем концертном платье, мои старые карманные часы, которые никогда не ошибались больше чем на две секунды, показывали 20.14. Она была не из этих subtilных сопрано — в ее щедрой конструкции было предусмотрено достаточно места для такого резонанса на высоких нотах, который топит звук всего оркестра. Когда она забирала несколько галлонов воздуха и пускала его в дело, мне через несколько слоев текстиля было видно, что Мортенсон в ней нашел.

Она начала на своем обычном уровне, но ровно в 20.15 как будто добавился другой голос. Я увидел, как она аж подпрыгнула, не веря своим ушам, и рука, прижатая к диафрагме, задрожала.

Голос воспарил. Как будто у нее в груди был божественный орган совершеннейшей настройки. Каждая нота была совершенством, впервые рожденным в сию минуту, а все другие ноты той же высоты и тона — лишь бледные копии.

Каждая нота шла с нужным вибрато (если это правильное слово), разрастаясь или сжимаясь с неведомой прежде силой и мастерством. И с каждой нотой все лучше и лучше пела певица. Органист оторвался от нот и смотрел на нее, и — я не могу поклясться, но мне показалось — он бросил играть. Но если он и играл, я его не слышал. Когда пела она, никто бы ничего не услышал. Ничего, кроме ее голоса.

Выражение удивления на ее лице сменилось экзальтацией. Ноты, которые она держала в руках, опусти-

лись: они не были нужны. Голос пел сам по себе, и ей даже не нужно было его направлять или командовать. Дирижер застыл, а весь хор онемел.

Соло кончилось, и голос вступившего хора показался шепотом, как будто хористы стыдились своих голосов и того, что они должны были звучать в той же церкви и в тот же вечер.

Остальная часть программы принадлежала ей. Когда она пела, только она и была слышна, даже если звучали голоса других. Когда она не пела, мы как бы погружались в темноту, и невыносимо было отсутствие света. А когда все кончилось — да, я знаю, в церкви не хлопают, но в тот вечер хлопали. Все, кто там был, встали как один, будто их, как марионеток, вздернула невидимая нить, и аплодисменты длились и длились, и было ясно, что так они будут хлопать всю ночь и перестанут, лишь если она снова запоеет.

И она запела, и ее одинокий голос звучал на фоне шепчущего органа, и луч прожектора выхватил ее из тьмы световым пятном, и не было видно никого из хора — только ее.

Свобода и легкость. Вы не можете себе представить, как свободно, без малейшего усилия, лился ее голос. Я чуть уши себе не вывихнул, пытаюсь поймать момент, когда она вдохнет, понять, сколько она может держать одну ноту на полной силе голоса, имея только одну пару легких. Но это должно было кончиться — и кончилось. Даже аплодисменты стихли. И только тогда заметил я, как блестят глаза у Мортенсона рядом со мной и как всем своим существом он ушел в ее поющий голос. И только тогда начал я понимать, что сейчас произошло.

В конце концов, я-то прям, как эвклидова прямая, и с моим прямодушием я никак не мог предвидеть, что он задумал. А вы, друг мой, настолько извилисты, что можете без единого поворота туловища взойти по винтовой лестнице, и по вашей кривой ухмылке я вижу, что вы уже догадались.

Это было, как если бы она была слепой от рождения и ровно на три часа обрела зрение, увидела формы и цвета удивительного окружающего нас мира, на который мы уже не обращаем внимания, потому что привык-

ли. Вот представьте себе, что увидели вы весь мир во всей славе его на три часа — и ослепли снова навеки!

Легко выносить слепоту, если не знал ничего другого. Но прозреть на три часа и снова ослепнуть? Этого не вынесет никто.

Конечно, эта женщина уже никогда не пела вновь. Но это еще не все. Настоящая трагедия постигла нас — каждого из публики. В течение трех часов мы слушали совершенную, понимаете — *совершенную* музыку. Как вы думаете, можем ли мы после этого слушать что-то другое?

Мне с тех пор словно медведь на ухо наступил. Вот недавно я тут пошел на один из этих рок-фестивалей, что нынче так популярны, просто чтобы себя проверить. Так вы не поверите, но я не мог разобрать ни одного мотива. Для меня это все как шум.

Одно мое утешение — Мортенсон, который слушал внимательнее всех и сосредоточеннее всех, ему и досталось больше всех. Теперь он носит ушные затычки, потому что не переносит никакого звука громче шепота. Так ему и надо!

УЛЫБКА, ПРИНОСЯЩАЯ ГОРЕ

Как-то за пивом я спросил своего приятеля Джорджа (пиво пил он, а я обошелся лимонадом):

— Как там поживает ваш мелкий бесенок?

Джордж утверждает, что у него есть демон ростом два сантиметра, которого он умеет вызывать. Мне никогда не удавалось заставить его признать, что он выдумывает. И никому не удавалось.

Джордж взглянул на меня долгим, пронзительным взором, а потом сказал:

— Ах да, вам-то я про него и рассказывал! Надеюсь, что вы больше никому не говорили.

— Слова не сказал, — подтвердил я. — На мой взгляд, достаточно того, что я считаю вас сумасшедшим. Мне не надо, чтобы кто-нибудь разделял мое мнение.

(Кроме меня он рассказал про демона еще примерно шестерым, так что в нарушении конфиденциальности с моей стороны даже не было необходимости.)

Джордж заявил:

— Я бы не хотел обладать вашей способностью не верить ничему, чего вы не можете понять — а понять вы не можете так многого, — даже за цену килограмма плутония. А если мой демон услышит, как вы обы-

ваете его бесенком, то, что от вас останется, будет стоять меньше атома плутония.

— Вы узнали его настоящее имя? — спросил я, нимало не обеспокоенный его грозным предупреждением.

— Не смог! Человеческие уста не в силах его произнести. Перевод же, как мне дали понять, звучит примерно так: «Я, Царь Царей, Могучий, Дающий Надежду и Отчаяние». Конечно, это вранье, — сказал Джордж, задумчиво глядя в свою кружку. — У себя дома он — мелкая сошка. Потому-то он здесь так охотно мне помогает. В нашем мире с его отсталой технологией он может себя проявить.

— И давно он проявил себя последний раз?

— На самом деле совсем недавно, — Джордж выпустил нечеловеческой силы вздох и посмотрел своими выцветшими голубыми глазами прямо на меня. Его редкие седые усы медленно опустились после пронесшегося урагана эмоций.

Эта история началась с Розы О'Доннел (так сказал Джордж). Она была подругой моей племянницы и очень приятным созданием сама по себе. У нее были голубые глаза, почти такие яркие, как у меня, длинные, роскошные каштановые волосы, точеный носик, усыпанный веснушками, которые столь восхищают авторов любовных романов, лебединая шея и стройная, без изъянов, фигура, обещающая восторги любви.

Для меня, конечно, все это представляло чисто эстетический интерес, поскольку я уже много лет назад вступил в возраст воздержания и теперь ввязываюсь в физические последствия увлечения, только если дамы настаивают, что, благодарение судьбе, случается только изредка и тянется не дольше уик-энда.

Кроме того, Розы недавно вышла замуж и почему-то преувеличенно обожала своего молодого мужа — здорового ирландца, который не давал себе труда скрывать, что он весьма мускулист и не менее вспыльчив. Я не сомневался, что в свои молодые годы легко бы с ним справился, но, к сожалению, мои молодые годы давно уже позади. По всему по этому я с некоторой неохотой,

но терпел привычку Розы считать меня чем-то вроде близкой подруги ее возраста и пола и делать меня поверенным ее девичьих тайн.

Я, понимаете ли, не ставлю ей это в вину. Мое природное достоинство и внешность римского императора автоматически привлекают ко мне молодых дам. Тем не менее я не позволял ей заходить слишком далеко. Я всегда следил, чтобы между мной и Розой была достаточная дистанция, поскольку я никоим образом не желал, чтобы до ушей несомненно здорового и, вероятно, вспыльчивого Кевина О'Доннелла дошли какие бы то ни было искаженные слухи.

— Ах, Джордж, — сказала однажды, всплеснув ручками, Роза. — Если бы вы знали, какая лапушка мой Кевин и как он умеет меня убаживать. Вам рассказать, как он это делает?

— Я не уверен, — осторожно начал я, стараясь избежать слишком откровенных излияний, — что вам следует...

Она не обратила внимания.

— Он вот так морщит нос, а глазами вот так часто-часто хлопает, а еще при этом так ярко улыбается, что ни один человек не может не развеселиться, когда на него смотрит. Знаете, как будто солнышко выглянуло и все осветило. Ах, если бы у меня была его фотография с таким лицом! Я пыталась его снять, но никак не могла поймать момент.

Я сказал:

— Милая моя, а чем вас не устраивает натура?

— Ну, понимаете... — она замялась, очаровательно покраснела, а потом продолжила: — Он ведь не всегда такой. У него в аэропорту страшно тяжелая работа, так что иногда он приходит такой усталый, что немножко хмурится и ворчит. А вот если бы у меня была его фотография, то это бы меня тогда утешало. Сильно-сильно утешало, — закончила она, и в глазах блеснули непролитые слезы.

Должен признать, что у меня мелькнула было мысль рассказать ей про Азазела (я его так называю, потому что не собираюсь произносить тот набор слов, который якобы является переводом его имени) и объяснить, что он для нее может сделать.

Однако я очень щепетилен в вопросах сохранения чужой тайны и понятия не имею, откуда вы разузнали про моего демона.

Ну, и кроме того, мне легко подавлять подобные импульсы, поскольку я человек жесткий, реалистичный и глупой сентиментальности не подвержен. Должен сказать, однако, что в твердой броне моего сердца есть некоторые слабые места, доступные для очаровательных юных дам выдающейся красоты, — разумеется, я имею в виду вполне достойные и почти что родительские чувства. К тому же я понял, что мог бы оказать ей эту услугу, даже не говоря ничего об Азазеле... нет, не из боязни недоверия — я могу убедить любого нормального человека без психических отклонений вроде ваших.

Когда я представил дело Азазелу, он никак не выразил восторга. Напротив, он мне заявил:

— Ты просишь сделать какую-то абстракцию.

— Ничего подобного, — сказал я ему. — Я прошу простую фотографию. Тебе надо только ее материализовать.

— И это все? Отчего бы тебе самому этого не сделать, если это так просто? Ты ведь, я вижу, разбираешься в вопросах эквивалентности массы и энергии.

— Ну только одну фотографию.

— При этом с таким выражением, которое ты даже не можешь определить или описать.

— Естественно, ведь он никогда не смотрел на меня так, как на свою жену. Но я верю в твое могущество.

Я понимал, что лишней ложкой масла кашу не испортить. И не ошибся.

Он мрачно буркнул:

— Тебе придется сделать снимок.

— Я не смогу поймать выражение... — начал я.

— Этого и не понадобится, — прервал он меня. — Это уже моя забота, но проще будет иметь материальный объект, на который можно спроецировать абстракцию. Другими словами — фотоснимок, пусть даже самый плохой, на какой ты только и способен. И конечно, только один. Больше я не смогу сделать, и вообще, не собираюсь рвать мышцы своего подсознания для тебя

или любого безмозглого представителя твоей породы из вашего мира.

Да, верно, он часто бывает резок. Я думаю, он таким образом подчеркивает важность своей роли и пытается внушить, что не обязан выполнять все, о чем его попросят.

С О'Доннелами я встретился в воскресенье, когда они возвращались из Массачусетса (на самом деле я их подкараулил). Они позволили мне снять их в выходных костюмах, причем она была польщена, а он отнесся несколько неприветливо. После этого я как можно более ненавязчиво сделал портретный снимок Кевина. Мне бы никогда не удалось заставить его улыбнуться, или сощуриться, или что там еще Роза описывала, но это не было важно. Я даже не был уверен, что правильно навел на резкость. Я, в конце концов, не принадлежу к великим фотохудожникам.

Потом я зашел к своему приятелю, который в фотографии мастер. Он мне проявил оба снимка и увеличил портрет до размера девятнадцать на двадцать восемь.

Он все это проделал с недовольным видом, ворча себе под нос, что он страшно занят, но я не обратил на это внимания. В конце концов, какое значение имеют все его глупости по сравнению с действительно важным делом, которым был занят я? Меня всегда удивляло, сколько людей никак не могут понять такой простой вещи.

Однако его настроение переменялось, как только портрет был готов. Все еще глядя на него, он мне сказал:

— Только не надо мне говорить, что это ты сделал снимок такого класса.

— А почему бы и нет? — сказал я и протянул руку за портретом, но он сделал вид, что ее не заметил.

— Тебе же нужны еще несколько копий.

— Нет, не нужны, — ответил я, заглядывая ему через плечо. Фотография была исключительно четкой и с великолепной цветовой гаммой. С нее улыбался Кевин О'Доннел, хотя я не мог припомнить такой улыбки в момент съемки. Он хорошо выглядел и смотрел приветливо, но мне это было все равно. Наверное, чтобы увидеть в этом снимке нечто большее, нужно было быть женщиной либо мужчиной вроде моего приятеля-фото-

графа, не обладающего столь высокой мужественностью, как ваш покорный слуга.

— Давай я только одну сделаю — для себя.

— Нет, — твердо ответил я и вынул снимок из его руки, предварительно взяв его за запястье, чтобы он не вздумал его выдергивать. — И негатив, будь добр. Можешь оставить себе вот этот — снимок с расстояния.

— Такое мне не нужно, — ответил он, скривив губы, и когда я уходил, он даже не пытался скрыть своего огорчения.

Портрет я вставил в рамку, поставил на полку и отступил, чтобы посмотреть. Вокруг него было видно вполне различимое сияние. Азazel хорошо сработал.

Интересно, подумал я, как отреагирует Роза. Я ей позвонил и спросил, можно ли мне заехать. Оказалось, что она собралась в магазин, но вот если бы я мог примерно через час...

Я мог, и я заехал. Свой фотоподарок, завернутый в бумагу, я ей протянул без единого слова.

— Боже мой! — воскликнула она, разрезав ленточку и разворачивая обертку. — Это что, в честь какого-то праздника или...

Но тут она его достала, и ее голос пресекся. Глаза широко открылись, и дыхание участилось. Наконец она смогла прошептать:

— Мамочка моя!

Она посмотрела на меня:

— Это то, что вы снимали в воскресенье?

Я кивнул.

— Но как вы его точно схватили! Я его такого обожаю. Ради Бога, можно я возьму это себе?

— Я принес его вам, — просто ответил я.

Она обхватила меня руками за шею и крепко поцеловала в губы. Такому человеку, как я, не любящему сантименты, это не могло понравиться, и потом пришлось вытирать усы, но ее неспособность сдерживать в тот момент свой порыв была вполне простительна.

После этого мы не виделись примерно с неделю, а потом я встретил ее как-то у лавки мясника, и с моей стороны было бы просто невежливо не предложить ей поднести сумку до дома. Естественно, меня интересовало, не собирается ли она снова полезть целоваться, и я про себя решил, что было бы грубо отказывать, если

настаивает столь очаровательное создание. Однако она упорно глядела куда-то вниз.

— Как поживает фотография? — спросил я, опасаясь, не стала ли она выцветать.

Рози сразу оживилась:

— Прекрасно! Я поставила ее на магнитофон и наклонила так, чтобы с моего места за столом ее было видно. Он на меня глядит так немножко искоса, с такой хитринкой, и нос у него наморщен как раз как надо. Честное слово, совсем как живой. И мои подружки глаз отвести не могут. Мне приходится ее прятать, когда они приходят, а то вот-вот украдут.

— А его они не украдут? — шутиливо спросил я.

Рози снова впала в то же напряженное молчание. Потом она качнула головой:

— Не думаю.

Я попробовал зайти с другой стороны:

— А как Кевину эта фотография?

— Он слова не сказал. Ни одного слова. Он, знаете ли, не очень наблюдателен. Я не уверена, что он ее вообще заметил.

— А что, если ему ее прямо показать и спросить?

Она молчала примерно полквартила, а я тащился рядом с тяжелой сумкой, гадая, не потребует ли она еще и поцелуя в придачу.

Внезапно она сказала:

— На самом деле у него сейчас такая напряженная работа, что как-то не представляется случая спросить. Он приходит домой поздно и со мной вообще почти не разговаривает. Ну, вы же знаете, мужчины — они такие. — Она попыталась засмеяться, но у нее ничего не вышло.

Мы подошли к ее дому, и я вернул ей сумку. Она вдруг сказала шепотом:

— И все равно вам спасибо за фотографию, много-много раз!

И ушла. Поцелуя она не попросила, а я настолько погрузился в свои мысли, что осознал этот факт только на полпути к дому, когда уже возвращаться только для того, чтобы спасти ее от разочарования, было бы глупо.

Прошло еще дней десять, и как-то утром она мне позвонила. Не могу ли я заехать и с ней позавтракать?

Я сдержанно заметил, что это было бы несколько неудобно — что скажут соседи?

— А, глупости, — сказала она. — Вы же такой невообразимо старый... то есть я хочу сказать, такой невообразимо старый друг, что им и в голову... Ну, а кроме того, мне нужен ваш совет. — Мне показалось, что она всхлипнула. Джентльмен всегда должен быть джентльменом, поэтому я оказался во время ленча в ее солнечной квартирке. Она поставила на стол бутерброды с ветчиной и сыром и тонкие ломтики яблочного пирога, а на магнитофоне стояла фотография, как она рассказывала.

Мы поздоровались за руку, и никаких попыток целоваться она не делала, что могло бы меня успокоить, если бы не ее вид, который отнюдь не внушал спокойствия. Она выглядела совершенно изнуренной. Я съел половину всех бутербродов, пока ждал, чтобы она заговорила, но в конце концов был вынужден сам спросить, откуда вокруг нее атмосфера такой мрачной безнадежности.

— Это из-за Кевина?

Я был уверен, что не ошибся.

Она кивнула и разразилась слезами. Я гладил ее руку, но не был уверен, что этого достаточно. Я стал ненароком гладить ей плечо, и наконец она сказала:

— Я боюсь, что он потеряет работу.

— Что за глупости! Почему?

— Понимаете, он стал такой *дикий*, очевидно, и на работе тоже. Он уже Бог знает сколько времени меня не целует и даже слова доброго никогда не скажет. Он ссорится всегда и со всеми. Что случилось — он мне не говорит, а если я спрашиваю, он бесится. Вчера зашел друг, с которым Кевин работает в аэропорту. Он сказал, что Кевин работает с таким угрюмым и несчастным видом, что начальство уже стало замечать. Я уверена, что его собираются уволить, но что же мне делать?

Чего-то в этом роде я ожидал с нашей последней встречи и решил, что надо рассказать ей правду, и черт с ним, с Азazelом. Я прокашлялся:

— Рози! Эта вот фотография...

— О да, я знаю, — воскликнула Рози, хватая фотографию и прижимая ее к груди. — Она дает мне силы это переносить. Это — *настоящий* Кевин, и что бы ни

случилось — он всегда будет со мной. — Она начала всхлипывать.

Я понял, что сказать то, что надо сказать, будет крайне трудно, однако другого пути не было. И я сказал:

— Рози, вы не поняли. Вся беда в этой фотографии, и я в этом уверен. Все обаяние, вся жизнерадостность этой фотографии должны были откуда-то взяться. Так вот, их отобрали у самого Кевина. Понимаете?

Рози перестала плакать.

— Вы это о чем? Фотография — это просто свет, собранный линзой, и еще эмульсия на пленке, и всякие там проявители — и все.

— Обычная фотография — да, но *эта*... — Я знал ограниченность возможностей Азазела. Волшебную фотографию из ничего ему было бы создать не под силу, но боюсь, что научную сторону вопроса, некий закон сохранения жизнерадостности я бы не смог объяснить Рози.

— Давайте я скажу так. Пока здесь будет стоять эта фотография, Кевин будет несчастен, сердит и раздражителен.

— Но здесь *будет* стоять эта фотография, — сказала Рози, решительно водружая ее на место, — и я не понимаю, зачем вы говорите такие ужасы про такую хорошую вещь. Ладно, давайте я сварю кофе.

Она вышла на кухню, и я видел, что она оскорблена до глубины души. Тогда я сделал то, что было единственно возможным. В конце концов, ведь это я сделал снимок. И опосредованно — через Азазела — на меня ложилась ответственность за его волшебные свойства. Я схватил рамку, осторожно снял задник, вынул фотографию. И порвал ее пополам, потом на четыре части, на восемь, на шестнадцать и сунул клочки себе в карман. Как только я закончил, зазвонил телефон, и Рози бросилась к нему в гостиную. Я вдвинул задник на место и поставил рамку обратно. Она была бела и пуста.

И тут я услышал, как Рози счастливо взвизгнула.

— Кевин! — донеслось до меня. — Это же чудесно! Я так рада! Но почему же ты мне ничего не говорил? Никогда больше так не делай!

Она вернулась с сияющим лицом.

— Вы знаете, что сделал этот ужасный Кевин? У него был камень в почке, и он ходил к врачу, и вообще,

переживал. Это же была дикая, адская боль, и могла быть нужна операция, а мне он не говорил, потому что не хотел меня волновать. Вот болван! Конечно, он ходил такой несчастный. Ему и не пришло в голову, что я еще больше переживала, не зная, что с ним творится. Нет, серьезно, мужчин нельзя оставлять без надзора.

— А отчего вы сейчас так радуетесь?

— А камень вышел. Вот только что, и он первым делом сказал мне, что очень мило с его стороны — и как раз вовремя. У него такой счастливый голос, и такой радостный. Как будто вернулся прежний Кевин. Он совсем такой, как на этой фотографии...

Рози обернулась и взвизгнула:

— Где фотография?

Я встал, собираясь уходить. На ходу, идя к двери, я произнес:

— Я ее уничтожил. Потому-то камень и вышел.

— Уничтожил? Ах ты...

Я уже был за дверью. Я не ждал благодарности, но и до убийства доводить не хотел. Не дожидаясь лифта, я поспешил вниз с той скоростью, которую мог себе позволить, и добрых два этажа до моих ушей доносился ее дикий вой.

Дома я сжег клочки.

С тех пор я не видел Рози. Как я слышал, Кевин стал нежным и любящим мужем, и они очень счастливы — и одно письмо я все же от нее получил. Семь страниц мелким почерком, сбивчивых и почти бессмысленных. Из них я только мог понять, что она считает, будто настроение Кевина полностью объясняется историей с камнем, а что появление и выход камня так совпали по времени с фотографией — чистая случайность.

Еще там было несколько совершенно сумасшедших обещаний меня убить, а также — абсолютно непоследовательно — повредить некоторые части моего тела, причем называемые такими словами, которые, как я готов был бы поклясться, она не только не употребляет, но и вообще никогда не слышала.

И я так понимаю, что никогда больше она не полезет ко мне целоваться, и это, как ни странно, меня несколько огорчает.

КОМУ ДОСТАЮТСЯ ТРОФЕИ

С моим другом Джорджем мне приходится видеться нечасто, но каждый раз я у него спрашиваю, как там тот маленький демон, которого он, как он говорит, умеет вызывать.

— Один старый и лысый писатель-фантаст, — говорил мне Джордж, — сказал однажды, что любая технология, выходящая за рамки привычного, воспринимается как колдовство. Но тем не менее мой маленький друг Азазел никоим образом не что-нибудь там внеземное, а именно демон *bona fide*. Пусть у него рост всего два сантиметра, зато он кое-что умеет. Кстати, откуда вы про него знаете?

— От вас.

Лицо Джорджа вытянулось в недоуменной гримасе, и он торжественно произнес:

— Я никогда о нем не упоминал.

— Кроме как в разговоре, — сказал я. — Кстати, что он последнее время поделявает?

Джордж вздохнул, набрав пару кубометров воздуха, и выдохнул их обратно, щедро насытив запахом пива. Потом сказал:

— Тут вы нечаянно наступили на большую мозоль. От наших с Азазелом усилий недавно пострадал мой друг, некто Теофил, а ведь мы хотели как лучше.

Он поднес кружку к губам и продолжил.

Мой друг Теофил (так говорил Джордж), которого вы не знаете, поскольку он вращается в более высоких кругах, чем те, где вам не отказывают в приеме, — утонченный молодой человек, большой ценитель грациозных линий и божественных форм молодых женщин — к чему я, слава Богу, равнодушен, — но которому недоставало способности пробуждать у них взаимность.

Он мне говаривал:

— Джордж, я этого не понимаю. Я умен, я прекрасно веду разговор, я остроумен, весел, у меня вполне терпимая внешность...

— Да-да, — отвечал я. — У вас есть глаза, нос, рот и уши, все в должном количестве и на нужных местах. Это я могу подтвердить под присягой.

— ...и потрясающе образован по теории любви, хотя у меня не было шансов испытать свои знания на практике. И вот оказывается, что я не могу привлечь к себе эти милые создания. Вот посмотрите, сколько их тут вокруг, и ни одна не выражает ни малейшей предрасположенности завязать со мной знакомство, хотя я тут сижу с гениально-глубокомысленным выражением лица.

Мое сердце обливало кровью от сострадания. Я его знал еще младенцем и помню, один раз я даже держал его на руках по просьбе его матушки, оправлявшей одежду после кормления. Такие вещи связывают людей.

Я спросил:

— Дорогой друг, были бы вы счастливей, если бы умели привлекать их внимание?

Он ответил просто:

— Это был бы рай.

Мог ли я не пустить его в рай? Я изложил Азазелу все как было, и он, как всегда, не пришел в восторг.

— Слушай, попроси лучше у меня бриллиант. Я переставлю атомы в кусочке угля, и ты получишь хороший камешек в полкарата. Но как, черт побери, я

устрою твоему приятелю неотразимость для женщин? Как?

— А если ты в нем переставишь пару атомов? — спросил я, пытаясь предложить идею. — Я хочу, чтобы ты для него что-нибудь сделал, хотя бы в память о неповторимом питательном аппарате его матушки.

— Ладно, давай подумаю, — сказал Азazel. — Скрытые феромоны человека! Разумеется, с этой вашей теперешней привычкой мыться по поводу и без повода и еще опрыскиваться искусственными ароматами вы вряд ли помните о естественном пути передачи эмоций. А я могу так перестроить биохимический портрет твоего друга, чтобы он производил большие дозы сверхэффективных феромонов в ответ на появление у него на сетчатке изображения какой-нибудь из этих грубых самок вашего уродливого вида.

— То есть он будет вонять?

— Ничего подобного. Запах феромона едва ли ощущается сознанием, но действует на самок данного вида, вызывая у них неосознанное и атавистическое желание подойти поближе и улыбнуться. Наверное, еще и стимулирует выработку ответных феромонов, а дальше, я полагаю, все происходит автоматически.

— Тогда это то, что надо, — сказал я, — поскольку, как я думаю, этот юный Теофил сможет произвести хорошее впечатление. Он такой открытый парень, темпераментный и веселый.

Работа Азazела оказалась эффективной, как я выяснил после очередной встречи с Теофилом. Это было в уличном кафе.

Его я заметил не сразу, потому что мое внимание привлекла группа молодых женщин, симметрично расположенных по окружности. Я, к счастью, уже не подвержен их чарам с тех пор, как достиг возраста умеренности, однако дело было летом, и все они были одеты в тщательно обдуманное отсутствие одежды, так что я, как человек наблюдательный, не мог не начать внимательно рассматривать.

Прошло, как я помню, несколько минут, в течение которых я наблюдал за напряженным и нервным поведением некоей пуговицы, пытавшейся удержать в закрытом положении кофточку, к которой была приши-

та. Я начал уже было строить рассуждения на тему о том, что... Но я был не прав.

Лишь через несколько минут заметил я Теофила в центре этой симметричной структуры — как Полярную звезду во главе Малой Медведицы из прекрасных летних девушек. Несомненно, его феромонную активность усилил разогрев на полуденном солнышке.

Я пробрался через этот круг женственности, по-братски подмигивая и улыбаясь, изредка позволяя себе отеческие похлопывания по плечу, и уселся рядом с Теофилом на стул, который для меня, надув губки, освободила очаровательная девушка.

— Мой молодой друг, — сказал я ему, — это зрелище чарует и вдохновляет.

И лишь сказав это, я заметил у него на лбу грустную морщинку. Я тут же заботливо спросил:

— Что случилось?

Не разжимая губ, он произнес таким тихим шепотом, что я еле расслышал:

— Бога ради, заберите меня отсюда.

Я, как вы знаете, человек решительных поступков. Мне не составило никакого труда подняться и отчетливо произнести:

— Юные леди, мой молодой друг, понуждаемый неумолимыми законами биологии, должен посетить мужской туалет. Подождите его здесь, и он вернется.

Мы вошли в ресторанчик и вышли через заднюю дверь. Одна из юных дам, с выпирающими, как булыжники, недвусмысленными бицепсами и со столь же недвусмысленным выражением подозрительности на утрюмом лице, догадалась обежать вокруг ресторана, но мы успели вовремя ее заметить и нырнуть в такси. Она гналась за нами еще два квартала, не отставая. В комнате Теофила, в безопасности, я сказал:

— Теофил, вы явно открыли секрет, как привлекать женщин. Это и есть тот рай, к которому вы стремились?

— Не совсем, — ответил Теофил, медленно ослабляясь под струей воздуха из кондиционера. — Они друг другу мешают. Я не знаю, что случилось, однако вот недавно ко мне подошла эта странная женщина и спросила, не встречала ли она меня в Атлантик-Сити. «Никогда! — возмущенно воскликнул Теофил. —

Никогда в жизни не бывал я в Атлантик-Сити». Я еще не успел возразить, как подбежала другая, утверждая, что я уронил платок и она хочет мне его вернуть, и тут же подскочила третья со словами: «Детка, хочешь сниматься в кино?»

Я ответил:

— Вам остается только выбрать одну из них. Я бы выбрал ту, которая звала в кино. Легкая жизнь, а вокруг выются тучи актрисок.

— Да не могу я никого из них выбрать. Они следят друг за другом почище стервятников. Стоит мне посмотреть на одну, так все остальные хватают ее за волосы и вышвыривают вон. У меня так же нет женщины, как и не было, только в старые дни мне хотя бы не приходилось смотреть, как они колышут грудью и глядят на меня томными глазами.

Я сочувственно вздохнул и сказал:

— А почему не устроить им отборочный турнир? Вот в таком окружении дам, как сегодня, взять и сказать: «Мои дорогие, я глубоко увлечен вами всеми вместе и каждой в отдельности. А потому прошу вас выстроиться в алфавитном порядке, и каждая по очереди меня поцелует. Та, которая исполнит это наиболее самозабвенно, останется со мной на вечер». Максимум того, что вы на этом теряете, — послужите объектом для чрезмерно старательных поцелуев.

— Хм! — произнес Теофил. — А почему бы и нет? Трофеи — победителю, и пусть меня победит самый лучший трофей. — Он облизнул губы, потом выпятил их и поцеловал воздух, отрабатывая технику. — Так и сделаем. Как вы думаете, что, если я, чтобы это было менее утомительно, поставлю условие — руки за спиной?

— Я бы не стал, — ответил я, — друг мой Теофил. В этом случае вам самому может захотеться проявлять какие-то усилия. Я бы предпочел правило — «все захваты дозволены».

— Возможно, вы правы, — сказал Теофил, воспринимая совет того, кто имел немалый опыт в вопросах подобного рода.

Вскоре я должен был покинуть город в связи с делами и не видел Теофила около месяца. Мы встрети-

лись в супермаркете. Он толкал перед собой тележку, нагруженную бакалеей. Его лицо меня убило. Загнанным взглядом озирался он по сторонам.

Я к нему подошел, и он со странным писком пригнулся. Потом узнал меня:

— Слава Богу, а то я подумал, что вы — женщина. Я покачал головой.

— Все еще мучаетесь? Вы разве не устроили отборочный турнир?

— Устроил. В том-то все и дело.

— А что случилось?

— Я... — он оглянулся по сторонам и выглянул в проход между стеллажами. Убедившись, что вокруг чисто, он заговорил тихо и быстро, как человек, который торопится что-то сказать по секрету и при этом знает, что его вот-вот прервут: — Я это сделал. Я заставил их написать заявления на конкурс с указанием возраста, сорта зубной пасты и прочего, представить как полагается рекомендации и справки — и назначил день. Конкурс должен был проходить в большом балльном зале в Уолдорф-Астории. Я заготовил приличный запас гигиенической помады для них, профессиональную массажистку и баллон с кислородом для себя для поддержания формы. Как вдруг накануне конкурса ко мне в номер является мужик. Я говорю «мужик», но сперва мне показалось — оживший кирпичный столб. Ростом под два десятка, в плечах где-то метр пятьдесят, и кулаки — как ковши паровой лопаты. Он улыбнулся, показав клыки, и заявил:

— Сэр, завтра в вашем конкурсе участвует моя сестренка.

— В самом деле? Очень рад это слышать, — сказал я, желая удержать дальнейший разговор в том же дружелюбном ключе.

— Моя маленькая сестренка, — сказал мужик, — нежный цветок на нашем корявом родословном древе. Она — зеница ока моих трех братьев и моя, и каждого из нас сводит с ума одна только мысль о том, что ее может постигнуть разочарование.

Я спросил:

— А ваши братья похожи на вас, сэр?

Он сильно смутился:

— Да нет, сэр, что вы. Я в детстве сильно болел и так и остался вот таким вот усохшим недомерком на всю жизнь. А мои братья — настоящие мужчины нормального роста. — Он показал рукой примерно два с половиной метра от земли.

Я с глубоким чувством заявил:

— Я уверен, сэр, что шансы вашей очаровательной сестры исключительно высоки.

— Это приятно слышать. У меня есть дар предвидения — я думаю, в компенсацию за мою физическую неполноценность. И вот я предвижу, что моя сестренка выиграет конкурс. По какой-то непонятной причине, — продолжил он, — моя сестричка вбила себе в голову, что вы — ее судьба, и если бы ее постигла неудача, мы — ее братья — чувствовали бы себя так, как если бы нам в морду плюнули. А уж тогда...

Тут он ослабилась еще сильнее, и клыки вылезли еще больше. Медленно, по одной, он пощелкал костяшками своих ручищ, и звук был такой, как будто ломается бедренная кость. Я никогда этого не слышал, но внезапный приступ дара предвидения дал мне ясно понять, как это звучит.

Я сказал:

— У меня такое чувство, сэр, что вы правы. Есть у вас фотография той особы, о которой идет речь?

— Вы знаете, — сказал он, — совершенно случайно есть.

Он достал фотографию в рамке, и должен признать, что у меня сердце екнуло. Я не мог себе представить, как эта леди выиграет состязание.

Однако дар предвидения — это дар предвидения, и вопреки всем шансам молодая леди одержала чистую победу. Когда объявили результат, в зале чуть не вспыхнул бунт, но победительница очистила помещение собственноручно с невероятной быстротой и эффективностью, и с тех пор мы с ней, к сожалению, — то есть к счастью — неразлучны. Да вон она, роется на мясном прилавке. Она очень любит мясо — и не только сырое.

Я посмотрел на эту девушку и сразу узнал ту, что два квартала гналась за нашим такси. Очень решительная особа. Я залюбовался ее пульсирующими бицепсами,

серьезной гастрономической увлеченностью и развитыми надбровными дугами.

— Вы знаете, Теофил, — сказал я ему, — может быть, имеет смысл снизить вашу привлекательность до прежнего уровня?

Теофил вздохнул:

— Это, боюсь, небезопасно. Моя нареченная и ее крупногабаритные братцы могут неправильно понять потерю интереса с ее стороны. Да к тому же в моем положении есть и хорошие стороны. Я могу пройти по любой улице в любое время, и как бы там ни было опасно, меня никто и пальцем не тронет, когда она со мной. Самый наглый полисмен-регулировщик сразу становится кротким, как агнец, стоит ей на него прищуриться. И она так старается мне угодить и все время придумывает что-нибудь новое. Нет, Джордж, моя судьба решена. Пятнадцатого числа через месяц у нас свадьба, и она перенесет меня через порог нашего нового дома, что дарят нам ее братья. Они хорошо зарабатывают на спрессовывании старых автомобилей, поскольку экономят на оборудовании — работают руками. Вот только иногда я...

Его взор невольно отклонился в сторону на хрупкие формы молодой блондинки, идущей по проходу в нашу сторону. Она взглянула на него так же, как и он на нее, и по ее телу прошла дрожь.

— Простите, — застенчиво произнесла она, и голос звучал, как трель флейты, — мы не могли недавно видаться в турецких банях?

Не успела она договорить, как за нами послышалась твердая поступь, и в разговор ворвался грозный баритон:

— Лапонька Теофил, эта потаскуха к тебе пристаёт?

Владычица души Теофила, наморщив лоб до глубокой борозды, сверлила девушку взглядом, и та задрожала в нескрываемом ужасе.

Я быстро встал между дамами (это был страшный риск, но никогда не знал я страха). Я сказал:

— Мадам, это дитя — моя племянница. Она заметила меня издали и бросилась ко мне поцеловать в щечку. То, что при этом она двигалась в направлении вашего

дорогого Теофила, было полнейшей, хотя и неизбежной, случайностью.

Я огорчился, когда на лице возлюбленной Теофила проявилась та уродующая печать подозрительности, на которую я обратил внимание еще при нашей первой встрече.

— А ты не врешь? — спросила она, и в ее голосе недоставало человеколюбия, которое мне так хотелось бы услышать. — Ладно, чтоб я вас тут не видела. Быстро отсюда оба.

В общем и целом, я счел разумным именно так и поступить. Взяв девушку под руку, я пошел прочь, предоставив Теофила его судьбе.

— О сэр, — сказала юная дама, — как это было храбро с вашей стороны и как находчиво. Если бы не вы, не избежать бы мне синяков и царапин.

— Это был бы стыд и позор, — галантно ответил я, — потому что такое тело, как ваше, создано не для царапин. И не для синяков. Кстати, вы упомянули турецкую баню. Давайте поищем ее вместе. У меня в квартире есть нечто в этом роде — американская, правда, и ванна, но это, в сущности, то же самое.

В конце концов, трофеи — победителю.

НЕЯСНЫЙ РОКОТ

Я стараюсь не верить тому, что рассказывает мне мой друг Джордж. Ну как можно верить человеку, утверждающему, что умеет вызывать демона по имени Азазел ростом в два сантиметра, который на самом деле — некоторое внеземное существо с необычными, хотя и очень ограниченными, возможностями.

Но под прямым немигающим взглядом простодушных глаз Джорджа я начинаю ему верить и верю — пока он говорит. Это, я думаю, эффект Старого Моряка.

Однажды я сказал, что его демон, похоже, дал ему нечто вроде дара вербального гипноза. Джордж в ответ вздохнул и сказал:

— Увы, нет! Уж если он мне что и даровал, так это дар вызывать людей на откровенную исповедь, хотя это проклятие преследовало меня еще до всякого знакомства с Азазелом. Самые необычные люди взваливали на меня бремя своих горестей. А бывало... — Он помотал головой, как будто отгоняя невыносимо печальную мысль — бывало, что и такое бремя на меня падало, что не людской плоти выносить его. Вот,

помню, встретил я однажды человека по имени Ганнибал Уэст...

Впервые я его заметил (так говорил Джордж) в ресторане того отеля, где жил. Я его заметил прежде всего потому, что он мне загораживал вид на официантку с фигурой статуэтки, одетую со вкусом, но совершенно недостаточно. Ему же, я полагаю, показалось, что я смотрю на него (чего я бы никогда по собственной воле делать не стал), и он это воспринял как приглашение к началу дружеских взаимоотношений.

Он подошел к моему столу, прихватив с собой свой бокал, и уселся без всякого там «с вашего разрешения». Я по натуре человек вежливый, так что я приветствовал его чем-то вроде хрюканья и уставился прямо на него, что он воспринял абсолютно спокойно. У него были волосы песочного цвета, спадающие по обеим сторонам черепа, белесые глаза и бледная физиономия им под цвет и еще — взгляд фанатика, хотя в тот момент я этого, признаюсь, не заметил.

— Меня зовут Ганнибал Уэст, — заявил он, — я профессор геологии. Моя узкая специальность — спелеология. Вы, случайно, не спелеолог?

Я сразу понял, что ему кажется, будто он встретил родственную душу. У меня от такой мысли ком к горлу подкатил, но человек я вежливый.

— Непонятные слова всегда меня интересовали, — сказал я. — Что такое спелеология?

— Пещеры. Изучение и исследование пещер, — ответил он. — Это мое хобби, сэр. Я исследовал пещеры всех континентов, кроме Антарктиды. О пещерах никто в мире не знает больше моего.

— Очень приятно, — сказал я, — это впечатляет.

Посчитав, что дал ему насколько возможно более холодный ответ, я помахал официантке, чтобы она принесла мне новый бокал, и с чисто научной внимательностью наблюдал за ее неспешным приближением. Однако Ганнибал Уэст не счел мой прием холодным.

— Да-да, — он энергично закивал головой, — впечатляет — это уж точно. Я исследовал пещеры, о которых никто в мире ничего не знает. Я спускался в подземные гроты, где не ступала нога человека. Я

единственный из ныне живущих, кто первый входил в такие места, где не бывало ни одно человеческое существо. Я вдыхал воздух, который никогда не тревожили человеческие легкие, и я видел и слышал такое, чего не видел и не слышал никто, кто выжил бы и рассказал.

Он передернулся.

Тут прибыл мой бокал, и я благодарно взял его, любуясь тем, как низко наклонилась официантка, ставя его передо мной на стол. Совершенно механически я сказал:

— Вы — счастливый человек.

— Вот это нет, — ответил Уэст. — Я жалкий грешник, коего призвал Господь для отмщения грехов сынов человеческих.

Тут-то я посмотрел на него внимательно и заметил взгляд фанатика, сверлящий меня насквозь.

— В пещерах? — спросил я.

— В пещерах, — торжественно и мрачно ответил он. Уж поверьте мне. Я профессор геологии, и я знаю, о чем говорю.

Я за мою долгую жизнь встречал много профессоров, которые понятия не имели, о чем говорили, но этот факт я счел излишним подчеркивать. Наверное, Уэст по моим выразительным глазам прочел, что я о нем думаю, потому что вдруг щелкнул замком портфеля у себя на коленях, выудил оттуда газету и сунул ее мне.

— Вот! — сказал он. — Читайте вот это.

Не могу сказать, что материал заслуживал углубленного изучения. Какая-то заметка в местном листке размером в три абзаца. В заголовке было написано: «Неясный рокот», а в скобках стояло: «Восточный Хренборо, штат Нью-Йорк». Там что-то было насчет неясного рокочущего шума, на который жаловались в полицию местные жители и который приводил в неистовство все собачье-кошачье население городка. Полиция списала этот звук на дальнюю грозу, хотя метеорологический отдел клялся и божился, что гроз в этот день в регионе не было ни одной.

— Ну, и как вам *это*? — спросил Уэст.

— Может, это была эпидемия несварения желудка?

Он скривился так, как будто эта идея не стоила даже презрения — хотя любой, кто хоть раз испытал несварение желудка, с ним бы не согласился.

— У меня, — сказал он, — есть точно такие же сообщения из Ливерпуля в Англии, из Боготы в Колумбии, из Милана в Италии, из Рангуна в Бирме и еще из полусотни различных точек земного шара. Я их собираю. И во всех говорится о глухом рокочущем шуме, наводящем страх и беспокойство и вгоняющем в панику домашних животных. И все эти случаи укладываются в два дня.

— Какое-то событие мирового масштаба, — заметил я.

— Именно! А то скажете — несварение. — Он соорудил мне гримасу, отхлебнул из своего бокала и постучал себя по груди: — Ибо Господь вложил мне в руки оружие, и я должен узнать, как применять его.

— А что за оружие? — спросил я.

Он не дал прямого ответа.

— Эту пещеру я нашел случайно, что мне больше нравится, потому что пещера с кричащим входом — это публичная девка, и там уже толпы топтались. Вы мне покажите вход узкий и скрытый, загороженный камнепадом и заросший бурьяном, да еще чтобы он был за водопадом и в недоступном месте — и я вам скажу, что эта пещера девственна и туда стоит лезть. Вы сказали, что спелеологии не знаете?

— Ну, я, конечно, бывал в пещерах. Вот, например, Люрейские пещеры в Виргинии...

— С платным входом! — Уэст сморщился, ища на полу место, куда плюнуть. К счастью, не нашел. — Раз вы ничего не знаете о божественных радостях исследования пещер, — начал он, — я не буду вас утомлять рассказом о том, как я ее нашел и как обследовал. Вообще говоря, исследовать новую пещеру без напарника небезопасно, однако я всегда к этому готов. В конце концов, в этом деле мне нет равных, не говоря уже о том, что я храбр как лев. Но в этом случае мне как раз повезло, что я был один, ибо то, что нашел я, не было предназначено ни для кого другого. Продвигаясь вперед, я обнаружил большой безмолвный зал, где сталагмиты гордо воздымались навстречу не менее величественным сталактитам. Я шел, огибая сталагмиты и разматывая за собой бечеву, поскольку не люблю терять дорогу, как вдруг наткнулся на сталагмит, сломанный посередине там, где сцепление плоских слоев было

почему-то слабее. По одну сторону от обломка пол был покрыт известняковой крошкой.

Не знаю, отчего он сломался — то ли какая-то тварь налетела на него, спасаясь от преследования, то ли какому-то небольшому землетрясению этот сталагмит показался слабее других. В любом случае сейчас на вершинке этого обломка была гладкая плоская площадка, влажно блеснувшая в свете моего фонарика. Она так напоминала барабан, что я не выдержал и постучал по ней пальцем. — Тут он залпом допил бокал и добавил: — Это и был барабан, или, по крайней мере, структура, отвечающая вибрацией на постукивание. Как только я тронул обломок, зал наполнил глухой рокот — тяжелый звук на грани порога слышимости, инфразвук. Как я позже определил, только ничтожная доля звуковых волн пришлась на слышимый диапазон, а почти весь звук выражался в мощных колебаниях, слишком медленных для человеческого уха, но сотрясающих тело. От этого неслышимого эха я испытал наиболее неприятные ощущения, которые только можно вообразить. Раньше я никогда ничего подобного не встречал. Энергия постукивания ничтожна, как же могла она вызвать такие мощные колебания? Этого я полностью так и не понял. Конечно, где-то под землей есть источники энергии. Может существовать способ освобождения тепловой энергии магмы и превращения ее в звук. А начальное постукивание могло сыграть роль спускового механизма этого звукового лазера, или, если создавать новый термин, «звазера».

Я растерянно заметил:

— Никогда о таком не слышал.

— Да уж конечно, — Уэст неприятно хихикнул, — наверняка не слышали. Никто никогда ни о чем таком не слышал. Естественный звазер, образовавшийся в результате редкой комбинации геологических условий. Такая штука может случиться не чаще раза в миллион лет и не больше чем в одной точке планеты. Это должен быть редчайший феномен всей Земли.

Я заметил:

— Это довольно далеко идущие выводы из одного щелчка пальцем по барабану.

— Заверяю вас, сэр, как ученый, что я не удовлетворился одним щелчком. Я продолжил эксперимент.

Попробовав стукнуть сильнее, я убедился, что могу серьезно пострадать от реверберации инфразвука в замкнутом пространстве. Тогда я соорудил систему, которая позволяла мне бросать камешки на звазер извне пещеры — некий аппарат с дистанционным управлением. И с удивлением обнаружил, что звук слышен в довольно далеких от пещеры местах. Простеньким сейсмографом я обнаружил колебания на расстоянии нескольких миль. А бросив случайно серию камешков, я убедился в кумулятивности эффекта.

— Это было, — спросил я, — в тот день, когда по всему миру слышался глухой рокот?

— Абсолютно верно, — ответил он. — Вы совсем не такой дебил, каким кажется. Вся планета звенела, как колокол.

— Я слышал, что это бывает только при особо сильных землетрясениях.

— Верно, однако звазер может вызвать колебания более сильные, чем любое землетрясение, при этом с определенной длиной волны, например такой, от которой вытряхивается содержимое клеток, — допустим, нуклеиновые кислоты хромосом.

Я обдумал сказанное.

— Это убило бы живые клетки.

— Наверняка. Может быть, так погибли динозавры.

— Я слышал, что они погибли из-за столкновения Земли с астероидом.

— Это так, но, чтобы так подействовало простое столкновение, мы должны допустить, что астероид был гигантским — десять километров в поперечнике. И тогда приходится предполагать пыль в стратосфере, трехлетнюю зиму и прочее, чтобы весьма нелогичным способом объяснить, почему одни организмы погибли, а другие выжили. А теперь допустим, что астероид был гораздо меньше, но стукнул по звазеру, а его колебания стали разрушать клетки. Около девяноста процентов всех живых клеток в мире распались за несколько минут без видимых изменений в окружающей среде. Какие-то организмы погибли, а какие-то выжили. Это уже полностью зависит от сравнительных структур нуклеиновых кислот.

— Это и есть, — спросил я с жутким ощущением, что этот фанатик говорит всерьез, — это и есть то оружие, что вложил в ваши руки Господь?

— Воистину, — ответил он. — Я узнал, как генерировать волны заданной длины, меняя способ постукивания, и теперь мне осталось только точно определить длину волны, от которой разрушаются клетки человека.

— Почему человека? — спросил я.

— А почему нет? — ответил он вопросом на вопрос. — Какой другой вид наводняет планету, разрушает среду, поражает радиацией другие виды и насыщает биосферу химической дрянью? Кто разрушает Землю так, что через пару десятков лет на ней не останется ничего живого? Кто, кроме *Homo sapiens*? Если мне удастся найти нужную волну, я ударю по звазеру с нужной частотой и силой, на Землю обрушится волна омывающего звука, и за день или два, которые понадобятся звуковым волнам на обход всей планеты, ее поверхность очистится от людской скверны без вреда для других форм жизни с другой структурой нуклеиновых кислот.

Я спросил:

— Вы собираетесь оборвать миллиарды людских жизней?

— Так поступил Господь во время потопа...

— Ну, мы **же** не можем верить библейским легендам о...

— Я — геолог-креационист, сэр, — оборвал он мою речь. И я все понял.

— А, — сказал я, — и Господь обещал никогда не посылать на Землю новый потоп, но ничего не сказал о звуковых волнах.

— Именно так! И миллиарды мертвых удобряют и оплодотворяют землю, послужат пищей для тех форм жизни, что страдали от рук людских и заслужили воздаяние. Но самое главное: несомненно, какие-то остатки человечества выживут. Те, чьи нуклеиновые кислоты окажутся нечувствительны к звуковым колебаниям. И эти остатки, благословенные Господом, смогут начать снова, запомнив урок воздаяния, так сказать, злом за зло.

— А зачем вы это мне рассказываете? — спросил я. Это действительно было странно.

Он подался вперед и схватил меня за лацкан (весьма неприятное ощущение, поскольку от его дыхания могло стошнить) и сказал:

— У меня такое внутреннее убеждение, что вы мне можете помочь.

— Я? Уверяю вас, что я ничего не знаю о длинах волн, о нуклеиновых кислотах, и вообще ни... — Но тут же, сообразив на ходу, я сказал: — Вы знаете, кажется, есть одна вещь, которую именно я мог бы для вас сделать. — И со свойственной мне безукоризненной вежливостью я обратился к нему: — Не сделаете ли вы мне одолжение, сэр, сообразовываясь с вашим покорным слугой минут пятнадцать?

— Разумеется, сэр, — ответил он, так же соблюдая этикет. — Я пока займусь уточнением математических расчетов.

Быстрым шагом выходя из зала, я сунул десятку бармену и прошептал:

— Проследите, чтобы вон тот джентльмен не ушел до моего возвращения. Если это будет абсолютно необходимо, ставьте ему выпивку за мой счет.

Все, что нужно для вызова Азазела, у меня всегда с собой, и через несколько минут он уже сидел на настольной лампе у меня в номере, окруженный своим обычным розовым сиянием.

— Ты, — пропищал он с интонацией прокурора, — прервал меня в середине построения такого пасмаратцо, перед которым не устояло бы сердце ни одной прекрасной самини.

— Прости, если можешь, Азазел, — сказал я, надеясь, что он не пустится в объяснения, что такое пасмаратцо, и не станет описывать очарование самини, поскольку для меня все это яйца выеденного не стоило, — но у меня тут дело первостепенной срочности.

— У тебя всегда все первостепенной срочности, — буркнул он недовольно.

Я поспешно обрисовал ситуацию, и надо отдать ему должное — он тут же все понял. В этом смысле с ним приятно общаться — никогда не требуется долгих объяснений. Я лично считаю, что он просто читает мысли, хотя он всегда уверяет, что моих мыслей не касается. Однако как можно доверять двухсантиметровому демону, который сам сознается, что в погоне за симпатичны-

ми самини применяет какие-то гнусные ухищрения? Да и к тому ж я не уверен, что он имеет в виду — что к моим мыслям не притрагивается или что от этого в них ничего не меняется. Но все это к делу не относится.

— Где этот человек, о котором ты говоришь?

— В зале ресторана. Он расположен...

— Не надо. Я найду его по эманациям нравственного разложения. Так, нашел. Как узнать этого человека?

— Волосы песочного цвета, бледные глаза...

— Не это. Склад его ума.

— Фанатик.

— Ах да. Ты говорил. Так, контакт я установил и теперь вижу, что дома придется отмыться горячим паром. Он еще хуже тебя.

— Это неважно. Его слова соответствуют истине?

— Насчет звазера? Кстати, неплохой термин.

— Да.

— Что ж, этот вопрос не прост. Есть у меня приятель, считающий себя большим духовным лидером, так я часто подначиваю его вопросом: что есть истина? Скажу так: он считает это истиной, он в это верит. Но то, во что верит человек, независимо от силы его веры, не обязательно будет объективной истиной. Ты в своей жизни с этим, вероятно, сталкивался.

— Бывало. Но есть ли способ отличить веру, в основе которой лежит истина, от той, что основана на заблуждении?

— У разумных существ — да. У людей — нет. Но ты, похоже, видишь в этом человеке небывалую опасность. Давай я переставлю у него в мозгу пару молекул, и он умрет.

— Нет, — сказал я. Пусть это с моей стороны глупо, но я противник убийств. — Ты можешь так переставить молекулы, чтобы он забыл о звазере?

Азazel тоненько вздохнул, поежился:

— Это же гораздо труднее. Эти молекулы такие тяжелые, да еще цепляются друг за друга. Ну почему не поступить радикально...

— Я настаиваю.

— Ладно, — уныло согласился Азazel и погрузился в долгую литанию вздохов, пыхтений и бормотаний, долженствующих мне показать, как он тяжело работает. Наконец он сказал: — Готово.

— Ладно, подожди здесь. Я только проверю и вернусь.

Сбежав вниз, я увидел Ганнибала Уэста там, где я его оставил. Бармен подмигнул мне, когда я с ним поравнялся:

— Выпивка не потребовалась, сэр.

Я выдал этому достойному человеку еще пять долларов.

Уэст радостно воскликнул:

— А, это вы!

— Разумеется, — ответил я. — Вы весьма наблюдательны. Я решил проблему звазера.

— Проблему чего?

— Того предмета, который был открыт вами в процессе спелеологических исследований.

— Каких исследований?

— Спелеологических. Осмотра пещер.

— Сэр, — Уэст поморщился. — Я в жизни не был ни в одной пещере. Вы — душевнобольной?

— Нет. Но я вспомнил, что у меня важная встреча. Прощайте, сэр. Возможно, мы больше не увидимся.

Я поспешил наверх, слегка запыхавшись, и услышал, как Азazel жужжит себе под нос мотивчик, популярный среди его народа. Тамошний музыкальный вкус — если его можно так назвать — весьма извращен.

— Он лишился памяти, — сказал я. — Надеюсь, навсегда.

— Конечно, — отозвался Азazel. — Теперь надо бы заняться самим звазером. Раз он может усиливать звук за счет тепловой энергии Земли, значит, у него должна быть очень тонко подогнанная структура. А тогда мелкое нарушение регулировки в какой-нибудь ключевой точке выведет его из строя навеки. Где он находится?

Я посмотрел на него, как громом пораженный:

— Откуда мне знать?

Он на меня уставился, тоже как будто громом пораженный, хотя на его миниатюрном личике трудно что-нибудь разобрать.

— Ты хочешь сказать, что мы стерли его память *до того*, как ты узнал столь важную вещь?

— Да мне и в голову не приходило, — сказал я.

— Но ведь если звазер существует — то есть если его убежденность основывается на фактах, — то кто-

то может в него вляпаться снова, или какая-то тварь на него налетит, или просто метеорит стукнет, и это может случиться в любую минуту дня и ночи. И вся жизнь на Земле погибнет.

— Боже правый, — простонал я.

Очевидно, мое отчаяние его тронуло, и он произнес:

— Ну ладно, ладно, друг, не так все страшно. Худшее, что может случиться — исчезнут люди. Всего только люди, а не путное что.

Закончив свой рассказ, Джордж безнадежным голосом добавил:

— И вот так оно и есть. Приходится жить, зная, что весь мир может в любую секунду кончиться.

— Чуть, — совершенно искренне заметил я. — Если даже вы не вре... — извините — говорите правду про этого Ганнибала Уэста, все это может быть просто порождением его больной фантазии.

Джордж высокомерно посмотрел на меня поверх собственного носа и после некоторой паузы произнес:

— Даже за самых прекрасных самини с родины Азазела не согласился бы я разделять эту вашу склонность к дешевому скептицизму. Что вы скажете на это?

Из бумажника он достал кусок газеты. Это была вырезка из вчерашней «Нью-Йорк таймс» с заголовком: «Неясный рокот». Там говорилось о неясном рокоте, который перебудоражил жителей Гренобля во Франции.

— Объяснение, Джордж, единственное. Вы увидели эту статью и присочинили к ней целую историю.

Джордж чуть было не взорвался, но тут я взял в руки счет на довольно приличную сумму, положенный между нами официанткой, и тогда его чувства смягчились, и мы с ним очень дружелюбно попрощались за руку. Но должен признать, мне с тех пор как-то беспокойно спится. И где-то примерно в полтретьего ночи я сижу в кровати и прислушиваюсь к глухому рокоту, который как раз меня и будит.

СПАСИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

-Приятель у меня есть, — сказал как-то вечером мой друг Джордж, тяжело вздохнув, — так он клутц.

Я с умным видом кивнул:

— Птица из перьев.

Джордж недоуменно на меня воззрился:

— Причем здесь перья? Потрясающая у вас способность ляпать невпопад. Это, наверное, связано с недостаточным интеллектом — примите не в упрек, а в выражение сочувствия.

— Ну, что ж поделаешь, — ответил я, — какой уж есть. Этот ваш приятель-клутц — это Азazelа вы имеете в виду?

Азazel — двухсантиметровый демон или внеземное разумное существо (как вам больше нравится), о котором Джордж говорит постоянно и замолкает только в ответ на прямые вопросы. Теперь он холодно произнес:

— Азazel — не предмет для обсуждения, и вообще, я не понимаю, как вы о нем прознали.

— Да подошел к вам как-то ближе чем на милю, — ответил я.

Джордж не обратил на это внимания и продолжал.

Неблагозвучное слово «клутц» я впервые услышал в разговоре со своим приятелем Менандером Блоком. Вы,

я боюсь, о нем не слыхали, поскольку он возвращается в университетских кругах и очень цепетилен в выборе знакомых, что вряд ли можно поставить ему в упрек, глядя на подобных вам личностей.

Этим словом, как он объяснил мне, называют неуклюжих и незадачливых людей.

— И вот я как раз такой, — сказал он. — Это слово из идиша, и буквально оно означает кусок дерева, бревно, полено, колоду, чурбак, а моя фамилия по-немецки значит примерно то же самое, что и последнее слово.

Он тяжело вздохнул:

— Понимаете, в строгом смысле слова я не клутц. В моем поведении нет ничего от чурбака или колоды. Я танцую, как зефир, и грациозен, как мотылек, движения у меня кошачьи, а что касается искусства любви, то многие красавицы могли бы его оценить, если бы я им это позволил. Но вот эта клутцовость проявляется на дальнем расстоянии. Меня при этом не задевает, но клутцом становится все вокруг. Как будто у самой Вселенной заплетаются ее космические ноги. Если смешивать языки — греческий с идишем, то точное слово будет «телеклутц».

— И как давно это с вами, Менандер? — спросил я.

— Всю жизнь, хотя я только уже в зрелом возрасте осознал это свое странное свойство. В юности я объяснял происходящее со мной нормальным ходом вещей.

— Вы с кем-нибудь по этому поводу советовались?

— Конечно, нет, Джордж. Меня бы посчитали за сумасшедшего. Вы себе представляете любого психоаналитика, который встретился с феноменом телеклутцизма? Меня бы с первого нашего разговора отвезли в лечебницу, а доктор бросился бы писать статью о новом психозе и стал бы, может быть, миллионером. Я не собираюсь попадать на всю жизнь в дурдом для обогащения какой-нибудь ученой пиявки. Это нельзя рассказывать никому.

— А мне зачем вы это говорите, Менандер?

— А затем, что мне, с другой стороны, надо это кому-то рассказать, чтобы и вправду не свихнуться. А вас я по крайней мере знаю.

Особой логики я в этом не усмотрел, зато понял, что опять я подвергаюсь приступу откровенности со стороны своих друзей. Это обратная сторона репутации человека понимающего, симпатичного, а главное — умеющего хранить чужие тайны. Никогда поверенная мне тайна не доходила до чужих ушей — вы не в счет, поскольку все знают, что срок действия вашего внимания — несколько секунд, а памяти — и того меньше.

Я сделал официанту знак принести еще выпивку и добавил секретный жест, который знал я один, означающий, что ее нужно включить в счет Менандеру. В конце концов, он мне был обязан.

— А как конкретно, Менандер, проявляется ваш телеклутцизм?

— В простейшей форме, которая и привлекла впервые мое внимание, он сказывается на погоде во время моих поездок. Мне не часто приходится ездить, а если приходится, то на машине. И вот всегда, когда я еду на машине, идет дождь. Неважно, какой был прогноз, неважно, что при моем выезде сияет солнце. Собираются тучи, темнеет, начинает моросить дождик и переходит в ливень. А если мой телеклутцизм разыграется, так начинается еще и обледенение. Я, конечно, стараюсь не делать глупостей. По Новой Англии не езжу, пока не кончится март. В прошлом году я ехал в Бостон шестого апреля — так это была первая апрельская гроза за всю историю Бостонского метеорологического бюро. Однажды я ехал в Вильямсбург, штат Виргиния, двадцать восьмого марта, надеясь на несколько дней снисхождения судьбы. Не тут-то было! В Вильямсбурге выпал снег слоем двадцать сантиметров, и аборигены мяли его в пальцах, спрашивая друг у друга, что бы это могло быть. Часто я думал, что если представить себе Вселенную под непосредственным руководством Господа Бога, так рисуется хорошая картинка: вбегает Гавриил и в Божественном присутствии орет, что сейчас вот-вот столкнутся две галактики с разрушительными последствиями для всей Вселенной, а Господь ему и отвечает: «Не приставай с глупостями, я тут должен напустить дождь на Менандера».

Я сказал ему:

— Из каждой ситуации надо стараться извлечь пользу. Вы же могли бы за баснословные гонорары прекращать засухи.

— Я об этом подумывал, но от самой мысли высыхает любой дождь, который мог бы случиться на моем пути. К тому же если бы дождь и прошел там, где он нужен, он мог бы вызвать потоп. Да и не только дождь, или уличные пробки, или пропажа дорожной разметки — есть еще миллионы всяких неприятностей. В моем присутствии неожиданно сама по себе ломается дорогая аппаратура или кто-то роняет ценную и хрупкую вещь, причем без всякой моей вины. Вот в Батавии, в Иллинойсе, есть современный ускоритель частиц. Однажды у них сорвался важнейший эксперимент из-за совершенно непредвиденной и необъяснимой утечки вакуума. И только я знал (на следующий день, прочитав в газете), что в момент утечки я проезжал на автобусе по окраине Батавии. И конечно, шел дождь. В этот самый момент, друг мой, прокисает часть молодого пятидневного вина в погребах этого почтенного заведения. Нечто, проходящий сейчас мимо нашего стола, обнаружит, придя домой, что у него в подвале трубы полопались, и как раз тогда, когда он здесь проходил. И все это будет списано на несчастные случаи и совпадения.

Мне стало его жаль. А при мысли о том, что я сижу к нему так близко и что у меня дома может сейчас твориться, кровь застыла в жилах.

Я сказал:

— Вы, попросту говоря, «дурной глаз».

Он откинул голову назад и посмотрел на меня сверху вниз:

— «Дурной глаз» — выражение суеверных старух. «Телеклауц» — научный термин.

— А предположим, что я смогу снять с вас это проклятие, как бы его ни называть?

— Проклятие — точное слово, — серьезно ответил Менандер. — Я часто представлял себе, что злая фея, рассердившись, что ее не позвали на крестины... Вы что, пытаетесь мне объяснить, что вы — добрая фея и можете снимать проклятия?

— Я ни в каком смысле не фея, — твердо оборвал я его. — Просто допустим, что я мог бы избавить вас от этого про... этого состояния.

— Каким, черт побери, образом?

— Достаточно чертовским. Так как?

— А что вам с этого будет? — подозрительно спросил он.

— Моральное удовлетворение от того, что помог другу избавиться от такого кошмара.

Менандер секунду подумал и энергично помотал головой:

— Этого мало.

— Конечно, если вы собираетесь предложить мне какую-то сумму...

— Никогда! Такого оскорбления я вам не нанесу. Другу предложить деньги? Разменять дружбу на зеленые? За кого вы меня принимаете, Джордж? Я имел в виду, что мало избавить меня от телеклутцизма. Вы должны сделать больше.

— А что можно еще сделать?

— Смотрите сами. Всю жизнь на мою совесть ложились жертвы всяких бедствий — от неприятностей до катастроф — миллионы, быть может, невинных жертв. Даже если с этой минуты я не принесу никому зла — хотя и раньше я по своей воле никому ничего плохого не делал, и моей виной это никак нельзя назвать — эти жертвы для меня такое бремя, которое я не могу снести. Мне нужно что-то, что меня от него избавит.

— Например, что?

— Например, мне должен представиться случай спасти человечество.

— Что?

— А чем еще можно искупить тот невообразимый вред, что я принес? Я настаиваю, Джордж. Если вы снимете мое проклятие, замените его способностью спасти человечество.

— Не уверен, что у меня получится.

— А вы попробуйте, Джордж. Не смущайтесь задачей. Я всегда говорил: если что-то делаешь, сделай как можно лучше. И подумайте о человечестве, мой старый друг.

— Погодите, — сказал я, несколько встревоженный, — вы же все перекладываете на мои плечи.

— Конечно, Джордж, — с душевной теплотой произнес Менандер. — Широкие плечи! Добрые плечи! Они созданы для бремени людского. Давайте, Джордж, по домам и снимите с меня проклятие. И благодарное человечество засыпало бы вас благословениями, но оно, увы, об этом не узнает, потому что я никому не скажу. Ибо стыдно выставлять напоказ добрые деяния, и вы можете положиться на меня, Джордж, — уж я-то не выставляю.

Как все-таки удивительна самозабвенная дружба, и ничто на земле не может с ней сравниться. Я тут же встал и вышел из ресторана так поспешно, что даже забыл оплатить свою половину обеда. К счастью, Менандер этого не заметил, пока я не ушел подальше от ресторана. Мне не сразу удалось вступить в контакт с Азазелом, а когда я до него дозвался, у него, похоже, не было настроения. Он был завернут в розоватое сияние и вопил, как свисток от чайника:

— Тебе не приходит в голову, что я могу пойти под душ?

И в самом деле, от него здорово несло нашатырным спиртом.

Я смиренно произнес:

— У нас невообразимо срочное дело, о Могушественный-Для-Прославления-Коего-Недостаточно-Слов.

— Говори тогда, только не вздумай мямлить целый день.

— Ни за что, — сказал я и с блестящей четкостью обрисовал ситуацию.

— Хм-м, — сказал Азазел. — Хоть раз в жизни получил от тебя интересную задачку.

— В самом деле? Ты имеешь в виду, что телеклучизм существует?

— Конечно. Понимаешь, квантовая механика утверждает, что свойства Вселенной до некоторой степени зависят от наблюдателя. Точно так же, как Вселенная оказывает влияние на наблюдателя, так и он, в свою очередь, влияет на Вселенную. И некоторые наблюдатели на Вселенную влияют неблагоприятно — или, по

крайней мере, неблагоприятно, с точки зрения других наблюдателей. Например, какой-то наблюдатель может ускорить взрыв сверхновой, и это может вызвать раздражение у тех наблюдателей, которые окажутся от нее в неудобной близости.

— Понял. Так можешь ли ты помочь моему другу Менандеру и снять с него эти квантово-наблюдательные эффекты?

— Это-то просто! Десять секунд — и я смогу вернуться под душ и потом на церемонию ласкорати, которую мы решили провести с двумя невообразимо прекрасными самини.

— Постой, погоди! Этого мало.

— Не дури. Две самини — этого вот так хватит. Только последнему развратнику может понадобится три.

— Я имею в виду — мало убрать телеклутцизм. Менандеру нужно еще оказаться спасителем человечества.

Примерно минуту я думал, что Азазел собирается забыть нашу старую дружбу и все, что я для него сделал, стараясь снабжать его задачами, укрепляющими силу его мозга и волшебные способности. Я не все понял, что он сказал, поскольку большинство слов было на его родном языке, но на слух они больше всего напоминали распиловку в пилораме утыканной ржавыми гвоздями доски.

Остыв от белого каления до темно-вишневого, он спросил:

— И как это планируется сделать?

— Неужто это так трудно для Апостола Невероятного?

— Еще бы! Однако давай посмотрим. — Он на секунду задумался, а потом взорвался: — Да кому во всем мире понадобилось спасти человечество? Какой в этом смысл? Вы же провоняли целиком весь сектор... Ладно, сделаю.

Это заняло не десять секунд. Понадобился час и еще довольно противные полчаса, и Азазел все время хныкал и гадал, станут ли самини его ждать. Наконец он

закончил, и я решил, что надо проверить, как поживает Менандер Блок.

Встретившись с ним, я сказал.

— Вы излечены.

Он посмотрел на меня с нескрываемой враждебностью:

— Вы знаете, что в тот вечер вы свалили на меня весь счет за обед?

— Это все же мелочь по сравнению с тем, что вас излечили.

— Я этого не чувствую.

— Ладно, поехали. Проедемся немножко на машине. Вы сядете за руль.

— Так уже облачно. Ничего себе исцелен!

— Поехали! Что мы теряем?

Он вывел из гаража свой автомобиль. На другой стороне улицы прохожий благополучно не споткнулся о полный мусорный бак. Менандер поехал по улице. При его приближении светофор не переключился на красный, и два сближавшихся на перекрестке автомобиля миновали друг друга на безопасном расстоянии.

Когда он доехал до моста, облака почти разошлись, и машину осветило солнце.

Подъезжая к дому, он плакал и не стыдился слез, так что мне пришлось поставить машину вместо него. Я ее малость при этом поцарапал, но ведь не меня же лечили от телеклутцизма. И вообще, могло быть хуже — например, я бы поцарапал свою машину.

Несколько дней он от меня не отходил. В конце концов, я единственный знал, какое чудо с ним случилось.

Он все повторял:

— Я пошел на танцы, и никто никому не наступил на ногу, и никто не упал и не сломал шею или пару ног. Я вальсировал, как эльф, и моя партнерша не жаловалась на тошноту, хотя и съела довольно-таки много.

Или что-то вроде:

— Сегодня на работе ставили новый кондиционер, и никто из рабочих не уронил его себе на ноги и не стал навсегда калекой.

Или даже:

— Я тут навел на приятеля в больнице, о чем раньше и мечтать не мог, и ни в одной палате, мимо которой я проходил, ни одна иглолка не выскочила из вены ни у одного больного. И ни одна сестра не промахнулась мимо цели, делая внутримышечные инъекции.

А иногда он меня спрашивал:

— Вы уверены, что у меня будет шанс спасти человечество?

— Абсолютно уверен, — отвечал я. — Это часть курса лечения.

Но однажды он пришел ко мне и скорчил гримасу.

— Послушайте, — сказал он. — Я тут был в банке, хотел узнать, сколько у меня на счете, — там чуть поменьше, чем должно быть — из-за этой вашей манеры убегать из ресторана до подачи счета. Но я не смог получить ответ, потому что у них засбоил компьютер, как только я вошел. Никто ничего понять не мог. Это что, лечение кончается?

— Не может быть, — сказал я. — Это, скорее всего, к вам отношения не имеет. Может быть, другой телеклутц, которого не лечили. Может быть, он вошел одновременно с вами.

Но я был не прав. Банковский компьютер ломался еще два раза, и оба раза тогда, когда Менандер пытался выяснить состояние своего счета. (Его нервозность по поводу мелких сумм, на которые я и внимания не обратил бы, для взрослого мужчины просто отвратительна.) Когда же полетел компьютер у него в фирме в момент его прихода, то состояние, в котором он ко мне явился, можно было назвать только паникой.

— Это вернулось, Джордж! Это вернулось! И на этот раз я не выдержу! Я привык к тому, что нормален, и к старому вернуться не смогу. Я должен себя убить.

— Нет, Менандер, нет. Это было бы уж слишком.

Он подавил уже готовый сорваться всхлип и обдумал мое глубокомысленное замечание.

— Вы правы. Это и в самом деле уж слишком. Лучше я вас убью. В конце концов, скучать никто не будет, а мне полегчает.

Я понимал его точку зрения, но сам смотрел шире.

— Прежде чем вы на что-нибудь решитесь, — начал я, — дайте я попробую разобраться, что случилось. Терпение, Менандер. В конце концов, все это случается только с компьютерами, а кому какое дело до компьютеров? Да гори они огнем!

Я быстро вышел, чтобы он не успел меня спросить, как же ему теперь проверить свой счет в банке, если компьютер при его появлении отказывается работать. По поводу счета у него вообще был пунктик.

А у Азазела пунктик был другой. Похоже было, что он занялся этими самими всерьез, и, когда явился, все еще вертел сальто. До сих пор не понимаю, какое отношение имеет к этому сальто.

По-прежнему в раздражении, он все же объяснил мне, что произошло, и теперь я был в состоянии объяснить это Менандеру.

По моему настоянию мы с ним встретились в парке. Я специально выбрал очень людное место на тот случай, если он потеряет голову в переносном смысле и у меня возникнет шанс потерять ее в прямом. Я сказал:

— Менандер, ваш телеклутцизм еще действует, но только на компьютеры. *Только на компьютеры.* Это говорю вам я. В отношении всего остального вы излечены — навсегда.

— Ну так вылечите меня и от воздействия на компьютеры.

— А вот это, Менандер, и не получается. Для компьютеров вы — телеклутц на веки вечные. — Последние слова я почти прошептал, но он услышал.

— Это еще почему? Ах ты волосатомозглая, неправдоподобная, всеклутцистическая задница поносного двугорбого верблюда!

— Такое нагромождение свойств делает определение бессмысленным. Поймите, Менандер, что это случилось только из-за вашего желания спасти мир.

— Не понимаю. Попробуйте объяснить. У вас пятнадцать секунд.

— Будьте же разумны! Над человечеством нависла опасность компьютерного взрыва. Компьютеры становятся универсальнее, способнее, разумнее. Люди все более и более от них зависят.

Уже возможно создание компьютера, который будет контролировать весь мир и не оставит человечеству никакой работы. И он вполне может решить избавиться от человечества как от ненужного придатка. Мы, конечно, утешаем себя тем, что всегда можем «выдернуть вилку», но вы же понимаете, что сделать этого не удастся. Компьютер, достаточно умный, чтобы управлять миром, будет достаточно умен, чтобы защитить свою вилку — например, найти собственный источник электроэнергии. Это неизбежно, и такова судьба человечества. И здесь, мой друг, на сцене появляется вы. Вас ставят перед этим компьютером, или вы просто дистанционно вступаете с ним в контакт, и он тут же ломается, и человечество спасено. *Человечество спасено!* Подумайте — вы же этого хотели!

Менандер подумал. Но он не казался особенно счастливым.

— Но ведь пока что я не могу подойти к компьютеру.

— Дело в том, что компьютер-клутцизм должен быть закрепленным и постоянным — только тогда есть уверенность, что он проявится в нужное время и в нужном месте и что компьютер не сможет как-нибудь защититься. Это цена за тот великий дар спасительства, о котором вы просили и за который будут вас чтить все будущие века и народы.

— В самом деле? — спросил он. — А когда же это будет?

— Как говорит Азазел... мой источник информации, — сказал я, — где-то через шестьдесят лет или около того. Но посмотрите с другой точки зрения: вы теперь точно знаете, что доживете по крайней мере до девяности.

— А тем временем, — Менандер повысил голос, и на нас стали оборачиваться, — тем временем мир все больше и больше компьютеризируется, и все больше и больше появляется мест, куда я и подойти не смогу. И все больше и больше вещей станут мне недоступны, и я буду как в тюрьме, которую сам себе построил...

— Но в конце концов спасете человечество! Вы же именно этого хотели!

— К чертям человечество! — заорал Менандер и бросился на меня. Мне удалось вырваться, но только потому, что беднягу скрутили те, кто стоял вокруг.

Сейчас он лечится у психоаналитика крайне фрейдистской ориентации.

Это ему обходится в целое состояние, но пользы, как вы понимаете, никакой. Закончив свой рассказ, Джордж заглянул в пивную кружку (я знал, что платить за пиво буду я). Он сказал:

— У этой истории есть мораль.

— Какая?

— Очень простая: люди неблагодарны!

ДЕЛО ПРИНЦИПА

Джордж меланхолично уставился в стакан с моей выпивкой (моей в том смысле, что не было сомнений, кто будет за нее платить) и произнес:

— То, что я сегодня беден, — это просто дело принципа. — Он глубоко, тяжело вздохнул и добавил: — Я должен извиниться за употребление термина, с которым вы абсолютно незнакомы, если не считать титула «принцепс», носимого директором средней школы, чуть было вами не оконченной. Что же касается меня, то я — человек принципа.

— Да неужто? — заметил я. — Тогда, наверное, вы получили эту черту характера от Азазела всего-то минуты две назад, потому что никогда раньше никто не замечал за вами никаких ее проявлений.

Джордж посмотрел на меня уничтожающим взглядом. Азazel — это двухсантиметровый демон, который владеет ошеломительной волшебной силой и которым только Джордж может свободно повелевать.

— Вообразить не могу, где вы слышали об Азазеле.

— И для меня это тоже полнейшая тайна, — согласился я — или была бы, если бы он не был единственной темой ваших монологов, сколько я вас знаю.

— Не говорите глупостей! — сказал Джордж. — Я никогда о нем не упоминал.

Вот и Готлиб Джонс (так говорил Джордж) тоже был человеком принципа. Вы можете сказать, что это абсолютно исключено при его профессии оформителя рекламных объявлений, но кто видел, как он преодолевает свое порочное призвание благородством чувств, тот согласится, что не было зрелища прекраснее.

— Джордж, — говаривал он мне за гамбургером с жареной картошкой, — для описания того, как ужасна моя работа, не подберешь слов, и неопишимо мое отчаяние, когда я должен найти способ убедить людей покупать товары, о которых каждый мой инстинкт кричит, что человечеству будет гораздо лучше без них. Вот только вчера я должен был продавать новый репеллент от насекомых, который по результатам испытания заставлял комаров издавать ультразвуковые сигналы восторга, так что они слетались за много миль вокруг. Пришлось мне вот что написать: «Неча комаров кормить — надо их навскидку бить!»

— Навскидку? — повторил я, содрогнувшись.

Готлиб закрыл глаза рукой. Он бы закрыл и двумя, да как раз в это время препровождал в рот приличную порцию картошки.

— Джордж, я вынужден жить с этим позором, но рано или поздно мне придется эту работу бросить. Из-за нее я нарушаю свои принципы бизнесмена и писателя, а я — человек принципа.

— Эта работа приносит пятьдесят тысяч в год, а у вас — молодая красивая жена и ребенок, которых надо кормить.

— Деньги, — злобно сказал Готлиб, — это мусор! Бесплезная вещь, за которую человек продает душу свою! Я брошу это, Джордж, я с омерзением отшвырну от себя эту работу, я с ней ничего общего иметь не буду.

— Готлиб, вы, разумеется, ничего подобного не делаете. Ведь ваша зарплата вам не противна, нет?

Должен признать, что меня крайне взволновала мысль о нищем Готлибе и тех бесчисленных совмест-

ных завтраках, которые его добродетельная стойкость уже не позволит ему оплачивать.

— Нет, увы, не противна. Моя дорогая супруга Мэрилин имеет огорчительную привычку жаловаться на недостаток денег во время разговоров чисто интеллектуального характера, не говоря уже о небрежных упоминаниях тех необдуманных покупок, которые она совершает в магазинах одежды и мебели. А что до Готлиба младшего, которому сейчас от роду шесть месяцев, то я не думаю, чтобы он был готов воспринять мысль о полной ненужности денег, хотя — надо отдать ему справедливость — он никогда их у меня не просил.

Он вздохнул, и я вместе с ним. Я часто слышал о неуступчивой природе жен и детей там, где дело касается денег, и это одна из главных причин, почему я ни разу не связал себя обязательствами за всю свою долгую жизнь, хотя при моем неотразимом обаянии женщины за мной охотились стаями.

Готлиб нечаянно прервал цепь приятных реминисценций, в которую я незаметно для самого себя углубился, сказав:

— Джордж, вы знаете мою тайную мечту?

Глаза у него стали такие масляные — я было испугался, что он прочел мои мысли.

Он, однако, добавил:

— Я хочу писать романы, хочу обнажить такие глубины человеческой души, чтобы люди содрогнулись от ужаса и одновременно — восторга, чтобы имя мое было написано несмываемыми буквами в истории классической литературы и чтобы из поколения в поколение пошло оно рядом с такими именами, как Эсхил, Шекспир и Эллисон.

Мы закончили завтрак, и я напрягся в ожидании счета, пытаясь точно определить момент, когда надо будет внезапно отвлечься. Официант же, оценив ситуацию с неотделимой от его профессии проницательностью, подал счет Готлибу.

Напряжение меня отпустило, и я сказал:

— Дорогой мой Готлиб, давайте рассмотрим возможные последствия — они могут быть ужасны. Я вот недавно читал в одной солидной газете, которая оказалась в руках у стоящего рядом со мной джентльмена,

что в Соединенных Штатах тридцать пять тысяч печатающихся писателей. Из них только семьсот зарабатывают себе на жизнь своим искусством, и пятьдесят — всего пятьдесят, мой друг, — богаты. Ваше же теперешнее жалованье...

— Ха! — сказал Готлиб. — Какая мне разница, будут у меня деньги или нет, если мне достанется бесценное и бесценный дар вдохновения и памяти потомков. Да я легко переживу, если Мэрилин пойдет работать официанткой или водить автобус. Я просто уверен, что она была бы — или должна была бы быть — счастлива, работая днем и возясь с Готлибом младшим ночью, чтобы мое творчество могло развернуться во всю мочь. Вот только... — Он запнулся.

— Только — что? — ободрил я его.

— Даже не знаю, как это сказать, Джордж, — выговорил он, и в голосе его прозвучала горькая нотка, — но есть одно препятствие. Я не уверен в том, что я смогу. У меня в мозгу теснятся идеи потрясающей глубины. Через мое сознание все время проходят какие-то сценки, диалоги, потрясающие жизненные ситуации и коллизии. Но мне изменяет совершенно второстепенное умение облечь все это в должные слова. Это получается у любого неграмотного бумагомараки, вроде вот этого вашего приятеля с чудным именем, и тогда книги пекутся сотнями, как пирожки, но я не могу понять, в чем здесь фокус.

(Очевидно, мой друг, он имел в виду вас, поскольку фраза «неграмотный бумагомарака» была очень уж к месту. Я бы за вас вступился, да уж больно безнадежной была бы эта позиция.)

— Наверное, — сказал я, — вы просто не пробовали как следует.

— Это я не пробовал? Да я целые сотни листов исписал, и на каждом был первый абзац блестящего романа — первый абзац, и все. Сотни и сотни первых абзацев для сотен и сотен разных романов. И в каждом случае я затыкался на втором абзаце.

Тут меня осенила блестящая идея, чему я не удивился. У меня в мозгу блестящие идеи возникают постоянно.

— Готлиб, — сказал я ему. — Я могу вам помочь. Я вас сделаю романистом. Я сделаю вас богатым.

Он посмотрел на меня с неприятным недоумением.

— Вы? — сказал он, вложив в это местоимение самый непочтительный смысл.

Мы уже встали и вышли из ресторана. Я заметил, что он не оставил чаевых, но посчитал, что с моей стороны было бы неправильно об этом упоминать, чтобы он не подумал, будто я таким вещам придаю значение.

— Друг мой, — сказал я. — Мне известен секрет второго абзаца, а это значит, что я могу сделать вас богатым и знаменитым.

— Ха! И что же это за секрет?

Я деликатно ответил (и вот она, моя блестящая идея):

— Готлиб, работник стоит тех денег, за которые он нанят.

Готлиб хохотнул:

— Я в вас настолько верю, Джордж, что без опасения могу пообещать: если вы сделаете меня богатым и знаменитым романистом, вы получите половину моего заработка — разумеется, за вычетом производственных издержек.

Я еще деликатнее сказал:

— Готлиб, я знаю, что вы — человек принципа и одно ваше слово скрепит соглашение сильнее цепей из лучшей стали, но просто для смеха — хе-хе — не согласитесь ли вы заявить это же в письменной форме и, чтобы еще смешнее было, заверить — ха-ха — у нотариуса? И каждый из нас возьмет по экземпляру.

Вся эта операция заняла где-то полчаса, поскольку нотариус была еще и машинисткой и моей доброй знакомой.

Мой экземпляр драгоценного документа я положил в бумажник и сказал:

— Сейчас, немедленно, я не могу открыть вам этот секрет, но как только я организую все, что для этого необходимо, я дам вам знать. Тогда вы можете попробовать написать роман и увидите, что никаких затруднений со вторым — или тысячу вторым — абзацем у вас не будет. Само собой, вы мне ничего не должны до тех пор, пока не получите первый аванс, и очень крупный.

— Уж в этом можете не сомневаться, — мерзким голосом заметил Готлиб.

Я вызвал Азазела в тот же вечер. Он ростом всего два сантиметра, и в его мире на него никто и не

посмотрит. Это единственная причина, из-за чего он согласен мне помогать разными простенькими способами. Он тогда чувствует себя значительным.

Мне никогда не удавалось его убедить сделать что-нибудь прямо ведущее к моему обогащению. Он сразу начинает твердить о недопустимости коммерциализации искусства. И его нельзя убедить и в том, что все сделанное им для меня будет использовано не в эгоистических видах, а лишь на благо человечества. Когда я ему это изложил, он издал какой-то звук, смысла которого я не понял, да еще и объяснил, что подцепил его у одного уроженца Бронкса.

Вот по этой самой причине я и не стал ему рассказывать о нашем с Готлибом соглашении. Хотя не Азazel сделает меня богатым, а Готлиб — после того как его сделает богатым Азazel, я решил не вдаваться с ним с обсуждение таких нюансов.

Азazel, как всегда, был раздражен вызовом. У него на крошечной головке было какое-то украшение, похожее на широкий лист морской травы, и, по его словам, можно было понять, что я его вызвал в середине академической церемонии, где он был героем чествования. Как я уже говорил, он там у себя мелкая сошка, и потому он придает слишком много значения подобным событиям, так что на язвительные комментарии не поскучился.

Я отмел его возражения.

— Ты, в конце концов, — сказал я ему, — можешь сделать ту малость, что я тебя прошу, и вернуться в то же самое время, когда исчез. Никто и не заметит.

Он возмущенно хрюкнул, но вынужден был признать мою правоту, так что даже сверкнул миниатюрной молнией.

— Так чего тебе надо? — спросил он.

Я объяснил.

Азazel уточнил:

— Его профессия — это передача идей, да? Перевод идей в слова, как у этого твоего приятеля с причудливым именем?

— Совершенно верно, и он хотел бы повысить свою эффективность, чтобы доставить удовольствие тем читателям и добиться признания — ну и богатства тоже,

хотя оно ему нужно лишь как материальное свидетельство признания, а не ради самих денег.

— Понимаю. У нас в нашем мире тоже есть словоделы, которые все вместе и каждый в отдельности ценят только признание и никогда не примут самой малой суммы, если она не служит материальным свидетельством признания.

Я снисходительно рассмеялся:

— Профессиональная слабость. Мы с тобой, к нашему счастью, выше этого.

— Ладно, — сказал Азazel. — Я не могу тут торчать до Нового года, а то трудно будет вернуться в нужный момент. Этот твой друг — в пределах мысленной досягаемости?

Найти его оказалось непросто, хотя я показал на карте расположение его рекламной фирмы и со своим обычным красноречием дал точную характеристику объекта, но сейчас не хочу утомлять вас подробностями. В конце концов Готлиба нашли, и Азazel после коротенького обследования сказал:

— Необычный разум, довольно частый среди образчиков твоего не слишком привлекательного вида. Гибкий, но притом довольно ломкий. Схема словodelания есть, но она вся в узлах и наносах, так что его трудности не удивительны. Снять препятствия мне ничего не стоит, но это может привести к умственной неустойчивости. Скорее всего, при аккуратной работе этого не случится, но всегда есть шанс. Ты думаешь, он бы сам рискнул?

— Несомненно! — воскликнул я. — Он нацелен на славу и служение искусству. Он бы рискнул без колебаний.

— Это так, но ведь ты, как я понял, его преданный друг. Он может быть ослеплен амбициями и жадой творить добро, но ты видишь яснее. Ты хотел бы, чтобы он попробовал?

— Моя единственная цель — это его счастье и благо. Вперед, и постарайся работать так аккуратно, как сможешь. А если что-нибудь случится не так — мы хотели как лучше. (А если все будет в порядке, то половина всего финансового успеха будет моя.)

И так это и свершилось. Азazel, как всегда, притворился, что ему невесть как трудно, и потом долго лежал, поводя боками и бормоча насчет неразумных требова-

ний, но я предложил ему подумать о счастье миллионов людей и попросил несколько уменьшить собственное себялюбие.

Устыженный моими справедливыми словами, он нашел в себе силы отправиться на завершение той церемонии в его честь, которая тем временем шла своим чередом.

Готлиба Джонса я нашел где-то через неделю. Раньше я не пытался, считая, что ему понадобится какое-то время на освоение новых мозгов. Ну, и еще я хотел подождать и косвенным путем навести справки, не повредила ли ему переделка. Если бы это было так, то совершенно незачем было бы с ним встречаться. Моя утрата — и, конечно, его тоже — сильно омрачила бы такую встречу.

Но я о нем ничегостораживающего не узнал, и он определенно выглядел вполне нормальным, когда я увидел его на выходе из здания той компании, где он работал. Мне сразу бросилось в глаза, что он был несколько меланхоличен. Значения этому я не придал, поскольку из опыта общения с писателями сделал вывод, что это у них профессиональное. Может быть, от постоянного контакта с редакторами.

— А, Джордж, — сказал он тусклым голосом.

— Готлиб, — ответил я, — до чего же я рад вас видеть. Вы сегодня прекрасно выглядите. (На самом деле он, как и все писатели, выглядел омерзительно, но великое дело — вежливость.) Вы не пытались писать последнее время?

— Нет, не пробовал. — И тут, как будто внезапно припомнив, он сказал: — А что? Вы готовы поделиться со мной секретом второго абзаца?

Мне было приятно, что он помнит, ибо это указывало на сохранение прежней остроты его ума. Я ответил:

— Милый мой, все уже сделано. Я ничего не должен вам объяснять, у меня более тонкие методы. Идите домой и садитесь за машинку: вы увидите, что пишете, как бог. Будьте уверены, все ваши горести позади, и романы потекут с вашей машинки гладкой струйкой. Напишите две главы и план остального романа, и я

уверен, что любой издатель взвизгнет от восторга и тут же выпишет солидный чек, из которого каждый цент будет наполовину ваш.

— Ха! — фыкнул Готлиб.

— Смею вас заверить, — сказал я, прижимая руку к сердцу (а оно у меня, как вы знаете, настолько большое, что могло бы, говоря фигурально, занять всю грудную полость), по совести говоря, я чувствую, вы могли бы абсолютно спокойно бросить эту свою мерзкую работу, чтобы она никак не марала чистейший материал, выходящий из вашей машинки. Вы только попробуйте, Готлиб, и увидите, что я свою половину более чем заработал.

— Вы что, уговариваете меня бросить работу?

— Именно так!

— Я не могу.

— Можете, можете. Бросьте вы свою презренную должность. Оставьте эти оглуляющие вас занятия коммерческим надувательством.

— Да я же вам говорю, что не могу. Меня только что уволили.

— Вас?

— Совершенно верно. И притом после возмутительной критики, да еще выраженной таким образом, которого я никогда не прощу и не собираюсь прощать.

Он направился к маленькой недорогой забегаловке, где мы обычно обедали.

Я спросил его:

— А что случилось?

Уныло прожевывая бутерброд с говядиной, он объяснил.

— Я писал рекламу для освежителя воздуха, и меня вдруг поразила ее какая-то жеманность. Ничего крепче слова «запах» нельзя использовать. И мне захотелось высказаться от души. Уж если мы должны рекламировать такой мусор, так можно хоть сделать это, как следует. И на моем экземпляре, прямо поверх всех этих розочек, духов и незабудок, я в заголовке написал: «Зловонье — в шею», а внизу крупными буквами: «ВОНЬ ГОНИ ВОН!» и отправил в типографию, не озаботившись дальнейшими консультациями. А потом, естественно, подумал: «А почему бы и нет» и отправил боссу докладную записку. С ним случился припадок

прямо в кабинете, и вопил он очень громко. Вызвав меня тут же, он мне объявил, что я уволен, и добавил несколько таких слов, которые вряд ли всосал с молоком матери — разве что у него была достаточно оригинальная матушка. И вот я без работы.

Он метнул на меня враждебный взгляд исподлобья:

— Сейчас вы скажете, что это ваша работа.

— Конечно. Вы подсознательно чувствовали, что поступаете правильно. Вы намеренно подставили себя под увольнение, чтобы всю оставшуюся жизнь служить искусству. Готлиб, друг мой, идите сейчас домой. Пишите роман и не соглашайтесь на аван меньше ста тысяч долларов. Производственные издержки не стоят разговора — всего несколько пенни на бумагу, так что и вычитать из моих пятидесяти тысяч ничего не придется.

— Вы сумасшедший, — сказал он.

— Я убежденный, — возразил я. — И в доказательство я плачу за завтрак.

— Вы таки сумасшедший, — повторил он дрогнувшим от удивления и ужаса голосом и на самом деле дал мне заплатить по счету, хотя не мог не понимать, что мое предложение было всего лишь риторической фигурой.

На следующий вечер я ему позвонил. Конечно, следовало бы подождать еще. Не надо было его торопить. Но я сделал в него кое-какую инвестицию — завтрак обошелся мне в одиннадцать долларов, не говоря уже о четвертаке на чай, — и я беспокоился о судьбе своих вложений. Это, я думаю, понятно.

— Готлиб, — спросил я, — как подвигается роман?

— Нормально, — сказал он отсутствующим голосом. — Я уже отстучал двадцать страниц, и выходит отлично.

Тем не менее голос его звучал так, как будто все это его не интересует. Я спросил:

— Так чего же вы не прыгаете от радости?

— Насчет романа? Не говорите глупостей. Мне звонили Файнберг, Зальтцберг и Розенберг.

— Ваша рекламная фирма? То есть бывшая ваша?

— Да, они. Не все сразу, конечно, звонил мистер Файнберг. Он хочет, чтобы я вернулся.

— Надеюсь, Готлиб, вы им сказали, как вы теперь далеки...

Он меня прервал:

— Оказывается, заказчик объявления насчет освежителя пришел в экстаз от моего экземпляра. Они хотят организовать целую рекламную кампанию как в печати, так и на телевидении и хотят, чтобы ее организовал автор самого первого объявления. По их мнению, я проявил смелость, решительность и полное понимание духа рекламы восьмидесятых. Они и дальше хотят иметь рекламу такой же силы, а для этого им нужен я. Конечно, я обещал подумать.

— Готлиб, это ошибка.

— Я им должен врезать как следует. Я не забыл те эпитеты, с которыми старый Файнберг выбросил меня на улицу — несколько слов на идише.

— Готлиб, деньги — это мусор.

— Верно, Джордж, но я хочу знать, о скольких баках мусора идет речь.

Я не слишком беспокоился. Я знал, как необходимость писать рекламные тексты травмирует чувствительную душу Готлиба и с каким облегчением вернется он к своему роману. Надо было только подождать — и (как гласит золотая пословица) природа возьмет свое.

Но реклама освежителя вышла в свет и произвела фурор. Фраза «вонь гони вон!» была на слуху у всей американской молодежи, и каждое ее повторение волей-неволей рекламировало продукт.

Вы, наверное, и сами это помните — да что я говорю, конечно, помните, поскольку в тех изданиях, для которых вы пытаетесь писать, сформулированные с помощью этой фразы отказы стали неотъемлемым атрибутом, и вы не раз должны были испытать это на себе. Появилась и не менее успешная другая реклама того же сорта. И тогда я вдруг понял. Азazel дал Готлибу ум такого рода, что способен поражать людей своими сочинениями, но так как он (Азazel) мелкая сошка, он не мог настроить разум только на романы. Да он, Азazel, и вообще мог не знать, что такое роман.

Ладно, разве это было существенно?

Не могу сказать, что Готлиб был очень доволен, придя домой и увидев у дверей меня, но все же он не настолько потерял стыд, чтобы не предложить мне зайти. Я даже с удовлетворением заметил, что он не мог не предложить мне пообедать, но постарался (как я

понимаю) испортить мне удовольствие, заставив довольно долго держать на руках Готлиба младшего.

Не хотел бы я повторить такой опыт.

После обеда, когда мы остались в столовой одни, я спросил его:

— И как много мусора вы теперь зарабатываете?

Он взглянул на меня с укоризной:

— Не говорите «мусор», Джордж. Это неуважение. Пятьдесят тысяч в год — это, я согласен, мусор, но сто тысяч плюс очень приличные проценты — это финансовое положение. А кроме того, я собираюсь основать собственную фирму и стать мультимиллионером, то есть выйти на уровень, когда деньги становятся доблестью — или властью, что, конечно, одно и то же. С той властью, которая у меня будет, я выброшу из бизнеса Файнберга. Я ему покажу, как говорить мне такие слова, которые ни один джентльмен не должен себе позволять говорить другому. Кстати, Джордж, вы не знаете значения слова «шмендрик»?

Тут я ему не мог помочь. Говорю я на нескольких языках, но урду в это число не входит.

— Так вы разбогатели.

— И планирую разбогатеть еще.

— Могу ли я в таком случае напомнить вам, Готлиб, что это произошло только в силу моего согласия на ваше богатство, взамен чего вы, в свою очередь, обещали мне половину ваших заработков?

Брови Готлиба взлетели чуть не на середину черепа.

— Вы согласились? Я обещал?

— А вы не помните? Я понимаю, что такие мелочи легко забываются, но мы, к счастью, все это записали, подписали, заверили нотариально и все такое прочее. У меня с собой даже оказалась фотокопия соглашения.

— Хм. Могу я взглянуть?

— Разумеется. Я только должен подчеркнуть, что это всего лишь копия, так что, если вы ее случайно разорвете на клочки при попытке рассмотреть поближе, у меня все равно сохранится оригинал.

— Разумный ход, Джордж, но вы напрасно опасаетесь. Если все так, как вы говорите, то у вас никто не отберет ни грана, ни скрупулы — короче, ни цента ваших денег от вас не отнимут. Я — человек принципа и чту все соглашения до последней буквы.

Я отдал ему фотокопию, и он тщательно ее изучил.

— Ах, это, — сказал он. — Это я помню. Конечно, конечно. Здесь вот только одна маленькая деталь....

— Какая? — спросил я.

— Вот тут сказано, что все это относится к моим заработкам в качестве романиста. Джордж, я не романист.

— Вы же собирались им стать и всегда можете им стать, как только садитесь за машинку.

— Но я больше не собираюсь, Джордж, и не думаю, чтобы еще когда-нибудь сел за пишущую машинку.

— Но ведь великий роман — это бессмертная слава. А что могут принести вам ваши идиотские лозунги?

— Деньги и деньги, Джордж. И большую фирму, у которой я буду единственным владельцем. В ней будут работать тысячи жалких оформителей, саму жизнь которых я буду держать у себя на ладони. У Толстого такое было? Или у Дель Рея?

Я не мог поверить своим ушам.

— И после всего, что я для вас сделал, вы откажете мне в ржавом центе из-за одного только слова в нашем торжественном соглашении?

— Вы сами писать не пробовали, Джордж? Мне бы никогда не удалось описать суть так точно и так кратко. Мои принципы заставляют меня придерживаться точной буквы соглашения, а я — человек принципа.

И с этой позиции сдвинуть его было нечего и думать, и я даже не стал вспоминать о тех одиннадцати долларах, что я тогда заплатил за наш завтрак.

Не говоря уже про двадцать пять центов на чай.

Джордж встал и ушел и был при этом в таком эпическом горе, что у меня язык не повернулся предложить ему сперва заплатить за свою долю выпивки. Спросив счет, я увидел сумму — двадцать два доллара. В восхищении от точного расчета Джорджа, я понял, что мой долг — оставить полдоллара на чай.

О ВРЕДЕ ПЬЯНСТВА

-Вред пьянства, — с тяжелым пьяным выдохом сказал Джордж, — измерить невозможно.

— Это доступно лишь трезвому, — поддержал я.

Он посмотрел на меня с упреком и возмущением.

— А когда, — спросил он, — когда не был я трезвым?

— Никогда, с тех пор как родились, — сказал я и, чувствуя, что несправедлив, поправился: — С тех пор как вас отлучили от груди.

— Я это воспринимаю, — сказал Джордж, — как одну из ваших неудачных потуг на юмор. — И с отсутствующим видом взял мой стакан, поднес к губам и отхлебнул, а потом опустил на стол, не ослабляя, однако, железной хватки.

Я не стал сопротивляться. Пусть отнимают выпивку у Джорджа те, кто не боится отнимать кость у голодного бульдога.

— Я, — сказал Джордж, — имел в виду не абстрактный вред, а то, что случилось с одной молодой дамой, которую я бескорыстно опекал. Ее звали Иштар Мистик.

— Имя необычное, — заметил я.

— Но очень удачное, потому что Иштар — это имя богини любви у вавилонян, а сама Иштар Мистик как раз и была богиней любви, по крайней мере потенциальной богиней.

Иштар Мистик (рассказывал Джордж) была тем, что человек с врожденной склонностью к недооценке мог бы назвать идеалом женщины. Ее лицо было красивым в том классическом смысле, который подразумевает совершенство каждой черты, и увенчано короной золотых волос, сиявших, как ореол. Ее тело можно было сравнить только с телом Афродиты. Оно было гладко и красиво, как морская волна, и в нем мягко перетекали друг в друга податливость и твердость.

В меру своей испорченности вы начинаете уже строить предположения, откуда я так хорошо знаю тактильные свойства этого объекта, но могу вас заверить, что эти познания — чисто теоретические, основанные на большом опыте общения с подобными объектами и никоим образом не связанные с непосредственными исследованиями в данном конкретном случае.

В строгом закрытом костюме она бы гораздо лучше выглядела на развороте журнала, чем то, что в них можно найти, несмотря на все их претензии на искусство. Тонкая талия, сама узость которой уравнивала сверху и снизу настолько удачно, что вообразить себе невозможно — надо было видеть; длинные ноги, грациозные руки, и каждое движение — как музыка танца. И хотя вряд ли найдется столь черствый человек, чтобы от такого физического совершенства потребовать чего-то еще, Иштар обладала живым и обширным умом, закончила Колумбийский университет *Magna Cum Laude*, хотя, должен сказать, средний университетский профессор, оценивая знания Иштар Мистик, мог бы сделать это лишь с натяжкой. Поскольку вы — также университетский профессор (я не хотел бы задевать ваших чувств), мое невысокое мнение об этой корпорации вполне оправданно.

Из всего этого можно было, казалось бы, сделать вывод, что у нее всегда был большой выбор кавалеров и каждый день она обновляла список за счет новых

соискателей. На самом же деле мне приходила иногда в голову мысль, что если бы она выбрала меня, то я бы принял вызов, как рыцарь, из уважения к ее прекрасному полу, но сказать ей об этом я так никогда и не осмелился.

Дело в том, что у Иштар был один маленький недостаток: она была довольно крупной особой. Не слишком, конечно, — сантиметров десяти она до двух метров не дотянула — зато ее голос был похож на призыв трубы, и рассказывали, как она дала окорот здоровенному бродяге, когда он попытался с ней вольничать: она его подняла и бросила через дорогу, довольно широкую, прямо об фонарный столб. Ему пришлось провести в больнице полгода.

Так что местное мужское население было очень осмотрительно насчет авансов — даже самых почти-тельных — в ее сторону. Непосредственный импульс всегда подавлялся после тщательного рассмотрения вопроса о физической безопасности такого поведения. Вы знаете мою львиную храбрость, но и я иногда прикидывал шансы на перелом костей. Так размышление нас превращает в трусов, как правильно сказал поэт.

Иштар здраво смотрела на вещи, что не мешало ей горько мне жаловаться. Один такой случай я помню. Это был прекрасный день поздней весны, и мы сидели на скамеечке в Центральном парке. Я помню, как по крайней мере трое выбежавших на зарядку мужиков, глядя на Иштар, один за другим не вписались в поворот и врезались в дерево.

— Похоже, что я на всю жизнь останусь девственной, — пожаловалась Иштар, и ее изысканной формы нижняя губка трогательно вздрогнула. — Мною никто не интересуется, совсем никто. А мне скоро двадцать пять.

— Видишь ли, моя... моя дорогая, — произнес я, осторожно дотрагиваясь до ее руки. — Нынешние молодые люди очень скромны и не чувствуют себя достойными твоих физических совершенств.

— Да это просто смехотворно, — сказала она, чуть повысив голос, и несколько прохожих вдалеке, подпрыгнув, обернулись на нас. — Вы хотите сказать, что

они меня просто по-идиотски боятся. Они действительно глупые. Если бы вы видели, какие у них делаются физиономии, когда нас знакомят, как они украдкой разминают пальцы после рукопожатия, и уже сразу ясно, что ничего не выйдет. Они мямлят свое «рад познакомиться» — и быстренько исчезают.

— Их надо ободрять и поощрять, моя милая. На мужчину надо смотреть как на хрупкий цветок, который только и может цвести под солнцем твоей улыбки. Надо дать ему понять, что ты совсем не против его авансов и ни в коем случае не собираешься брать его за шиворот и кидать головой в стенку.

— Этого я никогда не делала! — возмущенно воскликнула она. — Почти совсем никогда. И как, ради всего святого, мне показать ему мою заинтересованность?! Я улыбаюсь, я говорю: «Здравствуйте, как поживаете?», я говорю: «Прекрасная погода, не правда ли?», даже если льет как из ведра.

— Моя дорогая, этого мало. Надо взять его за руку и продеть под свою, его можно потрепать по щечке, погладить по головке, пальчики ему поперебирать. Такие мелочи говорят об определенном интересе, о некоторой с твоей стороны заинтересованности в дружеских объятиях и поцелуях.

Иштар была перепугана.

— Этого я сделать не могу. Просто не могу, и все. Меня так строго воспитывали, что я могу вести себя только респектабельно. Проявлять инициативу должен мужчина, да и то я должна сопротивляться как можно дольше. Так всегда говорила моя мама.

— Ну, Иштар, это надо делать, когда мама не видит.

— Все равно не могу. Я для этого слишком сухая. Вот если бы нашелся человек, который просто подошел бы ко мне...

При этих словах она вспыхнула, как будто от какой-то ассоциации, и ее большая, но красивая рука прижалась к сердцу. Я не совсем к месту подумал, знает ли она, сколько народу могло бы сейчас этой руке позавидовать.

Но слово «сухая» дало мне идею.

— Иштар, дитя мое, — сказал я ей. — Твое спасение — в алкоголе. Есть несколько десятков различных его видов, многие из них приятны на вкус и веселят душу человека. Если ты пригласишь какого-нибудь кавалера на пару грассхоперов, или маргариток, или любых других коктейлей, которые я мог бы тебе назвать, ты увидишь, как быстро исчезнет твоя скованность, да и его тоже. Он осмелеет до такой степени, что начнет делать тебе предложения, которые джентльмен не должен делать леди ни при каких обстоятельствах, а ты осмелеешь до того, что будешь только счастливо хихикать, когда он предложит тебе для продолжения вашего знакомства поехать в отель, где твоя мамочка вас не найдет.

Иштар вздохнула:

— Ах, как это было бы чудесно! Но не выйдет.

— Выйдет, выйдет. Любой нормальный мужчина будет счастлив разделить с тобой выпивку. Если он засомневается, объясни, что ты угощаешь. Тут уж ни один джентльмен не сможет усто...

— Не в этом дело, — перебила она меня. — Дело во мне. Я не могу пить.

Я ни о чем подобном за всю жизнь не слышал.

— Это просто, дорогая. Надо открыть рот...

— Это я знаю. Пить я могу — в том смысле, что могу проглотить жидкость. Но меня от нее страшно мутит.

— Но не надо пить так много, надо просто...

— Меня начинает мутить от одной рюмки, если только сразу не стошнит. Я много раз пыталась, но не могу выпить больше одной. А потом меня так мутит, что никакого настроения нет для... ни для чего. Это, как я понимаю, дефект метаболизма, хотя мама говорит, что это дар божий, ниспосланный мне для сохранения чистоты в этом порочном мире развратных мужчин, посягающих на мою добродетель.

Тут я, должен признать, чуть не лишился дара слова от одной мысли, что кто-то видит доблесть в проклятии, не дающем человеку насладиться благословением лозы. И сама мысль о такой извращенности укрепила мою

решимость и внушила такое безразличие к опасности, что я и в самом деле взял ее за плечо и произнес:

— Это, дитя мое, предоставь мне. Я все устрою.

Я точно знал, что надо делать.

Несомненно, я никогда не упоминал при вас моего приятеля Азазела, поскольку я на эту тему очень щепетилен — я вижу, вы хотите возразить, что вы о нем знаете, и, учитывая вашу широко известную репутацию человека, не слишком приверженного к правде (я не желаю вас обидеть), я этому не удивляюсь.

Азazel — это демон, обладающий волшебной силой. Маленький демон. Честно говоря, у него рост всего два сантиметра. Вот он и старается показать, какой он важный и могучий. Поразить, понимаете ли, своей мощью кого-нибудь вроде меня, кого он считает низшим существом. Он, как всегда, откликнулся на мой зов, хотя вы напрасно ожидаете от меня подробностей насчет того, как я его вызываю. Для вашего не очень мощного, мягко говоря, разума (не хочу вас обидеть) задача управлять Азазелом абсолютно непосильна.

Прибыл он в весьма плохом настроении. Очевидно, он смотрел что-то типа спортивного состязания, на исход которого он поставил что-то около ста тысяч закини, и ему, похоже, было не по душе, что он не может следить за результатом. Я напомнил, что деньги — мусор и что его, Азазела, предназначение в этой вселенной — помогать разумным существам в нужде, а не складывать в штабеля какие-то никому не нужные закини, которые он все равно проиграет, даже если выиграет в этот раз, что тоже сомнительно.

Поначалу столь разумные и неопровержимые аргументы никак не успокаивали это жалкое создание с сильно развитыми эгоистическими наклонностями, так что пришлось предложить ему монетку в четверть доллара. Алюминий у них в мире является, я полагаю, средством обмена, и, хотя в мои планы не входит вырабатывать у Азазела привычку к материальному поощрению за те малозначительные услуги, которые он иногда оказывает, я предположил, что четвертак будет для него гораздо больше ста тысяч закини, следовательно-

но, он поймет, что мои дела настолько же важнее его собственных. Как я всегда говорил, сила логики в конце концов свое возьмет.

Я объяснил ему, в чем было дело с Иштар, и он сказал:

— Наконец-то ты разумно ставишь задачу.

— Разумеется, — согласился я. Как вы знаете, я не могу назвать себя неразумным человеком. Просто у меня свои цели и способы.

— Да, — сказал Азazel. — Это твое несчастное насекомое твоего вида не может эффективно перерабатывать алкоголь, и у нее в крови накапливаются промежуточные продукты его обмена, и неприятные ощущения вызываются интоксикацией — очень точное слово, происходящее, как я понял из изучения твоего словаря, от греческого «яд внутри».

Я скривился. Современные греки смешивают, как вы знаете, вино со смолой, а древние смешивали его с водой. Естественно, что они говорят о «яде внутри», если еще до питья сами отравили вино.

Азazel продолжал:

— Необходимо будет только переделать ферментную схему так, чтобы у нее алкоголь быстро и надежно преобразовывался во фрагменты с двойной углеродной связью, — это перекресток метаболических путей, ведущих к жирам, углеводам и белкам, и тогда никакой интоксикации не будет. Алкоголь станет для нее обыкновенной здоровой пищей.

— Азazel, кое-какая интоксикация нам нужна — необходима для появления веселого безразличия к глупым строгостям, всосанным с молоком матери.

Это он понял сразу.

— Да, насчет матерей — это мне понятно. Помню, как моя третья матушка меня учила: «Азazel, никогда не хлопай следоподделательными мембранами в присутствии юной малобы». А как иначе добиться, чтобы она...

Я снова его перебил:

— Так ты можешь организовать минимальную интоксикацию промежуточными продуктами до состояния легкой эйфории?

— Проще простого, — ответил Азazel, и надо сказать, у него был довольно неприятный вид, когда он

сцапал монетку, превышавшую в высоту его рост (если ее поставить на ребро).

Только через неделю я смог проверить, что делается с Иштар. Это было в баре одного из городских отелей, который так озарился, когда она вошла, что несколько завсегдатаев были вынуждены надеть темные очки. Она усмехнулась:

— А что мы тут делаем? Вы же знаете, что я пить не могу.

— Это не выпивка, дитя мое, *пить* мы не будем. Это мятный напиток, и тебе он понравится.

Сговорившись с барменом заранее, я ему мигнул, и он подал грассхопер. Она слегка попробовала и сказала:

— О, это хорошо.

Потом она откинулась назад и дала напитку проскользнуть в горло. Прислушалась к своим ощущениям, провела изящным язычком по не менее изящным губам и спросила:

— А еще можно?

— Ну, конечно, — благородно ответил я. — По крайней мере еще один можно было бы, если бы я не забыл, как дурак, дома свой бумажник...

— Я плачу. У меня денег полно.

Я всегда говорил, что никогда не поднимается красивая женщина до таких высот, как наклоняясь за кошельком к стоящей у ее ног сумке. В таких условиях мы пили без оглядки. По крайней мере она. Еще один грассхопер, потом рюмка водки, двойной виски-сода и еще несколько других, а когда все это было принято, никаких признаков интоксикации у девушки не наблюдалось, хотя улыбка ее опьяняла больше, чем все ею выпитое.

— Мне так хорошо, так тепло, — заявила девушка, — и у меня такая... *готовность*, если вы правильно меня понимаете.

Я думал, что понимаю, но не хотел спешить с выводами.

— Не думаю, что твоей маме это могло бы понравиться (проверка, проверка и еще раз проверка).

— А при чем здесь моя мама? — сказала она. — Ни при чем. И как она об этом узнает? Никак! — Она

испытующе на меня взглянула и вдруг наклонилась ко мне и поднесла мою руку к губам: — Куда мы могли бы пойти?

Вы, мой друг, я полагаю, знаете мой взгляд на такие вещи. Отказывать юной леди, которая столь вежливо просит о мелкой услуге, — это не в моих правилах. Меня воспитали в твердых правилах — всегда и во всем быть джентльменом. Но тут я слегка заколебался.

Во-первых, хотя вы этому вряд ли поверите, мои лучшие дни уже позади — хотя и недалеко, но позади. А чтобы удовлетворить такую женщину, как Иштар, столь юную и сильную, может понадобиться довольно много времени — надеюсь, вы меня понимаете. Далее, если она потом вспомнит, что произошло, и решит, что я воспользовался ее состоянием, то могут быть неприятности. Она девушка импульсивная и может наломать костей раньше, чем я ей что бы то ни было объясню.

Поэтому я предложил пойти ко мне и выбрал кружной путь. Прохладный вечерний ветерок остудил ее разгоряченную головку, и я избежал опасности.

Другие — нет. Не один молодой человек приходил потом ко мне с рассказами об Иштар, потому что, как вы знаете, мое спокойное дружелюбное достоинство располагает людей к откровенности. Этого никогда, к сожалению, не случалось в барах, поскольку те ребята, о которых идет речь, от баров шарахались — по крайней мере какое-то время. Дело в том, что они пытались пить наравне с Иштар — и всегда с плачевным результатом.

— Голову даю на отсечение, — говорил мне один из них, — что у нее потайная трубка изо рта в сорокаведерную бочку где-то под столом, но поймать ее не удалось. Однако это ерунда по сравнению с тем, что было потом.

Бедняга отошел от того ужаса, что довелось ему пережить. Он пытался что-то рассказать, но слов не находил.

— Запросы, ну запросы, — повторял он, дрожа и оглядываясь. — Ненасытная! Ненасытная!

А я радовался, что так удачно избежал такой опасности, которая и молодых парней в расцвете мужских сил еле-еле оставляла в живых.

Как вы понимаете, в это время я с Иштар виделся нечасто. Она была очень занята, но я знал, что она со страшной скоростью потребляет всех доступных мужиков на выданье. Раньше или позже ей придется расширить свой диапазон. Оказалось — раньше.

Однажды утром мы с ней встретились, когда она собиралась в аэропорт. Она была еще более *zaftig*, чем обычно, более воздушной, как-то заметнее во всех отношениях. На ней никак не сказалась ее бурная жизнь, она только стала больше и лучше.

Из сумки она вытащила бутылку.

— Ром, — сказала она. — Его на Карибском море пьют. Очень такой мягкий и приятный напиток.

— Ты собираешься на Карибское море, дорогая?

— Да, и еще много куда. Наши местные мужчины какие-то нестойкие и слабодушные. Они меня разочаровали, хотя бывали и очень увлекательные моменты. Я вам так благодарна, Джордж, — без вас ничего бы не было. Это началось, когда вы впервые угостили меня мятным напитком. Знаете, просто стыдно, что я с вами ни разу...

— Ну, это чепуха, моя милая. Я ведь не о себе думал, как ты знаешь, а действовал из чисто гуманных соображений.

Она влепила мне в щеку поцелуй, горячий, как серная кислота, и удалилась. Я с видимым облегчением почесал бровь, но поздравил себя с тем, что наконец-то хоть какое-то из предприятий Азазела закончилось удачно, потому что теперь Иштар, будучи финансово независимой благодаря наследству, могла безраздельно наслаждаться алкоголем и мужчинами.

Так я думал.

Но прошло чуть больше года, и я вновь услышал ее голос. Она вернулась из своего путешествия и позвонила мне. Я далеко не сразу ее узнал. Она была в истерике.

— Моя жизнь кончена! — ревела она в трубку. — Даже мама больше меня не любит. Я не могу понять, в чем дело, но виноват ты. Если бы не твой мятный напиток, ничего бы не случилось, я знаю!

— Но что случилось, моя милая? — спросил я, треща. Иштар, которая на тебя взъярилась, это не та Иштар, к которой безопасно подходить.

— А ты приезжай. Я тебе покажу.

Любопытство когда-нибудь меня погубит. В этот раз чуть не погубило совсем. Удержаться от поездки к ней на окраину я не смог. Однако я предусмотрительно не закрыл за собой входную дверь. И когда она с мясничьим ножом в руках пошла на меня, я повернулся и удрал с такой скоростью, которой и в молодые годы стал бы гордиться. А она, к счастью, из-за своего состояния не могла за мной угнаться.

Вскоре она опять уехала и, насколько мне известно, до сих пор не вернулась. Но я живу в страхе, что однажды это случится. Иштар Мистик не забывает и не прощает.

Очевидно, Джордж считал свою историю законченной.

— Но что произошло? — спросил я.

— Вы не понимаете? Ее биохимию Азazel перестроил так, что алкоголь эффективно перерабатывался во фрагменты из двух атомов углерода с двойной связью, а это — кирпичи для строительства жиров, углеводов и белков. Алкоголь стал для нее нормальной пищей. Пила же она, как двухметровый насос, — неимоверно. Все это превращалось в двухуглеродные фрагменты, а потом — в жир. Одним словом — разжирела, двумя словами — как бочка. Вся эта горделивая красота скрылась под слоями и слоями сала. Джордж встряхнул головой, отгоняя ужасные воспоминания и бесполезные сожаления, и повторил:

— Вред пьянства измерить невозможно.

ВРЕМЯ ПИСАТЬ

-Я знавал одного человека, слегка похожего на вас, — сказал Джордж.

Он сидел у окна в ресторанчике, где мы с ним обедали, и задумчиво в это окно смотрел.

— Удивительно, — сказал я. — Я-то думал, что я один такой.

— Так и есть, — подтвердил Джордж. — Этот человек был только *слегка* на вас похож. Что же касается умения царапать, царапать и царапать бумагу без малейшего участия мозга — здесь вы недостижимы.

— На самом-то деле я пользуюсь текст-процессором, — заметил я.

— Употребленное мной выражение «царапать бумагу» — это то, что настоящий писатель понял бы как метафору. — Он оторвался от своего шоколадного мусса и тяжело вздохнул. Вздох был мне знаком.

— Вы собираетесь опять пуститься в полет фантазии по поводу Азазела, Джордж?

— Вы так часто и неуклюже фантазируете сами, что потеряли способность воспринимать правду, когда она вам в уши гремит. Но не беспокойтесь, слишком эта история печальна, чтобы еще и вам ее рассказывать.

— Но вы все равно собираетесь ее рассказать, правда ведь, Джордж?

Он снова вздохнул.

Вон та автобусная остановка (говорил Джордж) напоминает мне про Мордехая Симса, который зарабатывал себе на скромную жизнь, заполняя бесконечные листы бумаги разнообразной ерундой. Конечно, не столько, сколько вы, и не такой ерундой, потому-то я и сказал, что он лишь немного похож на вас. Справедливости ради скажу, что кое-что из его творений я читал и иногда находил вполне сносным. Не хочу задевать ваши чувства, но вы никогда до таких высот не поднимались — по крайней мере, судя по критическим обзорам, поскольку до того, чтобы читать ваши опусы самому, я никогда не опускался.

Мордехай отличался от вас и еще в одном отношении: он был крайне нетерпелив. Вы посмотрите на свое отражение вон в том зеркале (если вы не имеете ничего против подобного зрелища) и оцените, как небрежно вы тут сидите — рука брошена на спинку стула, и вам совершенно все равно, намараете ли вы сегодня свою норму бессвязных слов или нет.

А Мордехай был не таков. Он все время помнил о сроках — и всегда опасался не успеть.

В те дни мы с ним обедали каждый вторник, и он своей трескотней здорово портил мне удовольствие.

— Эту пьесу я должен отправить самое позднее завтра утром, — говорил он что-нибудь вроде этого, — но до того я должен пересмотреть другую пьесу, а у меня просто времени нет. Где, черт побери, счет, наконец? Куда подевался официант? Да что они делают там на кухне? Плавают в соусе наперегонки?

Он всегда более всего нервничал по поводу счета, и я побаивался, что он может удрать, не дождавшись, и предоставить мне выкручиваться самому. Правда, к его чести будь сказано, такого не было ни разу, но сама эта нервотрепка портила удовольствие от еды.

Или вот та вон автобусная остановка. Вот я на нее смотрю уже пятнадцать минут. Вы заметили, что за это время к ней не подошло ни одного автобуса и что день

сегодня ветреный и холодный, как и должно быть поздней осенью. Что мы видим? Поднятые воротники, красные и синие носы, переступающие для согрева ноги. Чего мы не видим? Бунта против властей и поднятых к небу кулаков. Все ожидающие пассивно сносят несправедливость земной жизни.

Но не таков был Мордехай Симс. Уж если бы он стоял в этой очереди на автобус, то поминутно выбегал бы на середину дороги, выглядывая, не появился ли наконец, на горизонте автобус. Он бы вопил, и орал, и размахивал руками, он бы организовал марш протеста к городскому управлению. Сказать короче, он бы сильно расходовал свои запасы адреналина.

И сколько раз он обращал свои жалобы именно ко мне, привлеченный, как и многие другие, свойственными моему облику спокойным пониманием и компетентностью.

— Я занятой человек, Джордж, — частил он. Он всегда говорил очень быстро. — Весь мир в заговоре против меня — это позор, скандал и преступление. Вот недавно я заехал в больницу на какое-то рутинное обследование — Бог знает, зачем это было бы нужно, если бы у моего доктора не было глупых идей о том, что он должен на что-то жить, — и мне было сказано прибыть в 9.40 в такую-то комнату к такому-то столу. Я приехал, как вы понимаете, точно в 9.40, и на этом столе была табличка: «Работает с 9.30» — на чистом английском языке, Джордж, каждая буква на месте, и ни одной лишней, — но за столом никого. Я проверил свои часы и спросил у кого-то, имевшего вид достаточно опустившегося человека, чтобы оказаться работником больницы: «Где этот безымянный негодяй, который должен сидеть за этим столом?» «Еще не пришел», — ответил этот безродный мошенник. «Тут сказано, что этот пост работает с 9.30». «Да кто-нибудь рано или поздно придет, я думаю», — ответил он с циничным равнодушием. Понимаете, Джордж, в конце концов, это же больница. А если бы я помирал? Кто-нибудь почесался бы? Да никогда! У меня подходил крайний срок сдачи важнейшей работы, которая должна была мне принести достаточно денег, чтобы оплачивать счета моего доктора (если бы я не придумал, как потратить их

получше, что сомнительно). Кому-нибудь до этого было дело? Никакого! Только в 10.04 кто-то появился, а когда я поспешил к столу, этот опоздавший хам тупо на меня уставился и заявил: «Подождите своей очереди».

Мордехай всегда был начинен подобными историями — о лифтах в банках, медленно уползавших вверх как раз тогда, когда он в нетерпении ждал в вестибюле. О людях, которые уходили на перерыв с двенадцати и до пятнадцати тридцати и уезжали на уик-энд в среду вечером, а он тем временем ждал их консультации.

— Не могу взять в толк, кому и зачем вообще понадобилось изобретать время, Джордж, — часто повторял он. — Оно нужно только для того, чтобы изобретать новые способы его потери. Вы поймите, Джордж: если бы я мог часы, которые мне приходится проводить в ожидании этих бесчисленных бюрократов, потратить на работу, я бы мог написать на десять или даже двадцать процентов больше. Вы поймите, насколько увеличился бы мой доход, несмотря даже на издательский грабеж... Да где же, наконец, этот несчастный счет?

Я не смог подавить мысль насчет того, что помочь увеличению его дохода было бы благим делом, потому что у него хватало вкуса часть своих денег тратить на меня. Более того, он умел каждый раз выбирать для совместного обеда первоклассные места, а это согревало мое сердце — нет-нет, мой друг, совсем не такие, как это. Ваш вкус гораздо ниже того, каким он должен быть, судя по вашим писаниям, — если верить тем, кто их читал. Да, так я начал шевелить своими незаурядными мозгами, соображая, как ему помочь.

Про Азазела я подумал не сразу. В те времена я еще не привык к общению с ним, и меня можно понять — двухсантиметрового демона нельзя назвать привычным явлением.

Тем не менее в конце концов я стал думать, не мог бы Азазел чем-то помочь писателю в смысле организации времени. Это казалось маловероятным, и скорее всего я зря потратил бы время Азазела, однако что может значить время создания из другого мира?

Пробормотав все положенные заклинания и песнопения, я вызвал его оттуда, где он в тот момент нахо-

дился, и он явился спящим. Глаза его были закрыты, и от него исходил дребезжащий писк очень противного тона, то затихающий, то нарастающий. Это, как я понимаю, было эквивалентом человеческого храпа.

Не будучи уверенным относительно того, как его следует будить, я в конце концов решил капнуть ему на живот водой. Живот у него абсолютно круглый, как будто он проглотил шарик от подшипника. Не имею ни малейшего понятия, что в его мире считается нормой, но когда однажды я упомянул шарикоподшипник, он потребовал объяснений, а получив их, пригрозил меня запульнизировать. Значение этого слова мне не было известно, но по тону я заключил, что это не должно быть приятно. От капли воды он проснулся и тут же стал как-то глупо возмущаться. Он говорил, что его чуть не утопили, и пустился в разглагольствования на тему о том, как в их мире принято правильно будить. Что-то насчет тихой музыки и танцев, лепестков цветов и легких касаний прекрасных пальцев танцующих дев. Я ему объяснил, что в нашем мире вместо всего этого отлично работают садовые шланги; он сделал несколько замечаний насчет невежественных варваров и достаточно остыл для делового разговора. Объяснив ситуацию, я ожидал, что он тут же чего-нибудь набормочет, помашет ручками и — «да будет так».

Он ничего подобного не сделал. Вместо этого он серьезно посмотрел на меня и произнес:

— Послушай, ведь ты меня просишь вмешаться в законы вероятности.

— Именно так.

— Но это не просто, — сказал он.

— Конечно, не просто, — ответил я. — Иначе стали бы я тебя просить? Я бы сам это сделал. Только ради трудных задач обращаюсь я к столь могущественным и превосходным, как ты.

Грубо до тошноты, однако помогает в разговоре с демоном, у которого пунктик насчет маленького роста и круглого брюшка.

Моя логика ему понравилась, и он сказал:

— Я же не говорю, что это невозможно.

— Отлично.

— Надо будет поднастроить джинвиперовский континуум твоего мира.

— Точно сказано. Ты это у меня прямо с языка снял.

— Мне придется добавить несколько узлов взаимосвязи континуума с твоим другом — вот с тем, у которого все время опасность просрочки. Кстати, а что это такое?

Я объяснил, и он с некоторым придыханием сказал:

— А, понимаю. У нас такие вещи используются в самых эфирных проявлениях привязанности. Пропусти момент — и твой предмет уже никогда тебе этого не скажет. Помню, как-то раз...

Но я избавлю вас от несущественных подробностей его сексуального опыта.

— Тут есть один момент, — наконец добавил Азazel, — когда я вставляю новые узлы, убрать я их уже не смогу.

— А почему?

Азazel принял важный вид:

— Теоретически невозможно.

Я этому не поверил ни на грош. Ясно было, что этот маленький неумеха просто не знает как. Тем не менее, понимая, что у него вполне хватило бы умения сделать невыносимой мою жизнь, если бы я дал ему понять, что разгадал эту простенькую шараду, я сказал:

— Этого и не придется делать. Мордехаю нужно дополнительное время для писательских трудов, и если он его получит, то будет вполне доволен жизнью.

— Если так, то я это сделаю.

Он долго выполнял пассы. Он делал то же, что делал бы фокусник или волшебник, только ручки его мелькали с такой скоростью, что по временам их просто не было видно. Следует, однако, заметить, что ручки у него были такие маленькие, что и при нормальных обстоятельствах не всегда было ясно, видны они или нет.

— Что это ты делаешь? — спросил я, но Азazel потряс головой, а губами все время шевелил так, как будто считал про себя. Потом, закончив, по всей видимости, свою работу, откинулся на столе на спину, переводя дух.

— Готово? — спросил я.

Он кивнул и сказал:

— Ты, я надеюсь, понимаешь, что мне пришлось понизить его долю энтропии более или менее навсегда.

— А что это значит?

— Это значит, что события вокруг него будут идти более упорядоченно, чем это можно было бы ожидать.

— В упорядоченности нет ничего плохого, — сказал я. (Вы, мой друг, могли бы с этим не согласиться, но я всегда верил в живительную силу порядка. Мною ведется точный учет каждого цента, который я вам должен, а все подробности записаны на клочках бумаги, которые там и сям в моей квартире разложены. Вы их можете увидеть, когда вам будет угодно.)

Азazel сказал:

— Разумеется, ничего нет плохого в том, чтобы держаться порядка. Но второй закон термодинамики нельзя по-настоящему обойти. Это значит, что для сохранения равновесия где-то в другом месте порядка стало меньше.

— В каком смысле? — спросил я, проверяя молнию на брюках (никогда не лишнее).

— В различных и в основном незаметных. Эффект я распределил по Солнечной системе, так что где-то будет больше столкновений астероидов, отклонений орбиты Ио и тому подобное. Больше всего будет затронуто Солнце.

— А как?

— Я подсчитал, что оно разогреется до тех температур, которые сделают невозможной жизнь на Земле, на два с половиной миллиона лет раньше, чем это случилось бы, если бы я не менял узлов.

Я пожал плечами. Ради человека, регулярно платившего за меня по счету с такой искренней щедростью, что смотреть приятно, нет смысла мелочиться из-за пары миллионов лет.

Примерно через неделю я снова обедал с Мордехаем. Еще когда он снимал пальто, он показался мне возбужденным, а подойдя к столу, где я коротал время над коктейлем, он уже просто сиял.

— Джордж, — сказал он мне, — вы себе представить не можете, какая у меня была странная неделя. — Он, не глядя, протянул руку и даже не удивился, когда

в ней сразу оказалось меню. (Должен заметить, что в этом ресторане гордые и величественные официанты подают меню не иначе как по письменному заявлению в трех экземплярах с обязательной визой метрдотеля.)

— Джордж, — сказал Мордехай, — мир отлажен как часы.

— В самом деле? — Я подавил улыбку.

— Я прихожу в банк, и там сразу оказывается свободное окно и приветливый кассир. Я прихожу на почту, и там — ну ладно, никто не ожидает приветливости от почтового работника, но он тут же регистрирует мое письмо, и почти без ворчания. Я подхожу к остановке — и тут же подъезжает автобус, а вчера в час пик мне стоило только поднять руку, и сразу появилось такси! Нормальное такси. Я попросил его отвезти меня на перекресток Пятой и Сорок девятой, и он знал дорогу. Он даже говорил по-английски... Что вы будете есть, Джордж?

Достаточно было беглого взгляда на меню. Очевидно, что я тоже не должен был его задерживать. Мордехай небрежно бросил меню на стол и стал быстро заказывать для меня и для себя. При этом он даже не оглянулся посмотреть, стоит ли рядом с ним официант — он либо уже привык, либо предположил, что официант там будет.

И так оно и оказалось.

Официант потер руки, поклонился и обслужил нас быстро, вежливо и превосходно.

— Друг мой Мордехай, — сказал я. — У вас полоса потрясающего везения. С чего бы это?

Должен признать, что у меня мелькнула мысль дать ему понять, что это моя работа. Не должен ли он был отплатить мне золотым дождем или, по нынешним приземленным временам, хотя бы бумажным?

— Это просто, — ответил он, засовывая салфетку за воротник и намертво зажимая в двух кулаках вилку и нож, ибо Мордехай, при всех его достоинствах, обучался искусству застольного поведения не в благородном пансионе. — Это несколько не везение. Это неизбежный результат законов случая.

— Случая? — возмущенно воскликнул я.

— Конечно, — сказал Мордехай. — Большую часть овоей жизни мне пришлось выдерживать такой натиск

случайных задержек, какого мир не видел. По законам вероятности для такого непрерывного потока неприятностей необходима компенсация, и вот это мы теперь и наблюдаем. Думаю, что это продлится уже до конца моих дней. На это я рассчитываю и в это верю. Все в мире сбалансировано. — Он подался вперед и весьма фамильярно и неприятно толкнул меня ладонью в грудь. — Вот в чем дело. Законы вероятности нерушимы.

Весь обед он читал мне лекцию о законах вероятности, о которых, по моему глубокому убеждению, знал так же мало, как и вы.

Наконец я сказал:

— У вас, конечно, добавилось времени на писание?

— Конечно! Я думаю, что мое рабочее время увеличилось процентов на двадцать.

— И соответственно увеличилась ваша продуктивность?

— Ну, — сказал он, как-то смущаясь, — пока еще, к сожалению, нет. Мне ведь надо еще настроиться. Я не привык, чтобы все было гладко. Меня это все как-то поражает.

Честно говоря, он не казался мне пораженным. Подняв руку, он не глядя взял счет из рук возникшего официанта, небрежно расписался на нем и вместе с кредитной карточкой дал официанту, который в это время стоял и ждал, а после этого сразу исчез.

Весь обед занял чуть больше тридцати минут. Не буду от вас скрывать, что я предпочел бы более цивилизованные два с половиной часа, с шампанским в начале и коньяком в конце, с бокалом-другим хорошего вина между переменами и интеллигентным разговором в течение всего обеда. Однако следовало учесть, что Мордехай сберег два часа, которые он мог использовать на загребание денег для себя, ну, и для меня — в некотором смысле.

Случилось так, что с этого обеда я три недели Мордехая не видел. Не помню почему, — кажется, нас с ним по очереди не было в городе. Как бы там ни было, однажды утром, выходя из кафе после рулета с яичницей, я увидел в полуквартале от себя Мордехая.

Был противный денек с мокрым снегом — день, когда свободные такси подлетают к вам только затем, чтобы обляпать вам брюки серой жидкой грязью и тут же рвануть с места, включив сигнал «не работаю» и с противным воем набирая скорость.

Мордехай, стоя ко мне спиной, поднял руку, и к нему тут же осторожно подъехало свободное такси. К моему удивлению, Мордехай смотрел в сторону. Такси отползло прочь, и на его ветровом стекле ясно читалось разочарование.

Мордехай снова поднял руку, и тут же из ниоткуда явилось второе такси и остановилось перед ним. Он влез внутрь, но, как я услышал даже с расстояния в сорок ярдов, высказал несколько таких сентенций, которые ни в коем случае не предназначались бы для ушей деликатно воспитанного человека, если таковые еще попадают в нашем городе.

В то же утро я ему позвонил и договорился выпить по коктейлю в уютном баре «Счастливым часок», в котором этот самый часок иногда растягивался на целый день. Я просто не мог дожидаться встречи — мне нужно было получить у него объяснение.

А именно, меня интересовал смысл тех восклицаний, которые он произнес, садясь в такси. Нет-нет, мой друг, вы неправильно меня понимаете. Их словарный смысл — если бы эти слова можно было бы найти в словаре — был мне знаком. Что же мне было совсем непонятно — это почему он их произнес. Судя по всему, он должен был бы быть вполне счастлив.

Когда он вошел в бар, счастливым он не выглядел. Скорее казался изнуренным.

Он сказал:

— Джордж, сделайте одолжение — позовите официантку, ладно?

В этом баре официантки одевались не очень тепло, что, впрочем, согревало взор посетителей. Я с радостью позвал одну из них, хотя и понимал, что она проинтерпретирует мой жест лишь как желание заказать что-нибудь выпить.

На самом деле она его не стала интерпретировать никак, ибо все время была уверенно повернута ко мне лишь обнаженной спиной.

Я сказал:

— На самом деле, Мордехай, если вы хотите, чтобы вас здесь обслужили, вам придется позвать ее самому. Законы вероятности еще не повернулись ко мне выгодной стороной, что просто стыд и позор, ибо давно пора помереть моему богатому дядюшке, лишив своего сына наследства в мою пользу.

— У вас есть богатый дядюшка? — У Мордехая на мгновение блеснул интерес.

— Увы, нет. Это лишь усугубляет несправедливость ситуации. Мордехай, пожалуйста, позовите официантку.

— А ну ее к черту, — проворчал Мордехай. — Подождет, не рассыплется.

Меня, как вы понимаете, беспокоил вопрос не о том, сколько она будет нас ждать, а совсем другое, но любопытство пересилило жажду. Я сказал:

— Мордехай, что с вами? У вас несчастный вид. Сегодня утром я видел, как вы не обратили внимания на пустое такси в такой день, когда они на вес золота, а потом, садясь во второе, даже выругались.

— Что, в самом деле? — спросил Мордехай. — Да эти гады меня просто утомили. Такси за мной охотятся. Просто едут вереницами. Я не могу взглянуть на дорогу, чтобы из них кто-нибудь не остановился. На меня наваливаются толпы официантов. При моем приближении продавцы открывают закрытые магазины. Стоит мне войти в холл, как лифт распахивает пасть и ждет, пока я войду, и тут же закрывается и едет сразу на нужный этаж. В любой конторе мне сразу приветственно машут орды служащих, заманивая каждый к своему столу. Все правительственные чиновники существуют только затем, чтобы...

— Но, Мордехай, — вставил я слово, — это же просто прекрасно. Законы вероятности...

То, что он предложил сделать с законами вероятности, было абсолютно невыполнимо хотя бы из-за отсутствия у абстрактных понятий телесной сущности.

— Однако, Мордехай, — убеждал я его, — все это должно было дать вам больше времени для писательских трудов.

— Ни хрена! — рявкнул Мордехай. — Я писать вообще не могу!

— Ради всего святого, отчего?

— Потому что у меня нет времени на *обдумывание*.

— Нет времени на *что*?

— Раньше, в процессе всех этих ожиданий — в очередях, на остановках, в конторах, — это было время, когда я *думал*, когда обдумывал, что буду писать. Это было время совершенно необходимой подготовки.

— Я этого не знал.

— Я тоже, зато теперь знаю.

— Я-то думал, — сказал я, — что вы все это время ожидания только распялялись, ругались и самого себя грызли.

— Часть того времени на это и тратилась. А остальное время шло на обдумывание. И даже время, когда я пенял на несовершенство мира, шло не зря, поскольку я получал хорошую встряску и правильную гормональную настройку всего организма, и, когда добирался наконец до машинки, вся эта невольная злость выплескивалась на бумагу. От обдумывания появлялась интеллектуальная мотивация, а от злости — мотивация эмоциональная. А от их соединения рождалась превосходная проза, выливающаяся из тьмы и inferнального огня моей души. А теперь — что? Вот, смотрите!

Он слегка щелкнул пальцами, и тут же тщательно раздетая красавица оказалась на расстоянии вытянутой руки, спрашивая:

— Могу я обслужить вас, сэр?

Уж конечно, могла бы, но Мордехай только мрачно заказал два коктейля для нас обоих.

— Я думал, — продолжал он, — что просто надо приспособиться к новой ситуации, но теперь я вижу, что это невозможно.

— Но вы же можете отказаться от использования преимуществ такой ситуации.

— Отказаться? А как? Вы же видели сегодня утром. Если я отказываюсь от такси, тут же приходит другое, только и всего. Пятьдесят раз могу я отказаться, и оно придет пятьдесят первый. И так во всем. Я уже совсем вымотался.

— А что, если вам просто зарезервировать себе часок-другой для раздумий в тишине кабинета?

— Именно так! В тишине кабинета. А оказалось, что я могу думать, лишь переминаясь с ноги на ногу на

перекрестке, или на каменной скамейке зала ожидания, или в столовой без официанта. Мне нужен источник раздражения.

— Но вы же раздражены сейчас?

— Это не то же самое. Можно злиться на несправедливость, но как злиться на всех этих нечутких олухов за ненужную доброту и предупредительность? Я не раздражен сейчас, а всего лишь печален.

Это был самый несчастливый час, который я когда-либо провел в баре «Счастливый часок».

— Клянусь вам, Джордж, — говорил Мордехай, — я думал, что меня сглазили. Как будто фея, не приглашенная на мое крещение, нашла, наконец, что-то похуже, чем постоянные потери времени. Он нашла проклятие исполнения любых желаний.

Видя его столь несчастным, я с трудом удержался от недостойных мужчины слез, тем более что этой неприглашенной феей был я, и он, не дай Бог, как-нибудь об этом дознается. Он мог бы тогда убить себя или — страшно даже подумать — меня.

А потом пришел настоящий ужас. Спросив счет и, разумеется, моментально получив, он бросил его мне, рассмеялся фальшивым, кашляющим смешком и сказал:

— Давайте-ка заплатите. А я пошел.

Я заплатил. А что мне было делать? Но полученная рана и сейчас иногда напоминает о себе перед ненастьем. Я ведь для него укоротил жизнь Солнца на два с половиной миллиона лет, и я же должен был платить за выпивку? Где справедливость?

Мордехая я с тех пор не видел. Я слышал, что он уехал из страны и стал бродягой где-то в южных морях.

Не знаю, чем там занимаются бродяги — думаю, вряд ли гребут деньги лопатой. Одно я знаю: если он будет стоять на берегу и захочет, чтобы пришла волна, она придет тут же.

Тем временем недовольный официант принес нам счет и положил его между нами, а Джордж талантливо, как и всегда, изобразил задумчивую рассеянность.

Я спросил:

— Джордж, вы ведь не собираетесь просить Азазела сделать что-нибудь и для меня?

— Вообще-то нет, — ответил Джордж. — К сожалению, старина, вы не тот человек, с которым связаны мысли о благодеяниях.

— И вы не собираетесь для меня ничего сделать?

— Абсолютно.

— Тогда, — сказал я, — я плачу по счету.

— Это, — ответил Джордж, — самое меньшее, что вы можете сделать.

ПО СНЕЖКУ ПО МЯГКОМУ

Мы с Джорджем сидели у окна в «Ла Беге-ма» — французском ресторанчике, которому Джордж время от времени оказывал благодеяния за мой счет. Я выглянул и сказал:

— Похоже, снег пойдет.

Нельзя сказать, чтобы это было вкладом в мировую сокровищницу знаний. Весь день темные и низкие тучи плотно закрывали небо, температура болталась где-то ниже нуля и по радио предсказывали снег. Однако то пренебрежение, с которым к этому замечанию отнесся Джордж, несколько задело мои чувства.

Он сказал:

— Вот, например, мой друг Септимус Джонсон.

— А что такое? — спросил я. — Какое отношение он имеет к тому факту, что может пойти снег?

— Естественный ход мысли, — отрезал Джордж — Вы наверняка слышали об этом процессе, несмотря на то что сами его не испытали ни разу.

Мой друг Септимус (говорил Джордж) был суровым молодым парнем, ходил всегда набывчившись и постоян-

но шевелил глыбами бицепсов. Он был седьмым ребенком в семье, отсюда и имя. Его младшего брата звали Октавиус, а их младшую сестру — Нина.

Я не знаю, насколько далеко еще простирался этот счет, но думаю, что в детстве и юности он страдал от многолюдия и потому впоследствии до странности любил уединение и тишину.

Достигнув зрелости и добившись определенного успеха своими романами (почти как вы, старина, только его критики иногда хвалили), он скопил достаточно денег, чтобы потакать своим странностям. Короче говоря, он купил себе отдельно стоящий дом на заброшенном клочке земли в глухом углу штата Нью-Йорк и время от времени скрывался там для написания следующего романа. Это место не было очень уж далеко от всякой цивилизации, но до самого горизонта, казалось, простиралась нетронутая глушь.

Думаю, что только меня одного он когда-либо приглашал к себе в этот сельский угол. Я полагаю, что его привлекала моя исполненная спокойного достоинства манера, а также блеск и разнообразие моих разговоров. Он никогда ничего не говорил на эту тему, но трудно предположить что-либо другое.

Конечно, с ним надо было вести себя осторожно. Каждый, кому случалось получить дружеский шлепок по спине — любимая манера здороваться у Септимуса Джонсона, — знает ощущение от сломанного позвонка. Однако при нашей первой встрече случайное проявление силы с его стороны оказалось очень кстати.

На меня насала дюжина-другая бродяг, введенная в заблуждение моим полным достоинства видом, из-за которого они решили, что у меня непременно должны быть с собой несметные богатства наличными и драгоценностями. Я отчаянно защищался, потому что у меня с собой не было ни цента и я понимал, что, когда бродяги, это обнаружат, они, в силу естественного разочарования, обойдутся со мной весьма варварски. В этот момент и появился Септимус, погруженный в обдумывание своих творений. Свора негодяев как раз была у него на пути, и, поскольку он так глубоко задумался, что мог идти только по прямой, он механически раскидал их в стороны по двое и по трое. На дне

кучи он обнаружил меня, и как раз тогда у него что-то забрезжило и он увидел решение какой-то своей проблемы, какова бы она ни была. Сочтя меня счастливым талисманом, он пригласил меня пообедать. Сочтя, что обед за чужой счет гораздо лучше любого талисмана, я согласился.

К концу обеда я приобрел такое на него влияние, что он пригласил меня к себе за город. Потом такие приглашения часто повторялись. Он однажды сказал, что, когда есть я, — это почти то же самое, как когда никого нет. Зная, как он ценит одиночество, я счел это за серьезную похвалу. Поначалу я ожидал увидеть хижину, но ошибся. Септимус явно преуспевал со своими романами и в расходах не стеснялся. (Я понимаю, что в вашем присутствии невежливо говорить о преуспевающих писателях, но приходится держаться фактов.)

Дом, хотя и изолированный от мира настолько, что я находился в постоянной агорафобии, был отлично электрифицирован, в подвале стоял дизель, а на крыше — солнечные батареи. Еда была хороша, а винный погреб — просто великолепен. Мы жили в роскоши, а к ней я всегда очень легко привыкал, что удивительно из-за малого опыта.

Конечно, совсем не выглядывать в окна было невозможно, и полное отсутствие декоративности довольно сильно подавляло. Можете мне поверить — пейзаж составляли холмы, поля и небольшое озеро, неимоверное количество всякой ядовито-зеленой растительности, но никакого следа человеческого жилья, или автомагистрали, или чего-нибудь в этом роде — на худой конец, цепочки телеграфных столбов.

Однажды, после хорошего обеда с хорошим вином, Септимус торжественно заявил:

— Джордж, мне приятно, когда вы здесь. После беседы с вами я сажусь за свой текст-процессор с таким облегчением, что у меня все выходит гораздо лучше. А потому приезжайте запросто в любое время. Здесь, — он повел рукой в воздухе, — здесь вы можете скрыться от всех забот и невзгод, что преследуют вас. А пока я сижу за текст-процессором, все книги, телевизор и холодильник в вашем распоряжении, а где винный погреб, вы, я надеюсь, знаете.

Как оказалось, я это знал. Я даже нарисовал для себя маленький план, на котором был большим крестом обозначен винный погреб и тщательно намечены все маршруты к нему.

— Единственное, о чем я должен предупредить, — сказал Септимус, — это убежище от горестей мира закрыто с первого декабря по тридцать первое марта. В это время я не могу предложить вам свое гостеприимство, потому что и сам должен оставаться в городе.

Это меня ошарашило. Для меня пора снега — пора невзгод. Именно зимой, мой старый друг, начинают особенно свирепствовать мои кредиторы. Эти жадины, настолько богатые, что ничего не потеряли бы от тех жалких крох, что я им должен, были бы особенно довольны, узнав, что меня вышвырнули на мороз. Эта мечта вдохновляет их на такие полные волчьей ярости поступки, что убежище мне просто необходимо.

Я спросил:

— А почему бы и не зимой, Септимус? С таким мощно гудящим камином и не уступающим ему паровым отоплением вы могли бы поплевывать на все морозы Антарктики.

— Так бы оно и было, — ответил Септимус, — но похоже, что каждую зиму ревущие дьяволы выюг устраивают здесь съезды и вываливают свои запасы снега прямо на этот мой полурай. И тогда этот затерянный в одиночестве дом оказывается отрезан от внешнего мира.

— И гори он огнем, этот мир, — заметил я.

— Совершенно справедливо, — согласился Септимус. — Но, однако, все мои запасы поставляются извне — еда, напитки, горючее, чистое белье. Горько, но правда — я на самом деле не могу выжить без поддержки извне или, по крайней мере, вести без нее такую жизнь сибарита, какая только и достойна уважающего себя человека.

— Знаете, Септимус, — сказал я, — может быть, я подумаю, как разрешить это затруднение.

— Думайте сколько влезет, — ответил он, — но ничего у вас не выйдет. Тем не менее восемь месяцев в году этот дом ваш или, по крайней мере, в то время, когда я здесь.

Это было правдой, но как может человек принимать во внимание только восемь месяцев, когда их все равно двенадцать? Тем же вечером я вызвал Азазела.

Я не думаю, что вы о нем что-нибудь знаете. Это демон, этаким волшебник-бесенок ростом в два сантиметра, но обладающий сверхъестественной силой, которую он всегда рад проявить, потому что у себя дома (где бы это ни находилось) он вряд ли стоит высоко во мнении своих сограждан. Поэтому...

Ах, вы о нем слышали? Это прекрасно, однако как вы полагаете, друг мой, могу ли я рассказать вам что бы то ни было, если вы все время стараетесь изложить вашу собственную точку зрения? Вы, кажется мне, не понимаете, что искусство беседы требует прежде всего умения внимательно слушать и воздерживаться от перебивания говорящего даже по таким экстраординарным поводам, как то, что вы что-то знаете. Ну, да ладно.

Азазел был, как всегда, невероятно зол. Он, очевидно, был занят чем-то, что называл «торжественным религиозным созерцанием». Мне с трудом удалось подавить мое справедливое раздражение. Он всегда занят чем-то, что считает важным, и никогда, похоже, не поймет, что, когда я его вызываю, это по *действительно* важному делу.

Я спокойно подождал, пока визгливая ругань наконец затихла, и изложил суть дела.

Он слушал, сердито наморщив мордочку, а потом спросил:

— Что такое снег?

Я вздохнул и объяснил.

— Ты говоришь, что с неба падает отвердевшая вода? Целые куски отвердевшей воды? И после этого остается что-то живое?

Я не стал пускаться в объяснения насчет града, но сказал:

— Она падает в виде мягких и рыхлых хлопьев, о Могущественный (на него всегда хорошо действовали подобные дурацкие имена). Неудобства возникают, когда ее выпадает слишком много.

Азазел заявил:

— Если ты просишь меня изменить погодный режим этого мира, я отказываюсь *решительно*. Это подпадает

под статью о незаконной переделке планет кодекса этики моего крайне этичного народа. Я и думать не желаю о нарушении этики, тем более что если меня поймают, то скормят ужасной птице Ламелл — исключительно мерзкой твари с отвратительными застольными манерами. Даже говорить не хочу, с чем она меня смешает.

— О переделке планет я и думать не думал, о Возвышенный. Я хотел бы попросить только об одной гораздо более простой вещи. Видишь ли, снег, когда его много, настолько мягок и рыхл, что человек в нем проваливается.

— Сами виноваты — не надо быть такими массивными, — буркнул Азazel.

— Несомненно, — согласился я, — и именно эта масса и делает ходьбу столь трудной. Я бы хотел, чтобы на снегу мой друг был не так тяжел.

Но внимание Азazела было трудно привлечь. Он только повторял, как болванчик: «Отвердевшая вода — повсюду — по всей земле!» — и тряс головой, не в силах себе такого представить.

— Ты можешь сделать моего друга полегче? — спросил я наконец, указывая на самую простую задачу.

— Запросто! — отозвался Азazel. — Надо только применить принципы антигравитации, чтобы она включалась от молекулы воды, находящейся в определенном состоянии. Это нелегко, но это возможно.

— Погоди, — сказал я с беспокойством, представляя себе опасность такой жесткой схемы. — Гораздо разумнее будет подчинить антигравитацию воле моего друга. Может быть, ему иногда будет приятнее топать по земле, чем парить.

— Подчинить антигравитацию столь примитивной автономной системе твоего типа? Ну, знаешь ли! Твоя наглость поистине не знает границ!

— Я ведь только попросил, — сказал я, — поскольку имею дело с тобой. Никогда бы не стал я просить кого-нибудь другого из твоего народа, ибо это было бы бесполезно.

Эта маленькая дипломатическая неправда возымела ожидаемое действие. Азazel выпятил грудь аж на це-

лых два миллиметра и величественным контртеноровым пискком провозгласил:

— Да будет так.

Я думаю, что соответствующая способность появилась у Септимуса в тот же момент, но я не уверен. Дело было в августе, и снегового покрова для экспериментов под рукой не было — а ехать за материалом в Патагонию, Антарктиду или даже в Гренландию у меня не было никакой охоты. Не было также смысла объяснять ситуацию Септимусу, не имея снега для демонстрации. Он бы просто не поверил. Он бы пришел к смехотворному заключению, что я — Я — слишком много выпил.

Но рок благоволил мне. Мы были в загородном доме у Септимуса в ноябре (он это называл «закрытие сезона»), когда начался снегопад — необычно обильный для этого времени.

Септимус разозлился до белого каления и объявил войну вселенной, не собираясь спускать ей столь гнусного оскорбления.

Но для меня это была милость небес — и для него тоже, если бы он это знал. Я сказал:

— Отриньте боязнь, Септимус. Отныне узнайте, что снег вам более не страшен.

И я объяснил ему ситуацию настолько подробно, насколько это было необходимо.

Я так и полагал, что наиболее вероятной ожидаемой реакцией будет выраженное в нелитературной форме недоверие, но он добавил еще несколько отнюдь не необходимых малоцензурных замечаний о моем умственном здоровье.

Однако я не зря потратил несколько месяцев на выработку правильной стратегии.

— Вы могли бы, вообще говоря, поинтересоваться, — сказал я, — чем я зарабатываю на жизнь. Я думаю, вас не удивит такой мой уход от темы, если теперь я вам скажу, что занимаю ключевой пост в правительственной исследовательской программе по антигравитации. Я ничего больше не имею права говорить, кроме того, что

эксперимент с вашим участием поведет к колоссальному прогрессу всей программы.

Он выкатил на меня глаза, а я тихо напел несколько тактов мотива «Звездно-полосатое знамя».

— Вы это серьезно? — спросил он меня.

— Стал бы я говорить неправду? — ответил я. И затем, рискуя нарваться на естественный ответ, добавил: — Или стало бы врать ЦРУ?

Он это проглотил, подавленный той аурой правдивой простоты, которая пронизывала все мои слова.

— Что я должен делать? — спросил он.

Я ответил:

— Сейчас снега всего шесть дюймов. Вообразите, что вы ничего не весите, и станьте на него.

— Просто вообразить?

— Так это действует.

— Да я же просто ноги замочу.

— Наденьте болотные сапоги, — саркастически предложил я.

Он заколебался, потом на самом деле вытащил болотные сапоги и залез в них. Открытое выражение недоверия на его лице меня глубоко задело. Кроме того, он надел меховое пальто и еще более меховую шапку.

— Если вы готовы... — холодно начал я.

— Не готов, — перебил он.

Я открыл дверь, и он ступил наружу. На крытой веранде снега не было, но как только он вышел на ступени, ноги из-под него поехали, и он отчаянно вцепился в балюстраду.

Как-то добравшись до конца короткой лестницы, он попытался подняться, но это не получалось — по крайней мере не получалось так, как он хотел. Еще несколько футов он проехал, молотя руками по снегу и размахивая ногами в воздухе. Он перевернулся на спину и продолжал скользить, пока не наткнулся на молодое дерево и не зацепился согнутой рукой за его ствол. Сделав три или четыре оборота вокруг ствола, он остановился.

— Что за скользкий сегодня снег? — заорал он дрожащим от возмущения голосом.

Должен признать, что, несмотря на мою веру в Азазела, я не мог не удивиться, глядя на эту картину.

От его ног не оставалось следов, а скользящее по снегу тело не оставило борозды. Я сказал:

— На снегу вы ничего не весите.

— Псих, — ответил он.

— Посмотрите на снег, — настаивал я. — Вы не оставляете следов.

Он посмотрел, после чего сделал несколько замечаний, которые в прежние годы можно было бы назвать непечатными.

— Вспомним, — продолжал я, — что сила трения зависит от давления скользящего тела на поверхность скольжения. Чем меньше давление, тем меньше сила трения. Вы ничего не весите, ваше давление на снег равно нулю, следовательно, сила трения также нулевая, и вы скользите по снегу, как по абсолютно гладкому льду.

— Так что же мне делать? Я же так не могу, когда у меня ноги разъезжаются!

— Это ведь не больно, правда? Когда ничего не вешишь, то падать на спину не больно.

— Все равно это не годится. «Не больно» — это еще не основание провести жизнь, лежа на спине в снегу.

— Ну, Септимус, вообразите, что вы снова потяжелели, и встаньте.

Он соорудил озадаченную физиономию и сказал:

— Просто вообразить — и все?

Тем не менее он попробовал и неуклюже поднялся на ноги.

Теперь он ушел в снег на пару дюймов и, когда осторожно попробовал шагнуть, ему это было не труднее, чем обычно бывает идти по снегу.

— Джордж, как вы это делаете? — спросил он с возросшим почтением в голосе. — Я бы никогда не сказал, что вы такой ученый.

— ЦРУ требует маскировки, — объяснил я. — Теперь воображайте себя все легче и легче и пройдите снова. Ваши следы будут все мельче и мельче, а снег будет все более и более скользким. Остановитесь, когда он станет слишком скользким.

Он поступил так, как было сказано, ибо ученые имеют сильное влияние на низших смертных.

— Теперь, — сказал я, — попробуйте скользнуть вокруг дома. Когда захотите остановиться, просто станьте тяжелее — но постепенно, а то шлепнетесь носом.

Септимус был парень спортивный и освоился очень быстро. Он когда-то мне говорил, что владеет всеми видами спорта, кроме плавания. Когда ему было три года, отец зашвырнул его в пруд в искренней попытке научить плавать без всех этих утомительных инструкций, и потом ему в течение десяти минут пришлось делать искусственное дыхание «рот в рот». Как он говорил, это оставило у него на всю жизнь стойкий страх перед водой и отвращение к снегу. «Снег — это твердая вода», — говорил он точь-в-точь как Азazel.

Однако в новых обстоятельствах отвращение к снегу не спешило проявиться. Он начал с радостным ушераздирающим визгом носиться вокруг веранды, утяжеляя себя на поворотах и разбрызгивая из-под ног фонтаны снега при остановке.

— Постойте-ка! — крикнул он, ринулся в дом и вынырнул — хотите верьте, хотите нет — с привязанными к сапогам коньками. — Я научился кататься у себя на озере, — объяснил он, — но удовольствия от этого не получал. Всегда боялся, что лед провалится. А теперь могу кататься и не бояться.

— Не забудьте, — встревожено напомнил я, — что это работает только над молекулами H_2O . Стоит вам попасть на клочок оголенной земли или мостовой, и ваша легкость исчезнет. Вы можете ушибиться.

— Не беспокойтесь, — сказал он, вставая на ноги и беря старт.

Я смотрел ему вслед, а он летел уже где-то за полмили над заснеженным пустым полем, а до моих ушей донесся отдаленный рев: «По снежку по мягкому на саночках лихих...»

Септимус, необходимо заметить, каждую ноту берет наугад и никогда не угадывает. Я зажал уши.

Эта зима была, смею сказать, счастливейшей в моей жизни. Всю долгую зиму я жил в теплом, уютном доме, ел и пил по-царски, читал повышающие мой интеллектуальный уровень книжки, в которых старался оказать-

ся умнее автора и найти, кто убийца; а еще я наслаждался мыслью о том, как злятся мои кредиторы там, в городе.

У меня была отличная возможность наблюдать через окно за нескончаемым катанием Септимуса на коньках по снегу. Он говорил, что чувствует себя птицей и наслаждается неведомым ему ранее полетом в трех измерениях. Что ж, каждому свое.

Я его много раз предупреждал, чтобы его никто не видел.

— Это подставит под удар меня, — говорил я ему, — поскольку этот частный эксперимент не был утвержден ЦРУ, но о своей безопасности я не волнуюсь, потому что там, где дело идет о таких, как я, — секретность превыше всего. Но если кто-нибудь когда-нибудь увидит, как вы скользите над снегом, вы станете объектом любопытства, и вокруг вас закрубятся десятки репортеров. Про вас узнает ЦРУ, и вас подвергнут сотням непрерывных экспериментов и исследований, вас будут изучать тысячи ученых и военных. Вы станете национальной знаменитостью и всегда будете окружены толпами рвущихся к вам людей.

Септимус затрясся от страха, как и должен был любитель одиночества по моим расчетам. Потом он сказал:

— А как мне нас снабжать, если я не могу показаться? Мы же из-за этого и затеяли весь эксперимент.

Я ответил:

— Я думаю, что грузовики почти всегда могут пройти по дорогам, а вы можете сделать достаточные запасы, чтобы переждать те времена, когда это не так. Если же вам на самом деле что-то срочно понадобится, можете подлететь к городу как можно ближе, но так, чтобы никто не видел — а в такое время мало кто выходит на улицу, — потом восстановить полный вес, проковылять несколько последних шагов пути с усталым видом. Берете, что вам надо, хромаете метров сто назад, и снова на взлет. Годится?

Той зимой это, к счастью, не понадобилось — я так и думал, что он преувеличивает угрозу снега. И никто не видел, как он скользит. Септимусу все было мало. Вы бы видели его лицо, когда снега не было больше недели да еще началась небольшая оттепель. Вы себе

представить не можете, как он волновался за снежный покров.

Ах, какая чудесная была зима! И какая трагедия, что она была единственной!

Что случилось? Я вам расскажу, что случилось. Помните, что сказал Ромео перед тем, как всадить кинжал в Джульетту? Вы наверняка не знаете, так что я вам расскажу. Он сказал: «Ее в судьбу свою впусти — скажи покою враз “прости”». Это о женщинах.

Следующей осенью Септимус встретил женщину — Мерседес Гамм. Он и раньше встречал женщин; анахоретом он не был, но они никогда для него много не значили. Короткое знакомство, романтическая любовь, пожар страстей — и он их забывал, а они его. Просто и безвредно. Меня самого, в конце-то концов, преследовали разные молодые дамы, и я никогда не считал это чем-то предосудительным — даже если они припирали меня к стенке и вынуждали... но мы отклонились от темы.

Септимус пришел ко мне в довольно подавленном настроении.

— Джордж, я ее люблю, — заявил он. — Я при ней просто теряюсь, как мальчишка. Она — путеводная звезда моей жизни.

— Прекрасно, — сказал я. — Я вам разрешаю продолжать в том же духе еще некоторое время.

— Спасибо, Джордж, — грустно отозвался он. — Теперь нужно только ее согласие. Не знаю, почему это так, но она, похоже, не очень меня жалует.

— Странно, — сказал я. — Обычно вы имеете успех у женщин. Вы, в конце концов, богатый, мускулистый и не уродливей других.

— Думаю, дело тут не в мускулах, — сказал Септимус. — Она думает, что я дубина.

Я не мог не восхититься точностью восприятия мисс Гамм. Септимус, если назвать это как можно мягче, и был дубиной. Однако, учитывая его бицепсы, ходившие буграми под пиджаком, я счел за лучшее не делиться с ним своей оценкой ситуации. Он продолжал:

— Она говорит, что в мужчинах ей нравится не физическая развитость. Ей нужен кто-то думающий, интеллектуальный, глубоко рациональный, философичный — и целый еще букет подобных прилагательных. И она говорит, что у меня ни одного из этих качеств нет.

— А вы ей говорили, что вы писатель?

— Конечно, говорил. И она читала парочку моих романов. Но вы же знаете, Джордж, это романы о футболистах, и она сказала, что ее от них тошнит.

— Я вижу, она не принадлежит к атлетическому типу.

— Конечно, нет. Она плавает, — он строил гримасу, вспомнив, наверное, дыхание «рот в рот» в нежном возрасте трех лет, — но это не помогает.

— В таком случае, — сказал я, голосом смягчая резкость фразы, — забудьте ее, Джордж. Женщины легко приходят и уходят. Уходит одна — придет другая. Много рыб в море и птиц в небе. В темноте они все друг на друга похожи. Нет разницы, одна или другая.

Я мог бы продолжать бесконечно, но мне показалось, что он начал напрягаться, а вызывать напряжение у здоровенной дубины — неблагоприятно.

— Джордж, такими словами вы глубоко оскорбляете мои чувства, — сказал Септимус. — Мерседес для меня единственная в мире. Жить без нее я не смогу. Она неотделима от смысла моей жизни. Она в каждом ударе моего сердца, в каждом вдохе моей груди, в каждом взгляде моих глаз. Она...

А он мог продолжать и продолжал бесконечно, и мне показалось неуместным останавливать его замечанием, что такими чувствами он глубоко оскорбляет меня.

Он сказал:

— Итак, я не вижу другого выхода, кроме как настаивать на браке.

Это прозвучало как удар судьбы. Я знал, что будет дальше. Как только они поженятся, моя райская жизнь кончена. Не знаю почему, но первое, на чем настаивают молодые жены, — на уходе холостых приятелей мужа. Не бывать мне больше у Септимуса в загородном доме.

— Это невозможно, — встревоженно сказал я.

— Понимаю, что это кажется трудным, но я думаю, это получится. У меня есть план. Пусть Мерседес счи-

тает меня глубиной, но я не совсем уж несообразительный. Я приглашу ее в свой загородный дом в начале зимы. Там, в тишине и покое моего Эдема, обострится ее восприятие, и она сможет оценить истинную красоту моей души.

По моему мнению, от Эдема не стоило бы ожидать столь многого, но сказал я только:

— Вы собираетесь ей показать, как умеете скользить по снегу?

— Нет, нет, — сказал он. — Только после свадьбы.

— Даже тогда...

— Джордж, это чушь, — раздраженно сказал Септимус. — Жена — второе «я» мужа. Ей можно доверять потаеннейшие секреты души. Жена — это...

Он снова пустился в бесконечный монолог, и я только мог слабо возразить:

— ЦРУ это не понравится.

Его короткое замечание насчет ЦРУ вызвало бы полное одобрение со стороны Советов. А также Кубы и Никарагуа.

— Я попробую как-нибудь убедить ее приехать в начале декабря, — сказал он. — Я верю, что вы меня правильно поймете, Джордж, если я вам скажу, что мы хотели бы побыть здесь вдвоем. Я знаю, что вы и думать не стали бы мешать тем романтическим возможностям, которые наверняка возникнут у нас с Мерседес на лоне мирной природы. «Нас свяжет вместе магнетизм молчания и медленного времени поток».

Конечно, я узнал цитату. Это сказал Макбет перед тем, как всадить кинжал в Дункана, но я всего лишь посмотрел на Септимуса холодно и с достоинством. Через месяц мисс Гамм поехала в загородный дом Септимуса, а я не поехал.

Что там случилось — тому я свидетелем не был. Я знаю это только со слов Септимуса, а потому не могу ручаться за каждую деталь. Мисс Гамм была настоящей пловчихой, но Септимус, имевший непреодолимое отвращение к такому хобби, ничего на эту тему не спрашивал. Мисс Гамм тоже не считала необходимым донимать подробностями ни о чем не спрашивающую дубину. Поэтому Септимус ничего не знал о том, что мисс Гамм — одна из тех сумасшедших, которые любят в

середине зимы напаялить купальник, пробить лед на озере и броситься в прорубь купаться в освежающей и животворящей воде.

Так и вышло, что однажды ярким морозным утром, когда Септимус храпел в глубоком забытии, как дубине и положено, мисс Гамм тихо поднялась, надела купальник, плащ из махровой ткани и тапочки и отправилась по заснеженной тропе к озеру. По краям оно ярко сверкало льдом, но середина еще не замерзла, и вот, скинув халат и тапки, она бросилась в воду с визгом, который, очевидно, должен был свидетельствовать о радости. Где-то вскоре проснулся Септимус и тонким инстинктом влюбленного ощутил отсутствие в доме своей драгоценной Мерседес. Он стал ее искать и звать. Найдя в комнате ее одежду, он понял, что она не уехала тайком в город, как он сначала в испуге решил. Она была где-то снаружи.

Надев наспех сапоги на босые ноги и накинув самое теплое пальто прямо на пижаму, он рванулся наружу, зовя ее по имени.

Мисс Гамм его, конечно, услышала и отчаянно замахала рукой:

— Сюда, Сеп, сюда! Давай скорее!

Дальше я приведу слова самого Септимуса:

«Для меня это прозвучало как “на помощь!”. Я заключил, что моя любовь в состоянии умопомрачения выбежала на лед, и он подломился. Мог ли я вообразить, что она по доброй воле полезла в ледяную воду? Я так ее любил, Джордж, что немедленно, несмотря ни на что, бросился к воде, которой я обычно боюсь как огня — особенно ледяной воды — чтобы спасти ее. Ну, если и не немедленно, то подумав всего две минуты, ну максимум — три.

Тут я крикнул: “Любовь моя, я иду! Держи голову над водой!” — и побежал. Я не собирался *идти* туда через снег — понимал, что времени мало. Уменьшив на бегу вес, я заскользил, прямо над снегом, прямо надо льдом, окружившим берега озера, и прямо в воду с оглушительным всплеском. Как вы знаете, плавать я не умею и вообще дико боюсь воды. Сапоги и пальто тянули меня вниз, и я бы утонул, если бы Мерседес

меня не спасла. Можно было бы полагать, что такой романтический случай свяжет нас еще теснее, но вот...»

Септимус покачал головой, и в глазах его стояли слезы.

— Все вышло не так. Она была в ярости. «Ты, дубина! — визжала она. — Подумать только, прыгнуть в воду в пальто и в сапогах, да еще и не умея плавать! Ты вообще соображаешь, что делаешь? Ты можешь понять, каково такую дубину вытаскивать из озера? А ты еще настолько одурел, что схватил меня за челюсть и чуть не послал в нокаут, и мы *оба* чуть не утонули. До сих пор болит». Она собралась и уехала в диком бешенстве, а я остался и почти сразу схватил отвратительнейшую простуду, из которой до сих пор не выберусь. С тех пор я ее не видел, на мои письма она не отвечает и к телефону не подходит. Моя жизнь кончена, Джордж.

Я спросил:

— Септимус, просто из любопытства: зачем вы бросились в воду? Почему вы не попытались зайти на лед как можно дальше и протянуть ей жердь подлиннее или веревку, если бы вы смогли ее найти?

Септимус с горестным видом сказал:

— Я не собирался бросаться в воду. Я хотел проскользнуть по поверхности.

— По поверхности? Разве не говорил я вам, что ваша антигравитация работает лишь на льду?

Во взгляде Септимуса появилось напряжение:

— Я так не думал. Вы сказали, что она работает только над H_2O . Значит, и над водой, так?

Он был прав. Термин « H_2O » я употребил для вящей научности — он больше подходил к образу гениального ученого. Я возразил:

— Я имел в виду твердую H_2O .

— Но вы же не сказали «твердую H_2O », — сказал он, медленно поднимаясь с места, и в его глазах я прочел, что сейчас меня разорвут на части.

Я не стал ожидать подтверждения этой гипотезы. С тех пор я его не видел.

И в его загородном парадизе тоже не бывал. Кажется, он теперь живет где-то на острове в южных морях —

в основном, как я подозреваю, потому, что не хочет вновь видеть лед или снег.

Как я и говорил: «Ее в судьбу свою впусти...», хотя если подумать, то это, кажется, сказал Гамлет перед тем, как вонзить кинжал в Офелию.

Джордж испустил нечто среднее между отрыжкой и пропитанным винными парами вздохом из глубины того, что он считает своей душой, и сказал:

— Однако они уже закрывают, и нам лучше бы тоже уйти. Вы заплатили по счету?

К несчастью, я заплатил.

— А не можете ли вы дать мне пятерку — добратся домой?

К еще большему несчастью, я мог.

ЛОГИКА ЕСТЬ ЛОГИКА

Есть робкие души, которые ни за что не посмеют критиковать еду, если не они за нее платят. Джордж не из таких. Он выражал мне свое недовольство, хотя и со всей деликатностью, на которую был способен — или которую я, по его мнению, заслуживал, что, конечно, не одно и то же.

— Ужин в целом, — говорил Джордж, — весьма ниже среднего. Котлеты недостаточно горячие, селедка недостаточно соленая, креветки недостаточно хрустящие, сыр недостаточно острый, яйца-кокок недостаточно наперчены...

Я перебил:

— Джордж, вы уже уплетаете третью тарелку. Еще один глоток — и избыточное давление в желудке вам сможет снять только хирург. Зачем вам есть такую гадость в таких количествах?

Джордж ответил с достоинством:

— Разве это похоже на меня — унижить хозяина отказом от его еды?

— Это не моя еда, а ресторанная.

— Именно хозяина этой мерзкой дыры и я имел в виду. Скажите, старина, почему бы вам не стать членом какого-нибудь хорошего клуба?

— Мне? Платить бешеные суммы за сомнительные выгоды?

— Я имею в виду *хороший* клуб, в котором вы могли бы вознаградить меня великолепной едой за согласие быть вашим гостем. Но нет, — добавил он вызывающе-презрительным тоном, — это бред сумасшедшего. Какой клуб захочет так себя компрометировать, что предоставит вам членство?

— Любой клуб, который допустит вас в качестве гостя, с удовольствием...

Но Джорджем уже овладели реминисценции.

— Я помню время, — сказал он, и глаза его блеснули, — когда я по крайней мере раз в месяц обедал в клубе с самым роскошным и изысканным буфетом, который когда-либо существовал со времен Лукулла.

— Полагаю, что вы шли как бесплатное приложение в качестве чьего-нибудь гостя.

— Не понимаю, почему это так вам кажется, но совершенно случайно вы угадали. Членом этого клуба и, что гораздо важнее, человеком, иногда меня туда приглашавшим, был Алистер Тобаго Крамп VI.

— Джордж, — спросил я, — опять очередная история, как вы с Азазелом ввергли какого-нибудь беднягу в пучину несчастья и отчаяния своей неудачной попыткой помощи?

— Не понимаю, что вы имеете в виду. Мы выполнили сокровенное желание его сердца из бескорыстия и абстрактной любви к человечеству — и моей более конкретной любви к буфету. Но давайте я расскажу все сначала.

Алистер Тобаго Крамп VI был членом клуба «Эдем» с самого рождения, поскольку его отец, Алистер Тобаго Крамп V, внес своего сына в списки сразу, как только удостоверился лично, что предварительный диагноз доктора относительно пола младенца соответствует истине. Алистер Тобаго Крамп V был, в свою очередь, точно так же внесен в списки своим отцом, и так далее до тех дней, когда Билла Крампа зашанхаили в пьяном виде в британский флот, и он, когда пришел в себя, обнаружил, что является членом экипажа одного из

кораблей, отбивших Нью-Амстердам у голландцев в тысяча шестьсот шестьдесят четвертом году.

«Эдем» — самый элитный клуб на всем североамериканском континенте. Он настолько закрытый, что о его существовании знают лишь его члены и несколько избранных гостей. Даже я не знаю, где он расположен, поскольку меня всегда возили туда с завязанными глазами и в карете с матовыми стеклами. Могу только сказать, что около самого клуба лошадиные копыта стучали по участку мощеной дороги.

В «Эдем» не могли быть приняты люди, у которых родословная с обеих сторон не восходила к колониальным временам. Но в расчет бралась не только родословная. Джордж Вашингтон был при тайном голосовании забаллотирован, поскольку был неопровержимо доказан факт его бунта против феодального сюзерена.

Аналогичные требования предъявлялись и к гостям, но меня, как вы понимаете, это не выводило из списка. Я же не иммигрант первого поколения из Герцеговины, или Добруджи, или тому подобного места. Моя родословная безупречна, ибо все мои предки обитали на территории этой нации, начиная с семнадцатого столетия, и с тех пор никто из них не впадал в грех бунта, нелояльности или антиамериканизма, поскольку и в войну за независимость, и в гражданскую войну одинаково радостно приветствовал марширующие мимо них армии обеих сторон.

Мой друг Алистер необычайно гордился членством в «Эдеме». Часто и регулярно (поскольку был классический зануда и то и дело повторялся) он мне говорил:

— Джордж, «Эдем» — это стеновой хребет моего бытия, смысл моего существования. Если бы у меня было все, что могут дать богатство и власть, но не было бы «Эдема» — я был бы ничим.

На самом деле у Алистера было все, что могут дать богатство и власть, потому что вторым условием членства в «Эдеме» было огромное богатство. Это диктовалось хотя бы размером ежегодного взноса. Но опять-таки одного богатства было мало. Оно должно было быть не заработано, а унаследовано. Любой намек на работу за плату напрочь исключал саму возможность членства. И меня удерживало вне клуба лишь то, что мой папаша

забыл оставить мне пару десятков миллионов долларов, поскольку я никогда не запятнал себя таким позором, как...

Что значит ваше «я знаю»? Вы никак об этом знать не можете. Конечно, никаких возражений не вызывало умножение членом клуба своих богатств путем получения любой прибыли, не связанной с работой за плату. Всегда существуют такие вещи, как спекуляция акциями, уклонение от налогов, лоббирование и другие разумные изобретения, которые для богатого являются второй натурой.

Все это членами «Эдема» воспринималось весьма всерьез. Известны случаи, когда потерявшие в припадке честности свое состояние эдемиты предпочитали медленную смерть от голода работе за деньги и потере членства. Их имена до сих пор произносят, понижая голос, а мемориальные доски в их честь украшают парадный зал клуба.

Нет, старина, занять денег у других членов клуба они не могли. Такое предположение очень характерно для вас. Каждый член «Эдема» знает, что никто не будет занимать у богатого, если существуют толпы бедных, только и жаждущих, чтобы кто-нибудь их облапошил. Библия учит нас: «Да пребудут бедные ваши с вами всегда», а для членов «Эдема» превыше всего — набожность.

И все же Алистер не был вполне счастлив, ибо члены «Эдема», к сожалению, его очевидным образом избегали. Я вам говорил уже, что он был занудой. У него никогда не было ни умения вести разговор, ни блеска ума, ни свежего мнения. Даже в среде членов клуба, остроумие и оригинальность которых соответствовали уровню четвертого класса начальной школы, он выглядел на редкость уныло.

Можете себе вообразить его огорчение, когда ему приходилось вечер за вечером одиноко просиживать в «Эдеме» среди толпы. Океан разговоров, какими бы жалкими они ни были, омывал его с головы до ног, а он оставался сух. И все же он никогда не пропустил ни одного вечера в клубе. Он даже велел приносить себя туда во время тяжелой дизентерии в надежде утвердиться в качестве «Железного Крампа». Члены клуба

издали восхищались, но благодарности почему-то не выражали.

Иногда я оказывал ему честь принять его приглашение в «Эдем». Родословная у меня безупречна, аристократический сертификат не-работника достоин восхищения всей общественности, а в награду за непревзойденно тонкие блюда за его счет и изысканнейшую обстановку я должен был с ним разговаривать и смеяться его скуловоротным шуткам. Мне было жаль бедного парня от всей глубины моего чувствительного сердца.

Следовало найти какой-то способ сделать его душой общества, средоточием жизни «Эдема», человеком, за обществом которого гонялись бы даже члены клуба. Мне рисовались пожилые и респектабельные эдемиты, отпихивающие друг друга локтями и кулаками ради возможности сесть к нему поближе за ужином.

В конце концов, Алистер ведь был воплощенная респектабельность, каким и должен быть эдемит. Он был высокий, он был худой, имел лицо, похожее на морду породистой лошади, жидкие блондинистые волосы по бокам головы, бледно-голубые глаза и общий унылый вид формально-консервативной ортодоксальности, присущей человеку, чьи предки настолько высоко себя ставили, что даже браки заключали только внутри своего клана. Единственное, чего ему не хватало, — это умения сказать или сделать что бы то ни было, достойное малейшего интереса.

Впервые Азazel не докучал мне жалобами на то, что я вызвал его из его таинственного мира. Он там был на каком-то обеде в складчину, и сегодня как раз была его очередь платить, а я его выдернул за пять минут до подачи счета. Он хохотал, заливаясь, мерзким фальцетом — как вы помните, он ростом всего два сантиметра.

— Я через пятнадцать минут вернусь, — хихикал он, — а за это время кто-то уже успеет оплатить счет.

— А как ты объяснишь свое отсутствие? — спросил я.

Он вытянулся во весь свой микроскопический рост и закрутил хвост штопором.

— Я скажу правду: меня вызвал для совета экстрагалактический монстр экстраординарной глупости, которому до зарезу понадобилась моя интеллектуальная мощь. Что тебе надо на этот раз?

Я ему объяснил, и, к моему изумлению, он разразился слезами. По крайней мере, у него из глаз брызнули две тоненькие красные струйки. Я полагаю, что это были слезы. Одна попала мне в рот, и вкус она имела безобразный — как дешевое красное вино, точнее, она напомнила бы мне вкус дешевого красного вина, если бы я когда-нибудь опускался до того, чтобы знать этот вкус.

— До чего грустно, — всхлипнул он. — Я тоже знаю случай, когда достойнейшее существо подвергается снобистскому пренебрежению тех, кто гораздо ниже его. Не знаю большей трагедии, чем эта.

— Кто бы это мог быть? Я хочу спросить, кто это существо?

— Я, — сказал он, тыча себя пальцем в грудь.

— Не могу себе вообразить, — сказал я. — Неужели ты?

— И я не могу вообразить, — сказал он, — но это правда. Ладно, что может делать этот твой друг такого, за что мы могли бы зацепиться?

— Вообще-то он иногда рассказывает анекдоты. По крайней мере, пытается. Это ужасно. Он начинает рассказывать, путается, сбивается, возвращается и в конце концов забывает, что хотел сказать. Я часто видел, как от его анекдотов плакали навзрыд суровые мужчины.

— Плохо, — покачал головой Азazel. — Очень плохо. Дело в том, что я сам великолепный мастер анекдота. Не помню, рассказывал ли я тебе, как однажды плоскосты и денниграмы схлестнулись в андесантории, и один из них сказал...

— Рассказывал, — соврал я, не моргнув глазом. — Но давай вернемся к делу Крампа.

Азazel спросил:

— Нет ли какого-нибудь простенького способа улучшить его выступления?

— Разумеется — дать ему умение гладко говорить.

— Это само собой, — ответил Азazel. — Простая дивалинация голосовых связок — если у вас, варваров, есть что-нибудь подобное.

— Найдем. И еще, конечно, умение говорить с акцентом.

— С акцентом?

— На искаженном языке. Иностранцы, которые учат язык не в младенчестве, а позже, непременно искажают гласные, путают порядок слов, нарушают грамматику и так далее.

На крохотной мордочке Азazела отразился неподдельный ужас.

— Это же смертельное оскорбление!

— Не в этом мире. Так должно быть, но на самом деле не так.

Азazel грустно покачал головой и спросил:

— А этот твой друг когда-нибудь слышал непотребности, которые ты называешь акцентом?

— Непременно. Всякий, кто живет в Нью-Йорке, все время слышит акценты всех видов и сортов. Здесь вряд ли услышишь правильный английский язык, такой, как у меня, например.

— Ага, — сказал Азazel. — Тогда остается только отскапулировать ему память.

— Чего ему память?

— Отскапулировать. Обострить в некотором смысле. Восходит к слову «скапос», что означает «зуб зумо-едного диригина».

— И он сможет рассказывать анекдоты с акцентом?

— Только с таким, который раньше слышал. В конце концов, моя мощь не безгранична.

— Тогда скапулируй его.

Через неделю я встретил Алистера Тобаго Крампа VI на перекрестке Пятой авеню и Пятьдесят третьей улицы, но тщетно высматривал на его лице следы недавнего триумфа.

— Алистер, — спросил я его, — есть новые анекдоты?

— Джордж, — ответил он. — Никто не хочет слушать. Иногда мне кажется, что я рассказываю анекдоты не лучше всякого другого.

— Ах, вот как? Тогда сделаем так. Мы с вами пойдем сейчас в одно маленькое заведение, где меня знают. Я вас представляю как юмориста, а вы потом встанете и скажете все, что захотите.

Могу вас уверить, друг мой, уговорить его было трудно. Мне пришлось использовать все свое личное обаяние в полную силу, но в конце концов я победил.

Мы с ним пошли в довольно дешевую забегаловку, которую я случайно знал. Для ее описания достаточно будет упомянуть, что она очень похожа на те, куда вы меня приглашаете обедать.

Управляющий в этой забегаловке был мне знаком, и благодаря этому удачному обстоятельству мне удалось добиться его разрешения на эксперимент.

В одиннадцать вечера, когда пьяное веселье было в самом разгаре, я поднялся на ноги, и аудитория была сражена моим величественным видом. Она состояла всего из одиннадцати человек, но мне казалось, что для первого раза этого достаточно.

— Леди и джентльмены, — объявил я им, — среди нас присутствует джентльмен величайшего интеллекта, мастер нашего языка, которого я с удовольствием вам сейчас представляю. Алистер Тобаго Крамп VI, профессор кафедры английского языка в колледже Колумбии, автор книги «Как говорить по-английски безупречно». Профессор Крамп, не будете ли вы столь любезны сказать несколько слов собранию?

Крамп с несколько сконфуженным видом встал и произнес: «А шо, ви таки да хотите мене послуу-ушать?»

Я слыхивал, друг мой, ваши анекдоты, рассказанные с потугой на то, что вы считаете еврейским акцентом, но уверяю вас: по сравнению с Крампом вы сошли бы за выпускника Гарварда. Соль была в том, что Крамп и в самом деле выглядел так, как должен по понятиям публики выглядеть профессор кафедры английского языка. И от сочетания этой грустной породистой физиономии с внезапной фразой на чистейшем «идинглише»

вся публика разом застыла. А потом был взрыв и раскаты истерического хохота.

На лице Крампа выразилось легкое изумление. Обращаясь ко мне, он с удивительным шведским распевом, который я даже не пытаюсь воспроизвести, сказал:

— Обычно я не бываю получать реакцию такую силу.

— Не обращайтесь внимания, — сказал я ему. — Продолжайте.

Но пришлось чуть-чуть подождать, пока схлынет волна смеха, и тут он начал рассказывать анекдоты с ирландским кваканьем, с шотландским скрежетом, на лондонском кокни, с акцентом среднеевропейца, испанца, грека. Особенно ему удавался чистый бруклинский язык — ваш почти родной благородный язык, старина, как я понимаю.

После этого выступления я давал ему каждый вечер провести несколько часов в «Эдеме», а потом тащил в забегаловку. Слух о нем шел из уст в уста. В первый вечер в зале было свободно, зато потом целые орды кишели на улицах, стараясь проникнуть внутрь — но тщетно.

Крамп воспринимал это все спокойно. На самом деле он даже выглядел расстроенным.

— Послушайте, — говорил он мне, — какой смысл мне растрчивать ценный материал на этих обыкновенных олухов. Я хотел бы испытать свое искусство на своих товарищах по «Эдему». Они раньше не стали бы слушать моих анекдотов, потому что мне в голову не приходило использовать акценты. На самом деле я просто не понимал, что я это могу — какое-то неправдоподобное снижение самооценки, в которое впал такой веселый и остроумный человек, как я. Наверное, потому, что я не нахал и не проталкиваюсь вперед...

Он говорил на прекрасном бруклинском, который на мои деликатные уши действует неприятно — я не хочу вас обидеть, друг мой, — и поэтому я поспешил его заверить, что я все устрою.

Управляющему заведению я рассказал о богатстве членов «Эдема», ни слова не говоря об их фантастической скаредности, не уступающей их богатству. Управляющий, несколько остоленев, разослал им контра-

марки, чтобы заманить к себе. Это было сделано по моему совету, поскольку я знал, что ни один эдемит не в силах устоять против бесплатного приглашения на спектакль, тем более что я исподволь распустил слух, будто там покажут фильмы только для мужчин.

Члены клубы прибыли в полном составе, и Крамп вырос просто на глазах. Он заявил:

— Теперь они мои. У меня есть такой корейский выговор, что они просто лягут.

У него еще было такое южное растягивание гласных и такой носовой акцент штата Мэн, что, не услышав, не поверишь.

Несколько первых минут члены «Эдема» сидели в каменном молчании, и я даже испугался, что юмор Крампа до них не доходит, но это они просто окаменели от изумления, а как только чуть оправились, начали просто ржать.

Тряслись жирные пуза, спадали с носов пенсне, ветер поднимался от бакенбардов. Отвратительные звуки всех оттенков и диапазонов — от хихикающих фальцетов одних и до басового блеяния других, оскорбляющие само понятие «смех», оскорбляли его всю.

Крамп выступал в своей обычной манере, и хозяин заведения, ощущая себя на верной дороге к неисчислимому богатству, в перерыве подбежал к Крампу и произнес:

— Слушайте, дружище, знаю, что вы лишь просили меня дать вам возможность показать свое искусство и что вы намного выше той грязи, что люди зовут деньгами, но так больше продолжаться не может. Считайте меня сумасшедшим, дружище, но вот ваш чек. Вы это заработали, каждый цент, так что берите и ни в чем себе не отказывайте.

И тут, с щедростью истинного антрепренера, ожидающего миллионные прибыли, он сунул Крампу чек на двадцать пять долларов.

Это, как я понимал, было началом. Крамп добился славы и удовлетворения, стал кумиром завсегдатаев ночного клуба, предметом обожания зрителей. Деньги лились на него потоком, но он, будучи благодаря своим обиравшим сирот предкам богат, как не снилось Крезу, в деньгах не нуждался и передавал их своему бизнес-

менеджеру — мне, короче говоря. За год я стал миллионером, и вот чего стоит ваша идиотская теория, что мы с Азазелом приносим только несчастье.

Я сардонически взглянул на Джорджа:

— Поскольку до миллионера вам не хватает только нескольких миллионов долларов, я полагаю, Джордж, вы собираетесь сейчас сказать мне, что это был всего лишь сон.

— Ничего подобного, — с достоинством ответил Джордж. — История абсолютно истинна, как и любое произнесенное мною слово. Окончание же, обрисованное мной сейчас, было бы абсолютно верным, кабы Алистер Тобаго Крамп не был бы дураком.

— А он был?

— Несомненно. Судите сами. Обуянный гордыней из-за того чека в двадцать пять долларов, он вставил этот чек в рамку, принес в «Эдем» и всем показывал. Что оставалось делать членам клуба? Он заработал деньги. Он получил деньги за труд. Они обязаны были его исключить. А исключение из клуба так на него подействовало, что с ним случился сердечный приступ, оказавшийся роковым. Разве это моя вина или вина Азазела?

— Но ведь если он вставил чек в рамку, значит, денег он не получил?

Джордж величественным жестом магистра поднял правую руку, левой в то же самое время перебрасывая счет за ужин в мою сторону.

— Здесь дело в принципе. Я вам говорил, что эдемиты очень набожны. Когда Адама изгнали из Эдема, Господь велел ему трудиться, чтобы жить. Мне кажется, дословно было сказано: «В поте лица своего будешь есть хлеб свой». Отсюда следует и обратное: каждый, кто трудом зарабатывает себе на хлеб, должен быть изгнан из «Эдема». Логика есть логика.

КТО БЫСТРЕЕ СВОЙ ПУТЬ ПРОЙДЕТ

Как раз тогда я только что вернулся из Вильямсбурга в Каролине, и мое чувство облегчения от возможности вернуться к любимой пишущей машинке и текстовому процессору смешивалось с остатками легкого возмущения от того, что, вообще пришлось туда ехать.

Джордж не рассматривал тот факт, что он только что прошелся как завоеватель по меню шикарного ресторана за счет моих потом заработанных денег, как достаточную причину для выражения мне сочувствия.

Выковыривая застрявшее меж зубов волокно бифштекса, Джордж произнес:

— На самом деле я не понимаю, старина, что вы находите неправильного в том, что организация, во всех остальных отношениях вполне респектабельная, согласна без видимого принуждения платить вам несколько тысяч долларов за часовое выступление. Мне случалось вас время от времени слушать, и я полагаю, что вам гораздо лучше было бы говорить совершенно бесплатно и не соглашаться прекратить, пока вам не заплатят этих тысяч. Это наверняка был бы более верный способ выжимать деньги из аудитории. Я отнюдь не хочу оскор-

блять ваши чувства, буде у вас таковые вдруг обнаружатся.

Я спросил:

— А где и когда вы, интересно, слышали мои выступления? В ваши монологи мне никогда не удавалось вставить и двух десятков слов подряд. (Я, разумеется, постарался уложить это замечание в двадцать слов.) Джордж не обратил на это внимания, как я и предполагал.

— Здесь как раз ваша душа и поворачивается весьма несимпатичной стороной, — продолжал он, — ибо в своей неумной тяге к тому мусору, что зовется «деньги», вы так легко и часто подвергаете себя неприятностям путешествия, которые вы, по вашим же словам, не выносите. Это немножко напоминает мне историю Софокла Московитца, который также не выносил даже мысли о том, чтобы встать с кресла, кроме тех случаев, когда видел возможность увеличить свой и без того пухлый банковский счет. Он тоже выбрал для обозначения своей лени эвфемизм «нелюбовь к путешествиям». Чтобы его излечить, потребовалось обращение к моему другу Азазелу.

— Вы только на меня не напускайте это свое двухсантиметровое несчастье, — встревожился я — встревожился так правдоподобно, как если бы я и в самом деле верил в это порождение больной фантазии Джорджа.

Он снова не обратил на меня внимания.

Это был один из первых случаев (говорил Джордж), когда я обратился за помощью к Азазелу. Было это почти тридцать лет тому назад. Я только-только научился вызывать этого чертенка из его пространства и еще не очень разбирался в его возможностях.

Он, конечно, ими хвастался, но какое живое существо, кроме меня, не переоценивает свои силы и возможности?

В те времена я был более чем знаком с одной прекрасной юной дамой по имени Фифи, решившей за год до того, что лично Софокл Московитц не очень

отличается от идеального образа богатого мужа, припасенного для нее судьбой.

Даже после их свадьбы мы сохранили наши не афишируемые, хотя почему-то вполне добродетельные отношения. Несмотря на эту добродетельность, я всегда был рад ее видеть, и вы сможете это понять, если я вам скажу, что превзойти ее фигуру было просто невозможно. Ее присутствие вызывало у меня приятнейшие воспоминания о тех милых нескромностях, которые мы с ней когда-то практиковали.

— Бобошка, — сказал я ей однажды, поскольку никак не мог отвыкнуть от ее сценического имени, данного ей публикой, с глубоким вниманием наблюдавшей за ее раздеванием, — Бобошка, ты прекрасно выглядишь. — Это я сказал без колебаний, поскольку в те времена я тоже выглядел ничего себе.

— Че, правда? — сказала она с той неистребимой манерой, что всегда напоминает улицы Нью-Йорка с их медным великолепием. — А чувствую я себя хреновато.

Я сперва не мог этому поверить, потому что с тех пор как она выросла, я полагаю, кто бы ее ни чувствовал, не мог не чувствовать хорошо. Тем не менее я спросил:

— А в чем дело, дорогая моя пружинка?

— В Софокле, в этом жирном клопе.

— Бобошка, не мог же тебе надоесть твой муж. Столь богатый человек просто не может быть утомительным.

— Много ты понимаешь! Жулик! Помнишь, ты мне говорил, что он богат, как тот мужик по фамилии Крез, про которого я не слыхала? Так чего ж ты мне не сказал, что этот парень Крез должен был быть чемпионом скряг?

— Софокл — скряга?

— Фантастический! Можешь поверить? Какой смысл выходить за богача, если он скряга?

— Бобошка, но ты же наверняка могла бы выдоить из него немножко денег манящими обещаниями ночного элизиума.

Фифи наморщила лобик:

— Не понимаю, что ты говоришь, но я тебя знаю, так что перестань говорить гадости. А кроме того, я ему

обещала, что он *этого* не получит — ну, того, о чем ты говоришь, — если не развяжет кошелек, но он предпочитает обнимать свой бумажник, а не меня, и это, если подумать, оскорбительно. — Бедняжка слегка всхлинула.

Я потрепал ее по ручке настолько не по-братски, насколько позволяли обстоятельства.

Она взорвалась:

— Когда я выходила за этого дубаря, я себе думала: «Ну, Фифи, теперь, наконец, попадешь в Париж, и на Ривейру, и на Канальские острова, и в Капабланку, и всякое такое». Ха! Хрен тебе.

— Не говори мне только, что этот сукин сын не возил тебя в Париж.

— Он не ездит *никуда*. Он говорит, что ему и на Манхэттене хорошо. Говорит, ему нигде не нравится. Говорит, что не любит растения, животных, деревья, траву, грязь, иностранцев и никаких зданий, кроме нью-йоркских. Я ему говорю: «А как насчет заграничных магазинов?» — так он говорит, ему они тоже не нравятся.

— А если поехать без него, Бобошка?

— Это ты прав, это было бы веселее. Только с чем ехать? Этот хмырь держит карманы на замке, а все кредитные карточки там. Мне приходится покупать у Мэйси. — Ее голос поднялся почти до визга: — Не для того я выходила замуж за этого шута горохового, чтобы у Мэйси покупать!

Я окинул взглядом различные участки этой дамы и пожалел, что мои финансы не дают возможности позволить себе такую роскошь. До замужества она иногда допускала занятия искусством для искусства, но я чувствовал, что теперешнее положение благородной замужней дамы заставит ее тверже соблюдать профессиональный кодекс в подобных вопросах. Вы должны понять, что в те дни я был в лучшей форме, чем даже сейчас, в зрелые годы жизни, но и тогда, как сейчас, был незнаком с презренным металлом мира сего.

Я спросил:

— А что, если я его уговорю полюбить путешествия?

— О Боже, если бы кто-нибудь смог!

— Допустим, я смогу. Могу я тогда рассчитывать на благодарность?

Она на меня взглянула, вспоминая.

— Джордж, — сказала она, — в тот день, когда он мне скажет, что мы едем в Париж, мы с тобой едем в номера Осбюри-парка. Помнишь?

Помнил ли я этот прибрежный кемпинг в Нью-Джерси? Мог ли я забыть эту сладостную боль в мышцах потом? Да у меня во всем теле (почти) не проходило окаменение еще и два дня спустя.

Мы с Азазелом обсудили этот вопрос за пивом (мне — кружка, ему — капля). Он считал, что оно приятно стимулирует. Я осторожно сказал:

— Азазел, а твоя магическая сила — она годится на то, чтобы сделать что-нибудь для моего удовольствия?

Он на меня глянул с пьяной добротой:

— Да ты мне только скажи, чего ты хочешь. Скажи мне, чего ты хочешь. И я тебе покажу, правда ли у меня «руки пучком растут». Всем покажу!

Когда-то он, поднабравшись политуры, настоящей на лимонных корочках (по его словам, экстракт из лимонных корок расширяет возможности разума), признался мне, что однажды получил такое оскорбление в своем мире.

Я капнул ему еще капельку пива и небрежно сказал:

— Есть у меня один друг, который не любит путешествовать. Я думаю, что для твоего искусства нет ничего трудного в том, чтобы изменить его неприязнь на горячую тягу к путешествиям.

Должен заметить, что удали в его голосе резко поубавилось.

— Я имел в виду, — сказал он своим писклявым голосом со странным акцентом, — что ты попросишь чего-нибудь разумного — например, выпрямить эту уродливую картину на стене чистым усилием воли.

Пока он говорил, картина сама по себе задвигалась и перекосилась на другую сторону.

— А зачем это надо? — спросил я. Мне столько пришлось потратить сил, чтобы повесить мои картины с правильными отклонениями от этой казарменной пря-

молинейности. — Мне надо, чтобы ты создал дромоманию у Софокла Московитца, такую, которая заставит его путешествовать, и при необходимости — даже без жены.

Последнее я добавил, сообразив, что присутствие Фифи в городе без Московитца создает дополнительные удобства.

— Это не просто, — сказал Азazel. — Укоренившаяся нелюбовь к путешествиям может зависеть от каких-то пережитых в детстве событий. Для коррекции таких случаев приходится использовать самые тонкие методы мозговой инженерии. Я не говорю, что это невозможно, поскольку грубый разум твоей расы не так-то легко повредить, но надо, чтобы этого человека мне показали. Я должен идентифицировать его разум и изучить.

Это было просто. Я попросил Фифи пригласить меня на обед и представить как одноклассника по колледжу. (Несколько лет назад она провела какое-то время в кампусе одного колледжа, но вряд ли ходила на занятия — она очень тяготела именно к внеклассной работе.)

Азazelа я принес с собой в кармане пиджака, и мне было слышно, как он там бормочет себе под нос что-то математическое. Я предположил, что он анализирует разум Софокла Московитца, и если так, то по моей блестящей догадке, для проверки которой хватило недолгого разговора, не так уж там много было разума, чтобы так долго анализировать.

Дома я его спросил:

— Ну и как?

Он небрежно махнул крохотной ручкой и сказал:

— Это я могу. У тебя здесь есть под рукой мультифазный ментодинамический синаптометр?

— Не под рукой, — ответил я. — Свой я вчера одолжил приятелю для поездки в Австралию.

— Ну и глупо сделал, — буркнул Азazel. — Теперь мне придется все считать по таблицам.

Он так и продолжал злиться, даже когда закончил работу.

— Было почти невозможно, — проворчал он. — Только тому, кто, как я, обладает непревзойденной

магической силой, это было по плечу, и то мне пришлось закреплять его отрегулированный разум здоровенными шипами.

Я понял, что он говорит в переносном смысле, и так и сказал. На что Азazel ответил:

— Нет, это так и есть. Никто никогда не сможет ничего в этом разуме изменить. У него появится такая жажда странствий, что он для ее утоления готов будет перевернуть вселенную. Теперь они увидят, эти...

Он разразился длинной тирадой, состоящей из каких-то слов его родного языка. Я, конечно, не понял, что он говорил, но, судя по тому, что в соседней комнате в холодильнике растаяли кубики льда, это были не комплименты. Подозреваю, что это были некоторые заявления в адрес тех, кто упрекал его в нестандартном расположении рук.

Не прошло и трех дней, как мне позвонила Фифи. По телефону она не производит особенного впечатления по причинам, вполне очевидным для всякого, хотя, возможно, не для вас с вашей врожденной способностью не понимать вообще никаких тонкостей. Видите ли, некоторая резкость ее голоса становится заметнее, когда не видно уравнивающих эту резкость мягких мест.

— Джордж, — визгливо закудаhtала Фифи, — ты волшебник. Я не знаю, что ты там придумал за обедом, но это помогло. Софокл берет меня с собой в Париж. Это его идея, и он страшно загорелся. Здорово, правда?

— Более чем здорово, — отозвался я с неподдельным энтузиазмом. — Это потрясающе. Теперь мы можем выполнить то маленькое обещание, которое дали друг другу. Поедем в Осбюри-парк и устроим землетрясение.

Женщинам, как можно иногда заметить, недостает понимания, что уговор — дело святое. Они в этом очень отличаются от мужчин. У них нет ни понятия о необходимости держать слово, ни чувства чести.

Она сказала:

— Джордж, мы уезжаем завтра, и у меня просто нет времени. Я тебе позвоню, когда вернусь.

И она повесила трубку. У нее было двадцать четыре часа, а мне с запасом хватило бы половины, но увы.

И она в самом деле позвонила мне, когда вернулась, но это было через полгода.

Она позвонила, но я не узнал голоса. В нем было что-то постаревшее, что-то усталое.

— С кем я говорю? — спросил я с моим обычным достоинством.

Она устало назвалась:

— Говорит Фифи Лаверния Московитц.

— Бобошка! — завопил я. — Ты вернулась! Это чудесно! Бросай все и езжай прямо...

— Джордж, — отозвалась она, — перестань. Если это твое волшебство, то ты самый мерзкий болтун, и я с тобой ни в какой Осбюри-парк не поеду, хоть ты об стенку головой бейся.

Я удивился:

— Разве Софокл не взял тебя в Париж?

— Взял, взял. Ты меня спроси, что я там купила.

Я спросил:

— Так как тебе парижские магазины?

— Это смешно! Я даже начать не успела. Софокл не останавливался!

Усталость исчезла из ее голоса под напором эмоций, и она сорвалась на визг:

— Мы приехали в Париж и сразу пошли по городу. Он что-нибудь показывал и тут же бежал дальше. «Вот это — Эйфелева башня, — тыкал он пальцем в направлении какого-то глупого нагромождения стали. — А это — Нотр Дам». Он даже не знал, о чем говорит. Однажды меня два футболиста протащили в Нотр Дам, и это ни в каком не в Париже. Это в Саутбенде, в Индиане. Но кому какое дело? Мы поехали дальше, во Франкфурт, Берн и Вену, которую эти глупые иностранцы зовут Вин. И еще — есть такое место, которое называется «Трест»?

— Есть, — сказал я. — Триест.

— И там мы тоже были. И никогда не останавливались в отелях, а только на каких-то фермах. Софокл говорил, что именно так и надо путешествовать. Что он хочет видеть людей и природу. Да кому это надо — видеть людей и природу? Лучше бы мы увидели хотя бы душ. И водопровод. Тут просто начинаешь пахнуть. И в волосах завелись — насекомые. Я вот сейчас уже пятый раз моюсь под душем, и все никак не отмоюсь.

— Вымойся еще пять раз у меня, — внес я самое разумное предложение, — и устроим здесь Осбюри-парк.

Она, похоже, не слышала. Забавно, насколько может женщина не слышать самых простых доводов. Она сказала:

— На следующей неделе он начинает снова. Он сказал, что хочет пересечь Тихий океан и поехать в Гонконг. И едет на танкере. Это, говорит, лучший способ увидеть океан. Я ему сказала: «Слушай, ты, псих ползучий, если ты думаешь взять меня с собой на этом плавучем катафалке в Китай, то плави, дикий гусь, один».

— Как поэтично, — заметил я.

— И ты знаешь, что он сказал? Он сказал: «Отлично, моя милая. Поеду без тебя». А дальше вообще был какой-то бред. Он заявил: «От заоблачных Трона высот до мрачных Геенны глубин тот быстрее свой путь пройдет, кто идет по нему один». Что это значит? Где это — Гиена? И как туда попал трон? Он что, думает, что он — королева Англии?

— Это из Киплинга, — сказал я.

— Не сходи с ума. Причем тут Киплинг? Я там не была, а он тем более. Я ему сказала, что подам на развод и оберу его до нитки. А он и говорит: «Делай как хочешь, недоразвитая, но оснований у тебя нет, и ты ничего не получишь. А мне важнее всего дорога». Как тебе понравится? Особенно вот это — «недоразвитая». Все еще заигрывает, паразит.

Видите ли, старина, это была одна из первых работ, что Азazel для меня делал, и он еще не научился как следует управлять своими действиями. А к тому же я его просил, чтобы Софокл иногда путешествовал без

жены. Тем не менее у этой ситуации были свои преимущества, которые я предвидел с самого начала.

— Бобошка, — сказал я, — давай поговорим насчет твоего развода между Осбюри...

— А что до тебя, раздолбай несчастный, так что ты там напустил, какую магию, мне плевать, только держись от меня подальше, а то я скажу одному парню, который из тебя котлет наделает, стоит мне попросить, и ты от него даже в Киплинге не скроешься, понял?

Страстная женщина была Бобошка, хотя ее страсть проявилась не так, как мне хотелось бы.

Я позвал Азазела, но он, как ни старался, ничего поделать с тем, что уже было сделано, не смог. А попробовать сделать что-нибудь с Бобошкой, чтобы она более разумно на все это смотрела, он просто отказался. Это, он сказал, никому не под силу. Я не знаю почему.

Он, правда, помог мне проследить за Софоклом. Мания этого человека росла. Он преодолел на руках Панамский перешеек. Поднялся вверх по Нилу до озера Виктория на водных лыжах. Пересек Антарктиду в экипаже на воздушной подушке.

Когда президент Кеннеди объявил в шестьдесят первом году, что мы достигнем Луны еще до конца десятилетия, Азазел сказал:

— Моя работа действует.

Я спросил:

— Ты считаешь, что то, что ты проделал с его мозгом, дало ему возможность повлиять на решение президента и на космическую программу?

— Неосознанно, — ответил Азазел. — Я ведь тебе говорил, что изменения были достаточно сильны, чтоб потрясти Вселенную.

И в конце концов, старина, он попал на Луну. Помните «Аполлон-13», который предположительно потерпел аварию в космосе, и экипаж еле-еле добрался до Земли?

На самом деле на нем удрал Софокл и прихватил часть корабля на Луну, предоставив настоящему экипажу добираться до Земли на оставшемся как сумеют.

С тех пор он на Луне, бродит по ее поверхности. У него там нет ни воздуха, ни воды, ни еды, но нацеленность на путешествие, которую он получил, как-то это компенсирует. Может быть, сейчас где-то кем-то ведется работа, которая даст ему возможность рвануть на Марс или дальше.

Джордж с грустью покачал головой:

— Это насмешка. Просто насмешка судьбы.

— Какая насмешка? — спросил я.

— А вы не понимаете? Бедняга Софокл Московитц! Он ведь просто новый и улучшенный вариант Вечного Жида, а вся ирония судьбы в том, что он даже не правоверный еврей.

Джордж поднял левую руку утереть глаза, а правой потянулся за салфеткой. При этом он как-то случайно прихватил десятидолларовую бумажку, которую я положил на край стола как чаевые для официанта. Салфеткой он протер глаза, а бумажка — что с ней случилось, я не углядел. Джордж вышел, всхлипывая, а стол был пуст.

Я вздохнул и достал другую бумажку в десять долларов.

ГЛАЗ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Мы с Джорджем сидели на бульварной скамейке, глядя на широкий пляж и сверкающее вдали море. Я предавался невинному удовольствию разглядывания молодых дам в бикини и праздным мыслям о том, чем таким могла бы вознаградить их жизнь, что было бы хоть вполтину достойно той красоты, которую они ей придают.

Зная Джорджа уже не первый день, я не без оснований подозревал, что его мысли не ограничивались столь благородными этическими рассматриваниями. Я был уверен, что они относятся к гораздо более утилитарным аспектам существования юных дам.

Поэтому я с удивлением отреагировал на первые произнесенные им слова:

— Смотрите, старина, мы здесь сидим и упиваемся божественными красотами природы, принявшими вид прекрасных юных жен, — хорошая, кстати, получилась фраза, — а в то же время истинная красота не очевидна, да и не может ею быть. Истинная красота настолько драгоценна, что должна быть скрыта от глаз ординарного наблюдателя. Вам это не приходило на ум?

— Нет, — ответил я. — Я никогда так не думал, а теперь, когда вы это сказали, тем более не думаю. Более того, я считаю, что и вы так не думаете.

Джордж вздохнул:

— Разговор с вами, милый друг, напоминает плавание в патоке — малый результат ценой больших усилий. Я видел, как вы смотрели на эту высокую богиню, чьи два клочка текстиля только подчеркивали смысл тех нескольких квадратных дюймов, кои им положено скрывать. Но ведь вы не можете не понимать, что она выставляет лишь сугубо внешние атрибуты красоты.

— Я никогда не просил от жизни многого, — сказал я. — Сугубо внешние атрибуты такого рода меня вполне устраивают.

— Но вы подумайте, насколько красивее была бы любая молодая женщина, даже для глаз человека некомпетентного, как вы, обладай она вечными достоинствами доброты, любви к ближнему, жизнерадостности, неунывающего оптимизма — короче, всеми добродетелями, украшающими женщину, подобно золоту и миру.

— А я думаю, Джордж, что вы пьяны. Что, ради всего святого, можете вы знать об этих или вообще о каких бы то ни было добродетелях?

— Я их знаю досконально, — внушительно ответил Джордж, — ибо совершенствуюсь в них усердно и во многом преуспел.

— Наверняка, — согласился я, — только в своей комнате и в полной темноте.

Игнорируя ваше грубое замечание (продолжал Джордж), я тем не менее считаю долгом объяснить, что, если бы даже я лично не имел таких добродетелей, я бы узнал о них из-за знакомства с молодой женщиной по имени Мелисанда Отт, урожденной Мелисандой Ренн, которая своему любящему мужу была известна как Мэгги. Я ее тоже знал под этим именем, потому что она была дочерью моего друга, ныне, увы, покойного, и всегда называла меня «дядя Джордж».

Должен сознаться, что во мне, как и в вас, есть некоторое пристрастие к тому, что вы назвали «сугубо

внешними атрибутами»... Я знаю, что я первый сказал эти слова, но мы ни к чему не придем, если вы будете постоянно перебивать меня из-за каждой мелочи.

В силу этой моей маленькой слабости я должен также признать, что, когда она, увидав меня, бросалась мне на шею с радостным визгом, испытываемое мною удовольствие от такого события было бы несколько больше, если бы она была сложена более пропорционально. Она была очень худа, и выступающие кости преобладающе кололись. Большой нос, слабо выраженный подбородок, волосы жидкие и прямые, мышиного цвета, а глаза — какие-то неопределенно серо-зеленые. Со своими широкими скулами она больше всего напоминала шимпанзе, который только что напихал за щеки приличный запас орехов. Короче, она не принадлежала к тем молодым женщинам, от одного появления которых молодые люди начинают учащенно дышать и стараются пододвинуться поближе.

Но у нее было доброе сердце. Она легко, с улыбкой, переносила, когда какой-нибудь впервые представленный ей без предупреждения молодой человек отшатывался и бледнел. С той же грустной улыбкой она перебывала подружкой на свадьбе у всех своих подруг. Многим детям она была крестной, еще большему числу — нянькой, а уж в искусстве кормить из бутылочки она могла бы заткнуть за пояс любую профессиональную сестру.

Она носила суп достойным беднякам и недостойным тоже, хотя многие говорили, что недостойные достойны этого гораздо больше. Она выполняла разные работы в местной церкви — за себя и за своих подруг, которые предпочитали самозабвенной службе греховные развлечения в виде кинотеатров. Она вела уроки в воскресной школе, и дети очень эти уроки любили из-за тех забавных гримас, которые она им строила (так они думали). Часто она наставляла их в изучении девяти заповедей (та, в которой говорилось о прелюбодеянии, пропускалась, так как опыт показал, что она вызывает неудобные вопросы). Еще она служила добровольцем в местной публичной библиотеке.

Естественно, она потеряла всякую надежду выйти замуж еще в четыре года. Когда ей исполнилось десять,

даже случайные встречи с представителем противоположного пола воспринимались как несбыточная мечта.

Она много раз мне говорила:

— Не думайте, что я несчастна, дядя Джордж. Пусть мир мужчин для меня закрыт — за исключением вашей дорогой особы и памяти о бедном батюшке — но намного больше счастья в том, чтобы творить добро.

Она посещала заключенных в окружной тюрьме, дабы побудить их к раскаянию и обратить к добру. Только двое из всех заключенных оказались настолько глупы, что потребовали в дни ее посещений перевода в одиночку.

Но однажды она познакомилась с Октавиусом Оттом, новопривывшим молодым, но уже занимавшим ответственный пост инженером местной электрической компании. Это был замечательный молодой человек — основательный, предприимчивый, осмотрительный, смелый, честный и достойный, но при самом большом желании его нельзя было назвать красивым.

Под выпадающими — точнее, выпавшими — волосами был расположен бульбообразный лоб, под ним — бесформенный нос, тонкие губы, по бокам головы — неимоверно оттопыренные уши, а на тощей шее — выступающий кадык, никогда не пребывавший в покое. То, что еще оставалось от волос, было ржавого цвета, а на руках и лице беспорядочно толпились веснушки. Я присутствовал при первой случайной встрече Октавиуса и Мэгги на улице. Оба они не ожидали ничего подобного, и оба реагировали как пара норовистых лошадей, перед которыми вдруг выскочила дюжина клоунов в дюжине париков и дунула в дюжину свистков. На секунду мне показалось, что Мэгги и Октавиус сейчас развернутся и уедут.

Но эта секунда прошла, и каждый из них успешно подавил приступ панического ужаса. Мэгги только прижала руку к сердцу, как будто боясь, что сейчас оно выпрыгнет из грудной клетки в поисках более безопасного убежища, а он потер лоб рукой, словно отгоняя кошмарное воспоминание. Я уже был несколько дней

знаком с Октавиусом и представил их друг другу. Каждый нерешительно протянул руку, как будто боясь подкрепить ощущением зрительный образ.

Позже в тот же вечер Мэгги после долгого молчания сказала мне:

— Какой странный вид у этого молодого человека — мистера Отта.

Я ответил с той свойственной мне свежестью метафоры, что всегда так восхищает моих друзей:

— Не следует, дорогая, судить о книге по обложке.

— Но ведь обложка тоже существует, дядя Джордж, — серьезно возразила она, — и с этим приходится считаться. Позволю себе сказать, что обычная молодая женщина, легкомысленная и не слишком чувствительная, не стала бы общаться с мистером Оттом. Поэтому было бы добрым делом показать ему, что не все молодые женщины столь поверхностны, но по крайней мере одна из них не отвернется от человека на том только основании, что он похож на... на... — она задумалась, но так как не могла вспомнить ничего похожего из животного царства, закончила: — ... на то, на что он похож. Мне следует проявить к нему внимание.

Мне неизвестно, был ли у Октавиуса конфиденц, которому он мог бы сделать подобное заявление. Скорее всего нет, потому что очень мало кто из нас, если вообще кто-нибудь, имеет счастье числится среди своих близких дядю Джорджа. Тем не менее, учитывая последующие события, я уверен, что ему пришли в голову те же мысли — конечно, с соответствующей заменой действующих лиц.

Так или иначе, каждый из них постарался отнестись к другому с теплотой и добротой, сначала осторожно и робко, потом увлеченно и, наконец — страстно. Редкие встречи в библиотеке перешли в походы в зоопарк, потом в кино по вечерам, затем на танцы, которые вскоре сменились — извините мой язык — свиданиями.

Люди уже начинали, видя одного из них, тут же искать взглядом другого, поскольку привыкли к тому, что эта пара неразлучна. Часть соседей активно жаловалась, что двойная доза Октавиуса и Мэгги — это

больше, чем можно требовать от выносливости обычного человеческого глаза, и среднемесячные расходы на солнечные очки резко возросли.

Не скажу, чтобы я совсем не сочувствовал этим крайним взглядам, но были и другие — более терпимые, а может быть, и более разумные, которые утверждали, что по какому-то странному стечению обстоятельств специфические черты каждого из них противоположны друг другу и взаимно компенсируются, так что их легче выносить, когда они вместе. По крайней мере так считалось.

Наконец наступил день, когда Мэгги вбежала ко мне домой и заявила:

— Дядя Джордж, Октавиус — смысл и свет моей жизни. Он сильный, стойкий, строгий, серьезный и стабильный. Он прекрасен.

— Внутренне — да, моя милая. В этом я уверен. Что же касается его внешности, то он...

— Превосходен, — сказала Мэгги сильно, стойко, строго, серьезно и стабильно. — Дядя Джордж, он испытывает ко мне те же чувства, что и я к нему, и мы решили пожениться.

— Вы с Оттом? — спросил я слабеющим голосом. Перед моим мысленным взором невольно мелькнул образ возможных последствий такого брака, и мой голос предательски пресекся.

— Да, — ответила она. — Он мне говорит, что я — солнце его жизни и луна его радости. А еще он добавил, что я — все звезды его счастья. Он очень поэтичен, дядя Джордж.

— Да, похоже, — сказал я, пытаясь не выдать голосом сомнения. — И когда вы планируете свадьбу?

— Как можно скорее, — заявила Мэгги.

Мне оставалось только скрипнуть зубами. Прошло оглашение, были выполнены все формальности, и, наконец, состоялась свадьба, на которой я был посаженным отцом невесты. Явилась вся округа, которая до конца в это не верила. Даже священнику иногда не удавалось скрыть удивление. Нельзя сказать, что хоть кто-нибудь приветствовал молодую чету счастливым взглядом. Во все время церемонии публика с интересом изучала

собственные ботинки. Все, кроме священника. Его твердый взгляд не отрывался от потолка.

Вскоре после этого я должен был переехать в другую часть города и потерял контакт с Мэгги. Но где-то лет через одиннадцать я вернулся в связи с инвестициями в работу некоего моего друга по изучению скаковых лошадей. Я выкроил возможность навестить Мэгги, которая обладала, кроме прекрасно спрятанной красоты, талантами великолепной поварихи. Я угадал к ленчу. Октавиус уже ушел на работу, но я, как человек альтруистичный, доел за него его порцию.

Однако я не мог не заметить, что на лице у Мэгги лежала какая-то тень печали. Когда мы уже пили кофе, я спросил:

— Мэгги, что-нибудь не так? Ваш брак не оказался счастливым?

— Ну, что вы, дядя Джордж, — энергично возразила она, — наш брак заключен на небесах. Хотя мы и бездетны, мы так заняты друг другом, что почти и не чувствуем этого лишения. Мы просто купаемся в вечной любви, и больше нам просить у жизни нечего.

— Понимаю, — сказал я, с трудом удержавшись от комментариев. — Но почему тогда у тебя на лице какая-то грустная тень?

Она заколебалась, но потом ее прорвало:

— Вы такой чуткий, дядя Джордж, от вас ничего не скроешь. Да, есть одна вещь, которая подсыпает песок в колеса счастья.

— И это?

— И это — моя внешность.

— Твоя внешность? А что тебя не устраивает...

Окончание фразы я проглотил, не будучи в силах его подобрать.

— Я некрасива, — сказала Мэгги таким тоном, каким сообщают очень глубокую тайну.

— А! — сказал я.

— А я хотела бы быть красивой — ради Октавиуса. Я хочу быть симпатичной только для него.

— А он когда-нибудь делал замечания насчет твоей внешности? — осторожно спросил я.

— Октавиус? Конечно, нет. Он гордо страдает молча.

— Откуда же ты тогда знаешь, что он страдает?
 — Так мне подсказывает женская интуиция.
 — Но, Мэгги, ведь Октавиус и сам — ну, не очень красив.

— Как вы можете? — возмутилась Мэгги. — Октавиус прекрасен!

— А он, наверное, думает, что ты прекрасна.

— Ну, что вы, — сказала Мэгги. — Как он мог бы такое предположить?

— Ладно. Он интересуется другими женщинами?

— Дядя Джордж! — Мэгги была шокирована. — Что за низкая мысль! Вы меня удивляете. Октавиус ни на кого, кроме меня, не смотрит.

— Так какая тогда разница, красива ты или нет?

— Но ведь для него же. Дядя Джордж, я хочу быть красивой для него.

И вдруг, уткнувшись мне в плечо самым неожиданным и неприятным образом, она стала поливать слезами мой пиджак. Когда она закончила, его можно было выжимать.

Я тогда уже был знаком с Азазелом — демоном ростом в два сантиметра. Может быть, я вам о нем случайно... Послушайте, вот такое демонстративное бормотание: «Тошнит уже» — это просто неприлично. Те, кто пишет так, как вы, вообще не должны бы упоминать ничего, что связано с тошнотой читателя или слушателя.

Ладно, как бы там ни было, я вызвал Азазела.

Азазел явился спящим. У него на крохотной головке была надета сумка из какого-то зеленого материала, и только сопранный писк откуда-то из нее указывал на то, что он жив. И еще жилистый хвост время от времени выпрямлялся и дрожал с легким жужжанием.

Я несколько минут подождал, а когда он не проснулся, я аккуратно снял пинцетом сумку у него с головы. Он медленно открыл глаза и посмотрел на меня. Он сказал:

— Я сначала подумал, что это просто кошмар. А оказывается, еще противнее!

Игнорируя эти детские обиды, я перешел к делу:

— Есть работа, которую я хочу, чтобы ты для меня сделал.

— Естественно, — сказал Азazel. — Ты же не предполагаешь, что я ожидаю, что ты предложишь, что ты сделаешь для меня работу.

— Я бы сделал немедленно, — сказал я прочувствованным голосом, — если бы нашлась такая работа, которую человек с моими малыми возможностями мог бы сделать для столь могущественного существа.

— Что верно, то верно, — буркнул Азazel, смягчаясь.

Омерзительно видеть, хотел бы добавить я, как любовью разум доступен лести. Вот, например, я видел, как вы сходите с ума от животной радости, когда у вас просят автограф. Но вернемся к моему рассказу.

— В чем дело? — спросил Азazel.

— Я хотел бы сделать женщину красивой.

Азazel пожал плечами:

— Я не уверен, что это у меня получится. Стандарты красоты вашего примитивного и водянисто-разбухшего вида довольно отвратительны.

— Уж какие есть. Я тебе расскажу, что делать.

— Ты мне расскажешь?! — завопил он, дрожа от ярости. — Ты расскажешь мне, как стимулировать и преобразовывать волосяные луковицы, как укреплять мышцы, как наращивать и рассасывать кости? И все это ты будешь рассказывать мне?

— Отнюдь, — смиренно ответил я. — Детальное управление механизмами, которыми будет выполнено это действие, может быть осуществлено лишь существом с твоими сверхъестественными способностями. Я лишь прошу позволения описать те сугубо внешние эффекты, которых надлежит достигнуть.

Азazel снова смягчился, и мы стали говорить о деле.

— Не забудь, — попросил я, — чтобы эффект проявился постепенно — дней этак за шестьдесят. Слишком быстрая перемена может вызвать пересуды.

— Не хочешь ли ты сказать, — спросил Азazel, — что мне придется провести шестьдесят дней за надзором, регулировкой и коррекцией? По-твоему, мое время ничего не стоит?

— Но ведь ты сможешь описать эту работу в биологических журналах твоего мира. Для выполнения такой

работы мало у кого из твоих соплеменников хватило бы умения или терпения.

Азazel задумчиво кивнул:

— За дешевой популярностью — я, разумеется, не гонюсь, — сказал он, — но я думаю, что должен подать пример меньшей братии нашего мира. — Он вздохнул, хотя вздох получился больше похож на тонкий свист. — Хлопотная и нудная работа, но это мой долг.

А у меня был свой долг. Я считал необходимым оставаться поблизости в течение всего времени изменения. Мой игравший на скачках приятель дал мне приют в обмен на мои советы и экспертизу прошедших заездов и благодаря этому проиграл очень мало.

Каждый день я под тем или иным предлогом встречался с Мэгги и замечал все более и более явные перемены. Волосы стали пушистее и легли волной, обещая завиться в золотые кудри.

Постепенно стал выступать подбородок, скулы становились тоньше и выше. Цвет глаз сместился к синему и с каждым днем становился все сочнее и сочнее, почти переходя в фиалковый. У век появился тонкий восточный разрез. Уши стали обретать изящную форму, и на них появились мочки. Фигура мало-помалу округлялась, а талия становилась тоньше. Знакомые были озадачены. Я сам слышал, как ее спрашивали:

— Мэгги, что ты с собой сделала? У тебя чудесные волосы, и ты вообще стала на десять лет моложе.

— Я ничего с собой не делала, — отвечала Мэгги. Она была озадачена, как и все остальные — кроме меня, разумеется.

Меня она спрашивала:

— Дядя Джордж, вы не находите, что я изменилась?

— Ты прекрасно выглядишь, Мэгги, — отвечал я, — но для меня ты всегда прекрасно выглядела.

— Может быть, — говорила Мэгги, — но для себя я никогда до последнего времени не выглядела хорошо. И я этого не понимаю. Вчера на меня уставился какой-то наглый молодой человек. Раньше они всегда старались проскочить мимо и прятали глаза, а этот — погмигнул. Меня это так поразило, дядя Джордж, что я даже ему улыбнулась.

Две-три недели спустя я встретил около ресторана ее мужа Октавиуса. Я стоял и изучал выставленное в окне меню. Поскольку он собирался зайти внутрь и заказать обед, у него не заняло много времени пригласить меня к нему присоединиться, а у меня заняло еще меньше времени это приглашение принять.

— У вас не слишком счастливый вид, Октавиус, — сказал я.

— Я действительно не слишком счастлив, — ответил он. — Я не знаю, что случилось с Мэгги в последнее время. Она так рассеянна, что почти меня не замечает. Она всегда хочет быть на людях. А вот вчера...

— Вчера? — переспросил я. — Что вчера?

— Вчера она попросила называть ее Мелисандой. Я же не могу называть Мэгги таким смешным именем — Мелисанда.

— А почему? Это имя ей дали при крещении.

— Но ведь она — моя Мэгги. А Мелисанда — это кто-то другой.

— Да, она слегка переменялась, — заметил я. — Вы не заметили, что она стала гораздо красивей?

— Да, — сказал Октавиус. Как будто зубами лязгнул.

— Ведь это хорошо?

— Нет! — отрубил он еще резче. — Мне нужна моя простая Мэгги с ее смешным личиком. А эта новая Мелисанда все время возится со своими волосами, мажется тенями то такими, то такими, меряет какие-то платья и лифчики, а со мной почти и не говорит.

До конца обеда он не сказал больше ни слова.

Я подумал, что мне стоит увидаться с Мэгги и поговорить с ней как следует.

— Мэгги, — сказал я.

— Мелисанда, если вам не трудно, — поправила она меня.

— Мелисанда, — повторил я, — похоже, что Октавиус несчастлив.

— И я тоже, — ответила она довольно едко. — Октавиус становится таким нудным. Он не хочет выходить из дому. Не хочет развлекаться. Ему не нравятся мои новые вещи, моя косметика. Что он, в конце концов, из себя строит?

— Ты сама его считала королем среди мужчин.

— Ну и дура была. Он просто маленький уродец, на которого смотреть противно.

— Ты же хотела стать красивой только для него.

— Что вы имеете в виду — «стать красивой»? Я и так красивая. И всегда была красивая. Мне просто надо было сменить прическу и научиться правильно накладывать косметику. И я не дам Октавиусу стать мне поперек дороги.

Так она и сделала. Через полгода они с Октавиусом развелись, а еще через полгода Мэгги — теперь Мелисанда — вышла замуж за поразительно внешне красивого человека с мерзким характером. Однажды я с ним обедал, и он так долго мялся, принимая счет, — я даже испугался, что мне придется принять его самому.

Октавиуса я увидел примерно через год после их развода. Он по-прежнему был неженат, поскольку вид у него был все тот же, и по-прежнему от его присутствия молоко скисало. Мы сидели у него дома, где всюду были развешены фото Мэгги, прежней Мэгги, одно другого уродливей.

— Вы все еще тоскуете по ней, Октавиус, — сказал я.

— Ужасно, — ответил он. — Могу только надеяться, что она счастлива.

— Насколько я знаю, это не так. Она могла бы к вам вернуться.

Октавиус грустно покачал головой:

— Мэгги уже никогда ко мне не вернется. Может быть, ко мне хотела бы вернуться женщина по имени Мелисанда, но я бы ее не принял. Она не Мэгги — моей любимой Мэгги нет.

— Мелисанда, — заметил я, — красивей, чем Мэгги.

Он посмотрел на меня долгим взглядом.

— А в чьих глазах? — спросил он. И сам ответил: — Только не в моих.

Больше я никого из них не видел.

Минуту мы сидели в молчании, а потом я сказал:

— Захватывающая история, Джордж. Вы меня тронули.

Более неудачный выбор слов в этой ситуации трудно было вообразить.

Джордж сказал:

— Это мне напомнило об одной вещи, старина, — не мог бы я одолжить у вас пять долларов этак на недельку? Максимум десять дней.

Я достал бумажку в пять долларов, поколебался и сказал:

— Джордж, ваша история того стоит. Возьмите насовсем. Это ваши деньги (в конце концов, любая ссуда Джорджу оборачивается подарком *де-факто*).

Джордж принял банкнот без комментариев и вложил его в изрядно потрепанный бумажник. (Он, наверное, был потрепан, еще когда Джордж его купил, потому что с тех пор не использовался.) А Джордж сказал:

— Возвращаясь к теме: могу я одолжить у вас пять долларов на недельку? Максимум десять дней.

Я опешил:

— Но ведь у вас есть пять долларов!

— Это мои деньги, — сказал Джордж, — и вам до них дела нет. Когда вы у меня занимаете, разве я комментирую состояние ваших финансов?

— Да я же никогда...

Я осекся, вздохнул и дал Джорджу еще пять долларов.

ЕСТЬ МНОГОЕ НА НЕБЕ И ЗЕМЛЕ...

Во время обеда Джордж был непривычно тих. Он даже не стал меня останавливать, когда я решился просветить его, рассказав несколько из многочисленных придуманных мной за последние дни остроумств. Он лишь слегка фыркнул на лучшую из них.

За десертом (горячий пирог с черникой) он тяжело вздыхал из самой глубины своего чрева, обдавая меня не слишком приятным напоминанием о съеденных за обедом омарах.

— В чем дело, Джордж? — спросил я наконец. — Вы чем-то озабочены.

— Меня иногда забавляет, — ответил Джордж, — ваша вот такая спонтанная чуткость. Обычно вы слишком глубоко уходите в свои писательские мыслишки, чтобы замечать страдания других.

— Но уж если мне удалось такое заметить, — настаивал я, — то пусть те усилия, которых это мне стоило, не пропадут зря.

— Я просто вспомнил своего старого приятеля. Бедняга. Виссарион Джонсон его звали. Полагаю, вы о нем ничего не слышали.

— И в самом деле не слышал, — сказал я.

— Увы, такова слава мирская, хотя, я думаю, нельзя пенять человеку за то, что его не знает личность с вашим ограниченным кругозором. Виссарион же был великим экономистом.

— Это вы нарочно, — сказал я. — Даже вы не позволите себе такой неразборчивости в знакомствах.

— Неразборчивости? Виссарион Джонсон был весьма почтенным и образованным человеком.

— Нисколько в этом не сомневаюсь. Я имею в виду всю профессию в целом как таковую. Мне рассказывали анекдот, как президент Рейган, работая над федеральным бюджетом, встретился с математическими трудностями и обратился к физику: «Сколько будет дважды два?» Физик немедленно ответил: «Четыре, мистер президент». Рейган немножко посчитал на пальцах, сбился и спросил у статистика: «Сколько будет дважды два?» Статистик подумал и дал следующий ответ: «Мистер президент, последние опросы среди учеников четвертых классов дают выборку ответов со средним значением, разумно близким к четырем». Но поскольку дело касалось бюджета, президент решил проконсультироваться у специалистов самого высокого класса. И поэтому он обратился к экономисту: «Сколько будет дважды два?» Экономист сдвинул темные очки на нос, быстро глянул по сторонам и спросил: «А сколько вам нужно, мистер президент?»

Если Джорджа и позабавила эта история, то он не показал этого ни словом, ни жестом. Вместо этого он сказал:

— Вы, мой друг, ничего не понимаете в экономике.

— Экономисты тоже, Джордж, — сказал я.

— Давайте я вам расскажу историю моего друга, экономиста Виссариона Джонсона. Это случилось несколько лет назад.

Виссарион Джонсон, как я вам уже сказал, был экономистом, достигшим почти что вершин своей профессии. Он кончал Массачусетский технологический институт и научился там писать зубодробительные уравнения недрогнувшим мелом.

Получив образование, он сразу вступил на стезю практической работы и благодаря тем фондам, которые были ему предоставлены многочисленными клиентами, глубоко изучил важность случайных колебаний в процессе дневных изменений на рынке ценных бумаг. Его искусство поднялось так высоко, что последующие его клиенты почти ничего не проигрывали.

Иногда он набирался смелости предсказывать, что на следующий день акции поднимутся или упадут в зависимости от того, будет ли обстановка благоприятной или неблагоприятной, и каждый раз такое предсказание попадало в точку.

Разумеется, в результате подобных триумфов он прославился как Шакал Уолл-стрита, и его советы ценились многими из наиболее известных охотников за длинным долларом.

Но он метил куда выше фондовой биржи, выше коммерческих махинаций, выше умения предсказывать будущее. Он хотел ни больше, ни меньше, как звания Главного Экономиста Соединенных Штатов, или, как чаще называли этот пост, «экономического советника президента».

При ваших ограниченных интересах вряд ли можно ожидать от вас понимания, что такое — Главный Экономист. Президент Соединенных Штатов обязан принимать решения, определяющие правительственные установления по торговле и труду. Он должен управлять движением денег и влиять на работу банков. Он должен налагать вето, затрагивающие сельское хозяйство, торговлю и промышленность. Он должен из налоговых поступлений отделять долю для военных и распределять остальное — если будет что. И по всем этим вопросам он обращается за консультацией к Главному Экономисту.

И когда это происходит, Главный Экономист должен ответить немедленно и в точности то, что хочет услышать от него президент. И выразить это должен теми самыми двусмысленными фразами, которыми президент будет потом представлять свое решение американской общественности. Когда вы начали свой анекдот про президента, физика, статистика и экономиста, я было подумал на минуту, что вы понимаете суть дела,

однако ваше глупое хихиканье в конце обнаружило полное непонимание вопроса.

К сорока годам Виссарион достиг квалификации, достаточной для занятия любого, даже самого высокого поста. В холлах и кабинетах Института правительственной экономики давно уже стало широко известно, что за последние семь лет Виссарион Джонсон ни разу не сказал никому ничего такого, что его собеседник не хотел бы услышать. И более того, он прошел в КУВ на «ура».

Не поднимая глаз от своей пишущей машинки, вы вряд ли слышали когда-нибудь о КУВ. Эта аббревиатура обозначает «Клуб Уменьшающихся Возвратов». На самом деле о нем знают очень немногие. Даже среди экономистов низшего ранга мало посвященных. Он представляет собой малый круг избранных, глубоко овладевших таинственным миром эзотерической экономики — или, как ее назвал один деревенщина-политик — «вудуистская экономика».

Хорошо известно, что никто, не входящий в КУВ, не может влиять на федеральное правительство, а любой входящий — может. Итак, когда довольно неожиданно умер председатель КУВ и организационный комитет предложил Виссариону занять этот пост, у того сердце замерло. Будучи председателем, он наверняка получил бы должность Главного Экономиста при первой возможности и находился бы у самого истока и корня власти, двигая рукой президента именно так, как хотел бы сам президент.

Был, однако, некоторый момент, не дававший Виссариону покоя и приводивший его в замешательство. Ему требовалась помощь равного ему по интеллекту и проницательности человека, так что он, как и любой бы на его месте, обратился ко мне.

— Джордж, — сказал он. — Стать председателем КУВ — это исполнение моих надежд и самых смелых мечтаний. Это открытые ворота славного пути экономического сикофанта, на котором я смогу потягаться с другим подтвердителем догадок президента — Главным Ученым Соединенных Штатов.

— Вы имеете в виду научного советника президента?

— Да, если вы хотите употреблять неофициальные названия. Стоит мне стать председателем КУВ, и меня через два года наверняка сделают Главным Экономистом. Однако...

— Однако? — переспросил я.

Виссарион сделал над собой видимое усилие:

— Я должен буду начать сначала. Клуб Уменьшающихся Возвратов был создан шестьдесят два года тому назад и получил свое имя в честь закона уменьшающихся возвратов, или уменьшающейся доходности, о котором слышал каждый экономист, как бы хорошо он ни был обучен. Первый президент клуба, весьма достойный человек, предсказавший серьезный спад на рынке ценных бумаг в ноябре 1929 года, был переизбираем на свой пост каждый год тридцать два раза подряд и умер в почтенном возрасте девяноста шести лет.

— Весьма похвально с его стороны, — сказал я. — Многие сдаются гораздо раньше, в то время как нужно лишь проявить решительность и целеустремленность, чтобы дожить до девяноста шести и даже больше.

— Второй наш председатель действовал почти столь же успешно и занимал этот пост шестнадцать лет. Он единственный, кто не стал Главным Экономистом. Он этого заслуживал и был назначен на этот пост Томасом И. Дьюи, но вот как-то... Наш третий председатель умер, пробыв на этом посту восемь лет, а четвертый — побыв председателем четыре года. Наш последний председатель, умерший в прошлом месяце, занимал свой пост два года. Вы здесь ничего не видите странного, Джордж?

— Странного? Они все умерли естественной смертью?

— Конечно.

— Ну, если принять в рассмотрение занимаемый ими пост, именно это и странно.

— Чушь, — сказал Виссарион несколько несдержанно. — Я прошу вас обратить внимание на время пребывания на посту каждого нашего председателя: тридцать два, шестнадцать, восемь, четыре и два.

Я на минуту задумался:

— Числа становятся все меньше и меньше.

— Не просто меньше. Каждое из них ровно половина от предыдущего. Можете мне поверить, я проверил у знакомого физика.

— Вы знаете, вы правы. Кто-нибудь еще заметил?

— Разумеется, — ответил Виссарион. — Я показал эти цифры моим сочленам по клубу, и они сказали, что эти цифры не имеют статистической значимости, если, конечно, президент не издаст указа по этому поводу. Но вы-то видите значимость? Если я приму пост председателя, я умру через год. Это непременно. А если так, то президенту будет крайне трудно назначить меня после этого на пост Главного Экономиста.

— Да, — сказал я, — это действительно дилемма, Виссарион. Мне случалось видеть правительственных чиновников, не проявляющих никаких признаков жизни разума, но среди них не было не проявляющих признаков жизни вообще. Давайте я это денек обдумую, ладно?

Мы договорились о встрече на следующий день в то же время и на том же месте. Это был прекрасный ресторан, и, в отличие от вас, Виссарион не жалел для меня корки хлеба.

Как вы говорите? Ладно, омаров по-ньюбургски он для меня тоже не жалел.

Это очевидным образом был случай для Азазела, и я чувствовал, что поступаю справедливо, когда поручаю эту работу моему двухсантиметровому демону с его сверхъестественными возможностями. В конце концов, Виссарион не только был добрым человеком с хорошим вкусом насчет ресторанов. Я искренне считал, что он может сослужить огромную службу нашей нации, подтверждая мнения президентов и отвергая возражения специалистов, которые разбираются лучше. В конце концов, этих специалистов-то разве кто-нибудь выбирал?

Нельзя сказать, чтобы Азазел сильно обрадовался вызову. Он обратил на меня внимание только после того, как бросил то, что было у него в ручках. Предметы были слишком малы, чтобы я мог рассмотреть в деталях,

но мне показалось, что это какие-то картонные прямоугольнички с любопытными рисунками.

— Ты! — сказал он, и его мордочка налилась сочным желтым цветом ярости. Он вертел хвостом, как сумасшедший, а рожки на голове дрожали от прилива чувств. — Ты понимаешь ли, ты, умственно отсталая биомасса, — визжал он, — что ко мне наконец пришел зотхил, и не просто зотхил, а зотхил полный и с парой рейлов! Они все против меня ставили, и выигрыш был точно мой! Да я бы половину всего стола обчистил!

Я сурово сказал:

— Не понимаю, о чем ты говоришь, но это звучит так, как будто ты только что играл в азартные игры. Разве это достойно цивилизованного и утонченного существа? Что бы сказала твоя бедная матушка, увидев, как ты тратишь время своей жизни на азарт среди шайки бездельников?

Азazel, похоже, был ошеломлен. Потом он промямлил:

— Ты прав. У моих матушек сердце бы разбилось. У всех троих. Особенно у моей бедной средней матушки, что столь многим для меня пожертвовала.

И он разразился сопрановыми рыданиями, от которых резало слух.

— Ну, ладно, ладно, — успокаивал я его. Мне хотелось заткнуть уши, но я боялся его обидеть. — Ты можешь искупить свой грех, оказав благодеяние этому миру.

И я рассказал ему о Виссарионе Джонсоне.

— Хм-м, — сказал Азazel.

— Что это значит? — встревоженно переспросил я.

— Это значит «хм-м», — огрызнулся Азazel. — Что это еще, по-твоему, может быть?

— Так ты считаешь, что все это чистое совпадение и что Виссариону не следует принимать его во внимание?

— Возможно — если бы не то, что это никак не может быть чистым совпадением и твоему Виссариону следует принять его во внимание. Случившееся должно быть проявлением закона природы.

— Какой тут может быть закон природы?

— Ты думаешь, что знаешь все законы природы?

— Да нет.

— Наверняка нет. Наш великий поэт Первосвят написал на эту тему очень тонкий куплет, который я, с присущим мне поэтическим даром, переведу на ваше варварское наречие.

Азazel прочистил горло, задумался и произнес:

«Натура — искусство сокрыто от Божьих детей,
Ты не узришь никогда ея изощренных путей».

Я подозрительно спросил:

— А что это значит?

— Это значит, что здесь дело в законе природы, и мы должны разобраться, в чем он заключается и как с его помощью перестроить ткань событий согласно нашим целям. Вот что это значит. Ты думаешь, великий поэт моего народа стал бы лгать?

— Никогда. Так что мы можем сделать?

— Посмотрим. Законов природы, знаешь ли, очень много.

— В самом деле?

— Ты себе представить не можешь. Есть вот один очень симпатичный закон природы — чертовски красивое уравнение, если записать его в тензорах Вайнбаума — определяющий связь температуры супа с тем, насколько быстро его надо доест. Возможно, что, если такое странное убывание срока председания подчиняется тому закону, которому как я думаю, оно подчиняется, я смогу изменить природу твоего друга таким образом, чтобы ему ничто на земле не могло повредить. Это, конечно, не защитит его от физиологического старения. То, что я собираюсь с ним сделать, не даст ему бессмертия, но он не умрет от болезни или несчастного случая, а этого, я думаю, достаточно.

— Полностью. А когда это будет сделано?

— Я пока не знаю точно. На этих днях я очень занят с одной юной особой женского пола моего вида, которая, похоже, в меня втрескалась по уши, бедняжка. — Он зевнул, закрутил раздвоенный язычок винтом и раскрутил снова. — У меня намечается крупный недо-сып, но за два-три дня сделаю.

— Хорошо, а как я узнаю, что все сделано?

— Это просто, — ответил Азazel. — Подожди несколько дней и пихни своего приятеля под грузовик. Если он останется невредим, значит, моя работа удалась. А сейчас, если ты не против, я только доиграю этот единственный кон, а потом, с мыслью о моей бедной средней матушке, выйду из игры. Конечно, с выигрышем.

Не думайте, что убедить Виссариона в его безопасности не потребовало массы хлопот.

— Ничто на земле мне не повредит? — все спрашивал он меня. — А откуда вы знаете, что мне ничто на земле не повредит?

— Знаю. Послушайте, Виссарион, я же не ставлю под сомнение ваши профессиональные знания. Когда вы мне говорите, что процентная ставка упадет, я же не начинаю придирааться и спрашивать, откуда вы знаете.

— Ладно, это все хорошо, но ведь если я скажу, что процентная ставка упадет, а она будет продолжать расти — это бывает не чаще, чем в половине случаев, — то будут задеты только ваши чувства. Если же я буду действовать в предположении, что мне ничто на земле повредить не может, а что-то меня все-таки заденет, то пострадают не только мои чувства. Это ведь Я пострадаю.

С такой логикой спорить невозможно, но я продолжал спорить. Я постарался его уговорить хотя бы не отказываться прямо, а постараться отложить решение вопроса на несколько дней.

— Они никогда не пойдут на такую задержку, — упрямылся он, но вдруг, откуда ни возьмись, выяснилось, что настала годовщина «черной пятницы» и КУВ погрузился в ежегодный традиционный трехдневный траур с молитвами по усопшим. Проволочка возникла сама по себе, и уже одно это навело Виссариона на мысль, что ему кто-то ворожит.

Потом случилось, что, когда он снова вышел на люди и мы с ним переходили улицу с сильным движением, я как-то (уже точно и не помню как) резко наклонился завязать шнурок, случайно потерял равновесие и упал на него, он тоже потерял равновесие, и тут же раздался

адский визг шин и скрежет тормозов, и три машины сплюснулись в лепешку.

Но и Виссарион не остался совершенно невредимым: у него растрепались волосы, очки съехали на сторону, а на колене правой брючины появилось здоровенное масляное пятно.

Он, однако, не обратил на это внимания. Со сверхъестественным ужасом глядя на катастрофу, он бормотал:

— Не зацепило. Боже мой, даже не зацепило! Подумать только, не зацепило.

В тот же самый день он без плаща, без зонтика, без калош попал под дождь — холодный, мерзкий дождь — и не простудился. Даже не потрудившись вытереть волосы, он позвонил и дал согласие занять пост председателя.

Его правление было примечательно. Прежде всего он увеличил в пять раз свою ставку гонорара без всяких дурацких разговоров об увеличении средней точности прогнозов и т. п. В конце концов, клиент не может требовать слишком многого. Мало того, что он получает консультацию у профессионала, которому нет равных по престижу, так ему еще и советы подавай лучше, чем у других?

Во-вторых, он наслаждался жизнью. Никаких простуд, никаких вообще заразных заболеваний. Он переходил улицу, где хотел и когда хотел, не обращая внимания на светофоры, и при этом, надо сказать, катастрофы устраивал довольно редко. Он без колебаний заходил ночью в парк, а когда на улице хулиган приставил ему нож к груди и предложил произвести трансферт наличности, Виссарион просто двинул его ногой в пах и пошел дальше. Юный финансист был столь поглощен собственными ощущениями, что пренебрег необходимостью вовремя возобновить заявку.

В годовщину его председательства я встретил его в парке. Он шел на торжественный обед, посвященный этому событию. Стоял дивный денек бабьего лета, и когда мы сели рядом на парковую скамейку, оба были спокойны и довольны.

— Джордж, — сказал он. — У меня был счастливый год.

— Приятно слышать, — ответил я.

— У меня репутация, которой мог бы позавидовать любой экономист всех времен и народов. Только в прошлом месяце я предупреждал, что «Лапша анлимитед» должна будет слиться с «Ушным эликсиром», и когда они образовали компанию «Лап Ушка», все восхищались, как я почти предсказал результат.

— Помню, как же, — отозвался я.

— А теперь — я рад, что могу сказать вам первому...

— О чем, Виссарион?

— Президент попросил меня стать Главным Экономистом Соединенных Штатов, и я достиг предела своих мечтаний и дерзновений. Вот, смотрите!

Он достал плотный конверт, у которого в углу стоял внушительный штамп «Белый дом». Я его открыл, и в это время раздалось какое-то странное «дзин-н-нь», как будто пуля свистнула мимо уха, и краем глаза я увидел что-то вроде вспышки.

Виссарион раскинулся на скамейке, спереди на рубашке расплескалась кровь, и был он мертв. Кто-то из прохожих остановился, кто-то вскрикнул и поспешил прочь.

— Вызовите врача! — крикнул я. — Вызовите полицию!

Они в конце концов приехали и вынесли вердикт, что он был застрелен прямо в сердце из пистолета неизвестного калибра каким-то сумасшедшим снайпером. Ни снайпера, ни пули на нашли. К счастью, оказались свидетели, видевшие, что я ничего, кроме конверта, в руках не держал и потому чист от всяких подозрений. Иначе я мог иметь массу неприятностей.

Бедняга Виссарион!

Он пробыл председателем точно один год, как он и опасался, но Азazel не был виноват. Он обещал только, что Виссариону ничто на земле не повредит, однако, как сказал Гамлет, «на небе и земле есть многое, друг Горацио, чего на земле нет».

Раньше, чем прибыли врачи и полиция, я заметил маленькую дырочку в деревянной спинке скамейки за спиной Виссариона. Перочинным ножиком я выковырял

оттуда маленький темный предмет. Он был еще теплым. Через несколько месяцев я показал его в музее и понял, что был прав. Это был метеорит.

Короче говоря, Виссарион не был убит никаким земным предметом. Он — первый в истории человек, убитый метеоритом. Я об этом никому не рассказывал, поскольку Виссарион был человеком скромным, и подобная известность его бы не порадовала. Она затмила бы все его великие работы по экономике, а этого я допустить не мог.

Но каждый год в юбилей его взлета и его смерти я вспоминаю его и думаю: «Бедный Виссарион! Бедный Виссарион!»

Джордж промокнул глаза платком, а я сказал:

— А что случилось с его преемником? Он должен был удержаться на посту полгода, а следующий — три месяца, а следующий...

— Не надо, мой друг, угнетать меня своим знанием высшей математики, — сказал Джордж. — Я не из ваших страдальцев-читателей. Ничего подобного не случилось, поскольку клуб сам сменил закон природы.

— Да? А как?

— Им стукнуло в голову, что название клуба — Клуб Уменьшающихся Возвратов — и есть то злое имя, что управляет сроками власти председателей. И они просто сменили название КУВ на КСР.

— А что значат эти буквы?

— Клуб Случайного Распределения, конечно, — сказал Джордж, — и следующий председатель уже занимает свой пост около десяти лет и все пребывает в добром здравии.

Тут как раз вернулся официант со сдачей, и Джордж, поймав ее в свой платок, небрежным и одновременно величественным жестом положил платок с деньгами в нагрудный карман, встал и, весело махнув рукой, вышел.

УГАДЫВАНИЕ МЫСЛИ

В то утро мной овладело философское настроение. Покачивая головой от грустных воспоминаний, я сказал:

— «Искусства нет, чтоб мысль с лица считать». Этому человеку я доверял безоглядно.

Было довольно прохладное воскресное утро. Мы с Джорджем сидели за столом в местной пирожковой, и Джордж, помню, заканчивал второй солидный пирог, хорошо начиненный сливочным сыром и форелью.

— Это чего-нибудь из рассказов, которые вы имеете привычку всучивать наиболее неразборчивым редакторам? — спросил он.

— Вообще-то это Шекспир, — ответил я. — Из «Макбета».

— Ах да, я забыл вашу приверженность мелкому плагиату.

— Выразить свою мысль подходящей цитатой — это не плагиат. Я хотел сказать, что у меня был друг, которого я считал человеком со вкусом и умом. Я его угощал обедами. Я иногда ссужал его деньгами. Я хвалил его внешность и характер. И обратите внимание, я это делал, совершенно не имея в виду, что этот человек

по профессии — литературный критик, если это можно назвать профессией.

Джордж перебил:

— И несмотря на все эти ваши бескорыстные действия, пришло время, когда этот друг написал рецензию на одну из ваших книг и раздраконил ее немилосердно.

— А вы, — спросил я, — видели эту рецензию?

— Никоим образом. Я просто спросил себя, какой отзыв могла получить ваша книга, и правильный ответ пришел ко мне, как озарение.

— Да вы поймите, Джордж, пусть бы он написал, что книга плохая — я бы отреагировал не сильнее, чем реагирует на такие идиотские замечания любой другой автор. Но когда он употребляет выражение «старческое слабоумие» — это уже слишком. Сказать, что книга предназначена для восьмилетних, но им вместо ее чтения лучше поиграть в кубики — это удар ниже пояса. — Я вздохнул и повторил: «Искусства нет, чтоб мысль...»

— Это вы уже говорили, — сразу отозвался Джордж.

— Он был такой дружелюбный, такой компанейский, так был благодарен за эти маленькие одолжения. Откуда я мог знать, что под этой личиной таится злобная, коварная змея.

— Но ведь он — критик, — возразил Джордж. — Кем же ему еще быть? В обучение критика входит искусство охаять родную мать. Даже почти невероятно, что вас так до смешного просто обдурили. Вы переплюнули даже моего друга Вандевантера Робинсона, а он, если честно сказать, был кандидатом на Нобелевскую премию по наивности. С ним был любопытный случай...

— Вот, смотрите, — сказал я, — вот рецензия в «Нью-йоркском книжном обозрении» — пять колонок горькой желчи, яда и слюны бешеной собаки. Мне не до ваших историй, Джордж.

А я думаю, что вы будете слушать (так сказал Джордж), и это будет правильно. Это вас отвлечет от последствий вашей непоследовательности. Мой друг Вандевантер Робинсон был молодым человеком, которого каждый назвал бы многообещающим. Он был

красивой, образованной, культурной и творческой личностью. Он учился в лучшем колледже и был счастливо влюблен в очень милое юное создание по имени Минерва Шлумп.

Минерва была одной из моих крестниц и очень меня любила, что вполне объяснимо. Конечно, человек моего морального уровня не любит позволять юным дамам выдающихся пропорций обнимать себя или вешаться на шею, но Минерве, с ее детской невинностью и, самое главное, такой упругой на ощупь, я это разрешал.

Разумеется, я никогда не позволял ей этого в присутствии Вандевантера, ревнивого до глупости.

Однажды он объяснил этот свой недостаток в таких выражениях, которые тронули мое сердце.

— Джордж, — сказал он, — с самого детства я мечтал полюбить женщину в высшей степени добродетельную, женщину нетронутой чистоты, женщину — да позволено мне будет употребить это слово — с фарфоровым сиянием невинности. И в Минерве Шлумп — осмелюсь прошептать это божественное имя — я как раз и нашел такую женщину. Это тот единственный случай, когда я знаю, что меня не предадут. Если бы здесь мое доверие было обмануто, я не знал бы, как мне дальше жить. Я бы стал стариком с разбитым сердцем, без единого утешения, если не считать такой золы и суеты, как особняк, слуги, клуб и полученные в наследство деньги.

Бедняга. Юная Минерва его не обманывала — я это хорошо знал, поскольку, когда она сиживала у меня на коленях, я мог с уверенностью сказать, что в ней не было ни малейшего следа порока. Но боюсь, что это был единственный человек, или единственный пункт, или единственный случай, когда он не был обманут. У бедного молодого человека не было вообще никакой критичности. Он был, грубо говоря, так же глуп, как вы. Ему не хватало искусства считывать мысли... я знаю, вы уже это говорили. Да, дважды, дважды.

Особенно осложняло его жизнь то обстоятельство, что он был начинающим сыщиком в нью-йоркской полиции.

Эта работа была целью его жизни (помимо цели найти совершенную даму). Быть одним из тех острогла-

зых, ястребиноносых джентльменов, кои являют собою повсеместно ужас для злодеев. С этой целью он изучал криминологию в Гротоне и в Гарварде и внимательнейшим образом прорабатывал все отчеты, когда-либо доверенные бумаге такими авторитетами, как сэр Артур Конан Дойль и леди Агата Кристи. Все это вместе, в сочетании с нещадным использованием влияния семьи и тем, что его родной дядя некогда был главой муниципалитета Квинса, привело к его назначению в полицию.

К сожалению — чего никак нельзя было ожидать, — он не преуспел. Непревзойденный в умении плести тончайшую цепь доказательств с использованием собранных другими показаний, он оказался совершенно неспособным снимать показания сам.

Трудность состояла в том, что у него была невероятная способность верить всему, что слышит. Любое алиби, самое дурацкое, сбивало его с толку. Любому заведомому мошеннику достаточно было дать честное слово — и Вандевантер уже не был способен даже на сомнение.

Это стало настолько известным, что все преступники, от мелких карманников до крупных политиков и промышленников, отказывались от допросов у других следователей.

— Приведите Вандевантера! — кричали они.

— Я ему расскажу все, как на духу! — говорил карманник.

— Я ознакомлю его с фактами, расположенными в должной последовательности мною лично, — говорил политик.

— Я объясню, что этот правительственный чек на сто миллионов долларов случайно лежал у меня в ящике с мелочью, а мне как раз надо было дать на чай чистильщику сапог, — говорил промышленник.

В результате он разваливал все, к чему прикасался. Он отличался абсолютной леворукостью — выражение, придуманное одним моим грамотным приятелем. Конечно, не помните — я имею в виду не вас. Я ведь сказал *грамотным* приятелем.

Шли месяцы, нагрузка в судах падала, а бесчисленные громилы, мошенники и рецидивисты возвращались

в объятия родственников и друзей без малейшего пятнышка на репутации.

Естественно, Нью-Йорк довольно быстро оценил ситуацию и раскопал причину. Вандевантер проработал всего два с половиной года, как заметил, что товарищи, к которым он привык, его избегают, а начальство встречает его недовольной и озадаченной гримасой. О повышении даже и речи не было, хотя Вандевантер при всех казавшихся ему удобными случаях поминал своего дядю — главу администрации.

Он пришел ко мне, поскольку молодым людям в трудную минуту свойственно обращаться за помощью и советом к мудрым мира сего... не понимаю, что вы имеете в виду, когда спрашиваете, кого я мог бы рекомендовать. Пожалуйста, не отвлекайте меня на посторонние темы.

— Дядя Джордж, — сказал он. — Похоже, что я влип в полосу затруднений.

Он всегда называл меня «дядя Джордж» под впечатлением моего достойного и блестяще-благородного вида, сообщаемого мне ухоженными белыми манжетами — не то что эти ваши сомнительные запонки.

— Дядя Джордж, — продолжал он, — меня ни за что не хотят повышать по службе. Я все еще начинающий детектив нулевого класса. Мой кабинет посреди коридора, а ключ от уборной не подходит к замку. Мне это безразлично, но моя дорогая Минерва с ее безыскусной неиспорченностью может посчитать, что я — неудачник, и ее маленькое сердце при этой мысли просто разрывается. Она говорит: «Я не хочу выходить за неудачника. Надо мной смеяться будут», — и у нее губы дрожат.

Я спросил:

— Мой милый Вандевантер, у ваших неприятностей есть какая-нибудь причина?

— Никакой. Для меня это абсолютная загадка. Признаю, что я не раскрыл ни одного преступления, но я не думаю, что дело в этом. Никто же не ждет, что все они будут раскрываться.

— А другие детективы раскрывают хоть малую толику дел?

— Время от времени бывает, но их способ действия вызывает у меня глубокий шок. У них такое мерзкое чувство недоверия, такой разъедающий скептицизм, такая манера смотреть на подозреваемого и цедить сквозь зубы: «Вы подумайте!» Или: «Расскажите вашей бабушке!» Это унижает людей. Это... это не по-американски.

— А может быть, что такие подозреваемые говорят неправду, и к ним *следует* отнестись со скептицизмом?

Бандевантер на мгновение опешил:

— Вы знаете, я думаю, что это возможно. Какая ужасная мысль!

— Ладно, — сказал я. — Я подумаю, что можно сделать.

Тем же вечером я вызвал Азазела — двухсантиметрового демона, который мне пару раз помог за счет присущей ему волшебной силы. Я вам про него никогда не говорил... Ах, говорил? Что, в самом деле говорил? Ну, ладно. Он появился в маленьком круге слоновой кости на моем столе, когда я сжег по периметру этого круга специальные снадобья и произнес несколько древних заклинаний — к сожалению, не могу посвятить вас в детали.

Он появился одетый в длинную ниспадающую мантию — длинную по крайней мере в сравнении с двумя сантиметрами, коими измеряется его рост от основания хвоста до кончиков рогов. Одну руку он простер вверх и что-то быстро говорил визгливым голосом, помахивая хвостом.

Ясно, что он находился в процессе какой-то церемонии. Он из тех созданий, которых всегда занимают несущественные подробности. Мне никогда не удавалось его застать в состоянии спокойного отдыха или достойного ничегонеделания. Он всегда занят какой-нибудь несвоевременной ерундой и страшно злится, когда я его отрываю. Однако на этот раз он меня сразу признал и улыбнулся. По крайней мере, я думаю, что он улыбнулся, потому что черты его лица рассмотреть

трудно, а когда я однажды взял для этого лупу, он безмерно оскорбился.

— Отлично, — сказал он. — Такая перемена меня устраивает. Речь была отличная, и я уверен в успехе.

— Успехе в чем, о Великий? Ведь успех, несомненно, сопровождает все твои начинания.

(У него слабость к такой грубой лести. В этом смысле он как-то забавно напоминает вас.)

— Я прохожу на правительственный пост, — сказал он довольно. — Меня должны выбрать мырдовом.

— Могу ли я почтительно просить снизойти к моему невежеству и объяснить мне, что такое мырд?

— А, это такое мелкое домашнее животное, которое у нас разводят для забавы. У некоторых этих мырдов нет лицензии, и мырдов их отлавливают. У этих мелких зверьков звериная хитрость и отчаянная храбрость, и заниматься этим должен кто-то с интеллектом и мощью — любой другой провалит дело. Тут некоторые фыркали и говорили: «Азazel? Да его разве можно выбирать мырдовом?» — но я им покажу, что справлюсь. Так чем я могу тебе помочь?

Я объяснил ситуацию, и Азazel страшно удивился:

— Ты говоришь, что в твоём ничтожном мире особь не может определить, соответствует ли объективной истине утверждение, сделанное другой особью?

— У нас есть такое устройство, называется «детектор лжи», — объяснил я. — Он измеряет кровяное давление, электрическую проводимость кожи и тому подобное. Он может определить ложь, но с тем же успехом определяет нервозность и напряжение, принимая их за ложь.

— Это понятно, но ведь есть же тонкие параметры функционирования желез, свойственные любой особи, по которым всегда можно определить ложь — или это вам неизвестно?

Я уклонился от этого вопроса.

— Есть ли способ дать возможность детективу нулевого класса Робинсону определять эти параметры?

— Без ваших громоздких машин? Только средствами собственного разума?

— Да.

— Ты должен понять, что ты просишь меня **воздействовать** на разум особи твоего вида. Разум большой, но крайне примитивный.

— Я это понимаю.

— Ладно, я попробую. Ты должен отнести меня к нему или привести его сюда, чтобы я мог его исследовать.

— Конечно.

И так и было сделано.

Вандевантер пришел ко мне через месяц с изумленным выражением лица.

— Дядя Джордж, — сказал он, — со мной произошла необычайнейшая вещь. Я допрашивал молодого человека, подозреваемого в ограблении винного магазина. Он как раз рассказывал мне подробности, как он проходил мимо магазина, глубоко задумавшись о своей бедной матушке, что страдала от страшной головной боли после полубутылки джина. Он зашел в магазин проконсультироваться, разумно ли пить джин сразу после такого же количества рома, как вдруг владелец без всякого видимого повода сунул ему в руку пистолет и начал запихивать к нему в карманы содержимое кассы — а молодой человек изумлялся и брал, — и как раз в эту минуту вошел полисмен. Молодой человек предполагал, что владелец хотел как-то расплатиться за страдания, причиненные его (владельца) товаром его (молодого человека) бедной матушке. Вот он мне это рассказывает, а мной вдруг овладевает странное чувство, что он — э-э — выдумывает.

— В самом деле?

— Да. Очень забавное чувство. — Вандевантер понизил голос до шепота. — Мне каким-то образом стало известно не только то, что молодой человек вошел в магазин уже с пистолетом, но и то, что у его матушки вообще не болела голова. Вы можете себе представить, чтобы кто-то плел небылицы о *родной матери*?

Тщательное исследование показало, что Вандевантер был прав во всех отношениях. Молодой человек действительно говорил неправду о родной матери.

С этого момента способности Вандевантера неуклонно росли. За месяц он превратился в искусную, проницательную, безжалостную машину обнаружения лжи.

Весь департамент с возрастающей заинтересованностью наблюдал, как одна за другой проваливались попытки подозреваемых обвести Вандевантера вокруг пальца. Ни одна история о глубокой погруженности в молитву и чисто машинальном вскрытии при этом несчастного сейфа не могла выдержать его беспощадной логики допроса. Адвокаты, инвестировавшие доверенные им деньги сирот в обновление собственных офисов — совершенно случайно, по ошибке, — быстро выводились на чистую воду. Бухгалтеры, по недосмотру вычитавшие номер телефона из графы «налог к уплате», ловились на собственных противоречиях. Торговцы наркотиками, только что подобравшие пятикилограммовые пакеты с героином в ближайшем кафе и искренне принимавшие его за сахар, сдавались под напором неопровержимых аргументов.

Вандевантер Победоносный — так называли его теперь, и даже сам комиссар под аплодисменты всего отделения вручил ему настоящий ключ от уборной, не говоря уже о том, что его офис перенесли в начало коридора.

Я уже поздравлял себя с тем, что все отлично и что вскоре Вандевантер, убедившись в своем успехе, женится на Минерве Шлуп, как вдруг явилась сама Минерва.

— О дядя Джордж, — прошептала она с ужасом, покачивая всем своим упругим телом и падая ко мне на грудь. От страха она была на грани истерики.

Я подхватил ее, прижал к себе и минут пять-шесть выбирал стул, чтобы усадить ее поудобнее.

— Что случилось, моя милая? — спросил я, медленно сгружая ее с себя и оправляя на ней одежду на случай, если бы в ней был беспорядок.

— Дядя Джордж, — сказала она, и в ее красивых глазах показались слезы. — Вандевантер.

— Я надеюсь, он не шокировал тебя непристойными или неуместными предложениями?

— О нет, дядя Джордж. Он слишком хорошо воспитан, чтобы делать такие вещи до свадьбы, хотя я ему

осторожно объяснила, что вполне понимаю, какое влияние оказывает на поведение молодых людей гормональная сфера, и что я вполне готова простить его, если он не сможет этому влиянию противостоять. Но он держит себя под контролем.

— Так в чем же дело, Минерва?

— Ах, дядя Джордж, он расторг нашу помолвку.

— Это невероятно. Нет людей, которые друг другу подходили бы больше. Почему?

— Он сказал, что я... что я из тех женщин, которые говорят... говорят не то, что есть.

Мои губы невольно произнесли:

— Лгунья?

Она кивнула:

— Это мерзкое слово не слетело с его губ, но именно это он имел в виду. Только сегодня утром он смотрел на меня взглядом тающего обожателя и спрашивал: «Любимая, всегда ли ты была мне верна?» И я ответила, как всегда: «Как верен солнцу луч его, как верен розе лепесток ее». И тут у него глаза сузились и взгляд их полоснул меня как нож. Он сказал: «Так. Твои слова не соответствуют действительности. Ты меня дурачишь». Меня как будто ударили по голове. Я спросила: «Вандевантер, милый, что ты говоришь?» Он ответил: «То, что ты слышишь. Я в тебе ошибался, и мы должны расстаться навеки». И ушел. Что же мне делать? Дядя Джордж, что мне теперь делать? Где мне найти другого такого перспективного жениха?

Я задумчиво сказала:

— Вандевантер обычно не ошибается в таких вещах — по крайней мере последние месяца полтора. Ты бывала ему неверна?

У нее на щеках вспыхнул застенчивый румянец.

— Не по-настоящему.

— Насколько по-ненастоящему?

— Два-три года тому назад, когда я была всего лишь неопытной семнадцатилетней девушкой, я целовалась с одним молодым человеком. Я его крепко держала, но только чтобы он не убежал, а не потому, что он мне сколько-нибудь нравился.

— Понимаю.

— Это был не очень приятный опыт. Не очень. И когда я познакомилась с Вандевантером, я удивилась, насколько приятнее целоваться с ним, чем с тем, другим, раньше. Ну, и я, конечно, захотела проверить, что это так и есть. И при наших с Вандевантером отношениях я иногда — только в чисто научных целях, дядя Джордж, — целовалась с другими, чтобы еще раз убедиться, как ни один из них сравниться не может с моим Вандевантером. Я могу вас заверить, дядя Джордж, что я им предоставляла возможность для поцелуев любого стиля, не говоря уже о пожатиях и объятиях, — и ни один из них, *никогда*, ни в чем не мог сравниться с Вандевантером. А теперь он говорит — я была неверна.

— Это смешно, — сказал я. — Дитя мое, с тобой поступили нечестно. — Я поцеловал ее раза четыре или пять и спросил: — Видишь, ведь эти поцелуи совсем не так тебя радуют, как поцелуи Вандевантера?

— Давайте посмотрим, — сказала она и горячо поцеловала меня еще четыре или пять раз с величайшей искусностью. — Конечно, нет! — заявила она.

— Мне надо с ним увидеться, — сказал я.

Тем же вечером я пришел к нему на квартиру. Он задумчиво сидел у себя в гостиной, заряжая и разряжая револьвер.

— Вы, — сказал я, — несомненно, замышляете самоубийство.

— Никогда, — ответил он с деланным смехом. — С какой стати? Из-за потери фальшивого бриллианта? Из-за лгуньи? Я с ней отлично разобрался, скажу я вам.

— И скажете неправду. Минерва всегда была вам верна. Ни ее руки, ни ее губы, ни ее тело никогда не соприкасались ни с чьими руками, ни с чьими губами, ни с чьим телом, кроме ваших рук, ваших губ, вашего тела.

— Я знаю, что это не так, — сказал Вандевантер.

— А я вам говорю, что это *так*, — настаивал я. — Я говорил с этой плачущей девой долго, и она рассказала мне самый страшный секрет своей жизни. Однажды она целовалась с молодым человеком. Ей было пять лет, а ему шесть, и с тех самых пор ее снедает неумо-

лимое раскаяние за это мгновение любовного безумия. Никогда с тех пор не повторилась подобная недостойная сцена, и это мучительное воспоминание вы и обнаружили.

— Вы говорите правду, дядя Джордж?

— Посмотрите на меня своим пронизательным и безошибочным взглядом, я повторю вам слово за словом, а потом вы скажете мне, правду ли я говорю.

Я повторил весь рассказ, и он удивленно сказал:

— Дядя Джордж, вы говорите точную и буквальную правду. Как вы думаете, Минерва когда-нибудь меня простит?

— Конечно, — сказал я. — Покайтесь перед ней и продолжайте упражнять вашу пронизательность на всех отбросах любой винной лавки, любого совета директоров и любого департамента, но никогда, слышите — никогда — не обращайтесь свои испытующие глаза на любимую вами женщину. Совершенная любовь — это совершенное доверие, и вы должны верить ей — совершенно.

— Я буду, я буду! — закричал он.

И с тех пор так оно и идет. Он теперь самый известный детектив во всей полиции, его повысили до детектива половинного класса и дали офис в цоколе рядом с прачечной. Он женился на Минерве, и они живут в идеальном согласии.

Она наслаждается поцелуями Вандевантера снова и снова до полного экстаза. Бывает, что она нарочно проводит целую ночь с кем-нибудь, кто кажется перспективным объектом исследования, но результат всегда один и тот же. Вандевантер лучше всех. У нее два сына, и один из них немного похож на Вандевантера.

И вот чего, старина, стоят все ваши слова о том, что наши с Азазелом труды всегда приносят несчастье.

— Вы знаете, — начал я, — если верить вашему рассказу, то вы лгали, когда говорили Вандевантеру, что Минерва никогда не касалась другого мужчины.

— Я лгал во спасение невинной юной девы.

— Но как же Вандевантер не распознал этой лжи?

— Я полагаю, — сказал Джордж, стирая с губ сливочный сыр, — что здесь все дело в моем неколебимом внешнем достоинстве.

— А у меня другая теория, — сказал я. — Я полагаю, что ни вы, ни ваше кровяное давление, ни электропроводность вашей кожи, ни тончайшие гормональные реакции уже не могут сами различить разницу между тем, что правдиво, и тем, что нет, а потому никто не может этого сделать на основании данных, полученных от изучения вас как объекта.

— Это даже не смешно, — сказал Джордж.

ВЕСЕННИЕ БИТВЫ

Мы с Джорджем глядели на другой берег реки, где раскинулся студенческий городок, и Джордж, наевшийся за мой счет до отвала, впал в слезливые воспоминания.

— Ах, студенческие годы, студенческие годы! — со стоном выдохнул он. — Разве есть в жизни хоть что-нибудь, что может вас заменить?

Я в удивлении уставился на него:

— Только не говорите мне, что вы учились в колледже!

Он смерил меня взглядом:

— Да понимаете ли вы, что я был величайшим из президентов, кто когда-либо возглавлял братство Фи Фо Фум?

— Но как вы заплатили за учебу?

— Стипендии, пособия. Меня ими просто завалили после того, как я показал свою доблесть в битвах за столом, когда мы праздновали наши победы в женских общежитиях. И еще — состоятельный дядя.

— Я не знал, что у вас был состоятельный дядя, Джордж.

— После тех шести лет, что мне понадобились на освоение программы для отстающих, — уже, увы, не

было. Если и был, то не в таких количествах. Все деньги, что у него еще оставались, он оставил приюту нуждающихся кошек, сделав в своем завещании несколько таких замечаний на мой счет, что мне не хочется их повторять. И началась у меня жизнь печальная и безрадостная.

— Когда-нибудь, — сказал я, — в очень отдаленном будущем, вы мне расскажете о ней, не опуская никаких подробностей.

— Однако, — продолжал Джордж, — память о светлых студенческих годах озаряет время моей жизни золотым и жемчужным сиянием. Пару лет назад мои воспоминания вспыхнули ярче, когда мне пришлось снова навестить кампус университета Тэйта.

— Они позвали вас обратно? — спросил я, почти успешно пытаясь скрыть ноту недоверия в голосе.

— Я думаю, они собирались это сделать, — сказал Джордж, — но на самом деле я вернулся по просьбе моего дорогого друга, товарища студенческих лет, старшины Антиоха Шнелля.

Так как вы, я вижу, заинтересовались этой историей (так говорил Джордж), то давайте я вам расскажу про старину Антиоха Шнелля. В старое время мы с ним были неразлучными приятелями, с моим верным Ахиляксом (хоть я и не знаю, зачем рассыпаюсь в античных аллюзиях перед такой, как вы, деревенщиной). Даже и теперь, хотя он состарился куда заметнее меня, я вспомнил, когда его увидел, как мы гонялись за золотыми рыбками, набивались на пари в телефонные будки и умели одним поворотом руки стягивать трусики со счастливо визжащих однокурсниц с ямочками на щеках. Короче говоря, наслаждались всеми благами образования. Поэтому, когда Антиох позвал меня посетить его по вопросу чрезвычайной важности, я приехал немедленно.

— Джордж, — сказал он. — Дело касается моего сына.

— Молодого Артаксеркса Шнелля?

— Именно так. Он сейчас второкурсник университета Тэйта, и с ним там не все в порядке.

Я прищурился:

— Он связался с дурной компанией? Залез в долги? Попался на удочку потрепанной официантке из пивного бара?

— Хуже, Джордж! Гораздо хуже! — с трудом говорил Антиох Шнелль. — Он мне сам никогда этого не говорил — духу не хватило, — но ко мне пришло возмущенное письмо от его однокурсника, написанное строго конфиденциально. Старый мой друг, Джордж, мой сын — а, ладно! Назову вещи своими именами. Джордж, он изучает вычислительную математику!

— Изучает вычис...

Я был не в силах это повторить.

Старый Антиох Шнелль безнадежно и горестно кивнул:

— И еще политологию. Он ходит на занятия, и его видели с книгой.

— О Боже! — только и мог я произнести.

— Я не могу поверить такому про моего сына, Джордж. Если бы об этом услышала его мать, ее бы это убило. Она очень чувствительна, Джордж, и у нее слабое сердце. Я заклинаю тебя старой дружбой, съезди в университет Тэйта и выясни, в чем дело. Если его заманили стипендией — приведи его в чувство как-нибудь — не для меня, а ради его бедной матушки и его самого.

Я, со слезами на глазах, схватил его за руку.

— Да не остановит меня ничто, — произнес я. — Никакая сила земная не свернет меня с пути к святой цели. Я для нее потрачу последнюю каплю крови своей — кстати, о тратах: выпиши-ка мне чек, старина.

— Чек? — дрогнувшим голосом переспросил Антиох Шнелль, всю жизнь бывший чемпионом по скорости застегивания бумажника.

— Отель, — сказал я, — еда, питье, расходы на представительство — я имею в виду чаевые — инфляция и накладные расходы. Слушай, старик, это все-таки твой сын, а не мой.

В конце концов я получил свой чек и сразу по прибытии в университет Тэйта, почти сразу, организовал себе встречу с юным Артаксерксом. Я только и успел, что хорошо пообедать, отведать превосходного

бренди, как следует выспаться, со вкусом, не спеша, позавтракать — после чего сразу зашел к нему в комнату.

Это был шок. Полки вдоль каждой стены, и на них не безделушки для красоты, не бутылки с питательной смесью, наполненные искусством винодела, не фотографии победительных дам, где-то забывших свою одежду, но книги. Одна из них, бесстыдно раскрывшись, валялась прямо на столе, и он ее, листал, я уверен, как раз перед моим приходом. У него на пальце темнело подозрительное пятно, и он неуклюже пытался спрятать руку за спиной.

Но сам Артаксеркс был поражен еще больше. Он узнал во мне старого друга семьи. Мы девять лет не виделись, но эти годы не изменили моего благородного облика. Артаксеркс же девять лет назад был ничем не примечательным мальчишкой десяти лет, а теперь его было не узнать — он стал ничем не примечательным девятнадцатилетним юношей. Он еле-еле дотягивал до пяти футов пяти дюймов, носил большие круглые очки и имел отрешенный вид.

— Сколько ты вешишь? — внезапно для себя самого спросил я.

— Девяносто семь фунтов, — отвечал он.

Я смотрел на него с чувством сердечной жалости. Девяносто семь фунтов очкастого хляка. Лучшей мишени для брезгливости и омерзения просто не придумать.

Но сердце мое смягчилось, и я подумал: «Бедный, бедный мальчик! С таким телом можно ли заниматься чем бы то ни было, что дает хорошую основу для образования? Футбол? Баскетбол? Бокс? Борьба? Драка? Там, где другие юноши кричат: “Сарай наш, и теперь делаем по-своему! Мы теперь музыку заказываем!” — что мог сделать он? С такими легкими он мог разве что пискнуть фальцетом!»

Естественно, что он против воли был вынужден скатиться к позору. Я мягко, почти нежно, спросил:

— Артаксеркс, мальчик мой, это правда, что ты изучаешь вычислительную математику и политологию?

Он кивнул:

— И еще антропологию.

Я проглотил восклицание отвращения:

— И правда, что ты ходишь на занятия?

— Да, сэр, простите меня. И в конце года, боюсь, мне не избежать похвального листа.

У него в уголке глаза задрожала слеза, и по этому признаку я с надеждой отметил, что он хотя бы сознает глубину своего падения.

Я сказал:

— Дитя мое, не можешь ли ты даже теперь отвернуться от порока и возвратиться к чистой и безмятежной жизни студента?

— Не могу, — он всхлипнул. — Я слишком далеко зашел. Мне уже никто не поможет.

Я попытался ухватиться за соломинку.

— Нет ли в этом колледже достойной женщины, что могла бы взять тебя в свои руки? Любовь достойной женщины в былые времена творила чудеса и может сотворить их снова.

У него загорелись глаза. Ясно было, что я нащупал нерв.

— Филомела Крибб, — выдохнул он. — Она солнце, луна и звезды, озаряющие лучами гладь вод души моей.

— Ага! — сказал я. За этими сдержанными словами я ощутил скрытое чувство. — Она об этом знает?

— Как я могу открыться ей? Да вес ее презренья меня раздавит.

— А если тебе бросить учить вычислительную математику, чтобы не быть столь презренным?

Он покачал головой:

— Я слишком слабovolен.

Оставив его в покое, я решил разыскать Филомелу Крибб.

Это не заняло много времени. В учебной части я узнал, что она усиленно занимается в команде болельщиков-разрядников с уклоном в хоровую декламацию. Я нашел ее в студии подготовки болельщиков.

Терпеливо выждав, когда закончится ритмика по топанию ногами и мелодика ободрительных визгов, я попросил показать мне Филомелу. Она оказалась блондинкой среднего роста, дышала здоровьем и испариной, а при взгляде на ее фигуру у меня губы сами собой сложились сердечком. Да, в душе Артаксеркса под

толстым слоем школярских мерзостей еще тлели искорки тяги к праведной жизни студента.

Выйдя из душа и нацепив свою одежду цветов колледжа, она подошла ко мне и была свежа, как росистая лужайка.

Я сразу перешел к сути дела:

— Молодой Артаксеркс считает вас астрономической иллюминацией своей жизни.

Мне показалось, что у нее как-то смягчился взгляд.

— Бедняга Артаксеркс. Он так нуждается в помощи.

— Хорошая женщина могла бы ему ее предоставить, — указал я.

— Я знаю, — согласилась она, — и я хорошая — то есть мне так говорили, — она очаровательно покраснела. — Но что я могу сделать? Я же не могу идти против биологии. Билл Мордуган его все время невероятно унижает. Он ему строит рожи на людях, толкает к стенке, выбивает из рук эти глупые книжки, и все это под злобный хохот зрителей. Вы же знаете, как это бывает, когда действует воздух пробуждающейся весны.

— О да, — сказал я с чувством, вспоминая счастливые дни, когда много, много раз приходилось мне дергать пальто тех, кто сражался. — Весенние битвы!

Филомела вздохнула:

— Я долго, долго надеялась, что Артаксеркс восстанет против Билла Мордугана — может быть, ему помогла бы скамеечка под ноги, потому что Мордуган ростом в шесть футов шесть дюймов, но Артаксеркс почему-то не хочет. Вся эта учеба, — ее передернуло, — ослабляет моральный дух.

— Несомненно. Но если бы вы помогли ему вылезти из этого болота...

— Сэр, я знаю, что он в глубине души добрый и глубокомысленный юноша, и если бы я могла, я бы помогла ему. Но генетика моего тела доминирует, а она тянет меня на сторону Билла. Билл — красивый, мускулистый и победительный, а против этих качеств не может устоять сердце капитана болельщиц.

— А если бы Артаксеркс унизил Мордугана?

— Капитан болельщиц, — сказала она, гордо выпрямляясь и демонстрируя удивительно плавные округлости своего фронтального вида, — следует велению

своего сердца, а оно неизбежно покинет униженного и перейдет на сторону унижателя.

И я понимал, что эти простые слова честная девушка произнесла от всей души.

Моя цель была проста. Если Артаксеркс не посмотрит на мизерную разницу в тринадцать дюймов и сто десять фунтов и посадит Билла Мордугана в лужу (в буквальном смысле), Филомела достанется Артаксерксу и обратит его в настоящего мужчину, который твердо идет по жизни к почтенной старости с кружкой пива и футболом по телевизору. Ясно, что это была работа для Азазела.

Не помню, рассказывал ли я вам об Азазеле. Это существо ростом два сантиметра из какого-то другого времени и места, которое я могу вызвать тайными заклинаниями, известными мне одному.

Азазел обладает возможностями, намного превосходящими наши, но ему недостает умения жить в обществе, потому что он неимоверно эгоистичен и свои мелкие делишки считает выше моих важных проблем.

В этот раз он явился, лежа на боку, с закрытыми глазами, нежно поглаживая лустой воздух перед собой плавными движениями кисточки хвоста.

— О Могучий! — позвал я его, потому что он всегда настаивал именно на таком обращении.

Он открыл глаза и издал режущий свист на пределе слышимости. Очень неприятно.

— Где Астарот? — вопил он. — Где моя прекрасная Астарот? Она же только что была в моих объятиях.

Тут он заметил меня и произнес, скрипя зубками:

— Так это ты! Да понимаешь ли ты, что позвал меня как раз тогда, когда Астарот... Ведь теперь ни здесь, ни там не будет такой минуты!

— Нигде в мире, — согласился я. — Но подумай, ведь когда ты мне немножко поможешь, ты сможешь вернуться в свой собственный континуум через полминуты после того, как ты его оставил. Астарот к тому времени забеспокоится от того, что тебя нет, но еще не рассердится. А твое появление наполнит ее радостью, и все, что было, может повториться еще раз.

Азазел секунду подумал, и затем сказал тем тоном, который следовало трактовать как благодарность:

— У тебя умишко маленький, примитивный червь, но изобретательный и изворотливый и может иногда пригодиться даже нам, обладающим мощным разумом, но от природы простым и прямодушным. Какая помощь тебе нужна?

Я объяснил существо дела относительно Артаксеркса, Азazel подумал и сказал:

— Я мог бы увеличить мощь его мускулов.

Я покачал головой:

— Дело не только в силе. Гораздо важнее искусство и храбрость, а их ему здорово не хватает.

Азazel возмущенно фыркнул:

— Так мне что, ишачить над его моральными качествами, пока у меня хвост не отсохнет?

— А ты можешь предложить другое?

— Конечно, могу. Зря я, что ли, настолько превосхожу тебя? Если твой друг-слабак не может непосредственно поразить врага, почему бы не попробовать эффективное уклонение?

— Ты имеешь в виду — быстро удрать? — Я покачал головой. — Я не думаю, что это произведет хорошее впечатление.

— Я не говорил о бегстве. Я говорил об эффективном уклонении. Для этого придется только сильно сократить время реакции, что делается достаточно просто путем резкой концентрации сил. А чтобы он не тратил силы зря, это сокращение будет вызываться выбросом адреналина. Это будет оперативно — другими словами, будет включаться только в состоянии страха, ярости или другого сильного чувства. Мне только надо его увидеть, и я это сделаю.

— Это просто, — сказал я.

Через четверть часа я был уже в комнате Артаксеркса и дал Азазелу возможность понаблюдать за ним из моего нагрудного кармана. Азazel поработал с его вегетативной нервной системой с близкого расстояния, а потом вернулся к своей Астарот и к тому сомнительному занятию (каково бы оно ни было), которому собирался предаться.

В качестве следующего шага я, тщательно подделываясь под студента, мелом и печатными буквами, написал письмо и подsunул его под дверь Билла Мордугана. Долго ждать не пришлось. Билл повесил на доске

объявлений вызов, в котором Артаксерксу предлагалось встретиться с ним в баре «Похмелье чревоугодника», и Артаксеркс знал, что отказаться будет еще хуже.

Мы с Филомелой тоже пришли и держались с краю толпы студентов, оживленно предвкушавших зрелище. Артаксеркс, стуча зубами, время от времени заглядывал в принесенную с собой толстую книгу с названием «Справочник по физике и химии». Даже в эту решающую минуту он был не в силах оторваться от пагубного пристрастия.

Билл Мордуган, во весь рост, в тщательно порванной футболке, под которой перекачивались наводящие ужас мускулы, сказал:

— Шнелль, мне довелось узнать, что ты распространяешь обо мне гнусную ложь. Я играю честно, и потому перед тем, как сровнять тебя с асфальтом, я тебе дам шанс оправдаться. Ты говорил кому-нибудь, что видел, как я читал книгу?

— Я однажды видел тебя с комиксами, — сказал Артаксеркс, — но ты их держал вверх ногами, и я не думал поэтому, что ты ее читал, и никому такого не говорил.

— Ты говорил кому-нибудь, что я боюсь девочек и что у меня насчет них больше разговоров, чем дела?

— Я слышал, как однажды это говорили какие-то девушки, но никогда никому не повторял, Билл.

Мордуган сделал паузу. Худшее было впереди.

— Окей, Шнелль. Ты когда-нибудь говорил, что я — кабинетный зубрила?

— Нет, сэр! Что я на самом деле говорил, так это то, что вы — абсолютно необразованный.

— Итак, ты все отрицаешь?

— Решительно.

— И признаешь, что это все вранье?

— Во всеуслышание.

— И что ты — мерзкий лгун, трусливый врун?

— Безнадежный.

— Тогда, — произнес сквозь стиснутые зубы Мордуган, — я тебя не убью. Я только сломаю тебе парочку-другую твоих куриных ребрышек.

— Весенние битвы! — радостно вопили студенты, окружая кольцом двух бойцов.

— Будет честная драка! — объявил Билл, при всей своей жестокости, не отступающий от кодекса чести колледжа. — Никто не должен помогать мне, и никто не должен помогать ему. Деремся один на один!

— Что может быть честнее? — отозвался громкий хор публики.

— Сними очки, Шнелль, — сказал Мордуган.

— Нет! — храбро ответил Артаксеркс, а в это время кто-то из зрителей сорвал у него очки с носа. — Эй, — вскрикнул Артаксеркс, — ты помогаешь Биллу!

— Ничего подобного. Я помогаю тебе, — ответил студент, держащий в руках очки.

— Но я же не могу разглядеть Мордугана, — сказал Артаксеркс.

— Не волнуйся, — ответил Билл, — ты меня отчетливо почувствуешь.

И не тратя больше слов, залепил молотоподобный кулак Артаксерксу в челюсть.

Кулак просвистел в воздухе, и Билл провернулся на пол-оборота, в то время как Артаксеркс чуть отшатнулся назад, и кулак прошел на четверть дюйма в стороне.

Мордуган выглядел озадаченно. Артаксеркс выглядел ошеломленно.

— Ладно, — сказал Билл. — Теперь получай.

Он рванулся вперед, и его руки заходили, как шатуны паровой машины. Артаксеркс танцевал на месте из стороны в сторону с крайне недоумевающим лицом, и я уже боялся, что он может простудиться от ветра, поднятого руками Мордугана.

Билл явно устал. Мощная грудная клетка вздымалась и опадала, как кузнечные меха.

— Ты что ж это делаешь? — спросил он с обиженным недоумением.

Но тут Артаксеркс осознал, что он почему-то неуязвим. И он сделал шаг вперед, поднял руку с книгой и влепил Мордугану звучную пощечину, сказав:

— Получай, зубрила!

Все как один зрители резко выдохнули, а Билл Мордуган как с цепи сорвался. Была видна только мощная машущая, бьющая, вертящаяся машина, а где-то в середине этого вихря — неуязвимая танцующая цель. Но прошло несколько бесконечных минут, и в кругу стоял Мордуган, шатаясь от усталости и ловя ртом

воздух, а по его лицу текли ручьи пота. Перед ним стоял Артаксеркс, свежий и невредимый. Он даже книгу не бросил.

И этой книгой он сильно двинул Билла в солнечное сплетение, а когда Билл сложился пополам, обрушил ту же книгу ему на голову еще сильнее. Книга сильно пострадала, но зато Билл впал в счастливое беспамятство. Артаксеркс близоруко огляделся и сказал:

— Тот мерзавец, что взял мои очки, пусть немедленно их вернет.

— Так точно, мистер Шнелль, сэр! — отозвался студент, который взял очки. У него на лице застыла улыбка, как на рекламе зубной пасты. — Вот они, сэр! Я их просто протер, сэр!

— Отлично. А теперь брызни отсюда. И ко всем прочим зубрилам тоже относится. Брысь!

Они выходили не по одному и не по порядку, а довольно сильно толпясь и мешая друг другу, хотя были едины в желании — оказаться где-нибудь в другом месте. Остались только Филомела и я.

Взгляд Артаксеркса упал на взволнованно дышащую девушку. Подняв бровь, он слегка махнул ей мизинцем. Она скромно подошла к нему, он повернулся на каблуках и вышел, а она так же скромно пошла вслед за ним.

Все кончилось хорошо. Артаксеркс поверил в себя и для самоуважения больше не нуждался в книгах. Все свое время он проводил на ринге и стал чемпионом колледжа. Молодые студентки его боготворили, но он в конце концов женился на Филомеле.

Его успехи в боксе создали ему в колледже такую репутацию, что он мог выбрать себе должность заместителя директора в большой компании. Его острый ум всегда чуял, где можно добыть денежки, и потому он сумел добыть от Пентагона концессию на производство сидений для туалета и еще добавил к ней стоимость шайб, которые покупал в скобяных лавках и продавал правительству.

Оказалось даже, что учеба в ранние зубрильские дни пошла ему на пользу. Математика помогает подсчитывать прибыли, политическая экономия учит вычитать из налогов суммы, не учтенные налоговой инспекцией, а

антропология весьма полезна для контактов с представителями исполнительной власти.

Я глядел на Джорджа с недоверием:

— Получается, что в этом случае ваше с Азазелом вмешательство пошло *на пользу* какому-то бедняге?

— Разумеется, — ответил Джордж.

— Но это значит, что у вас есть неимоверно богатый знакомый, обязанный вам всем, что у него есть?

— Очень точное описание ситуации, старина.

— Но ведь вы тогда, по всей видимости, могли бы хорошо у него перехватить.

И тут Джордж насупил брови.

— Вы в самом деле так думаете? Вы думаете, что на свете существует такая вещь, как благодарность? Вы думаете, что есть такие индивидуумы, которые, узнав, что их сверхъестественные способности к уклонению исходят от тяжких трудов старого друга, прольют на него дождь благодеяний в награду?

— Значит, Артаксеркс этого не сделал?

— Вы правы. Когда я однажды к нему подошел с просьбой инвестировать десять тысяч долларов в одно мое предприятие, которое должно было дать стократную прибыль — паршивых десять тысяч долларов я попросил у него, который их зарабатывает каждый раз, когда продает армии десяток дешевых болтов и гаек, — так он велел лакею меня вышвырнуть.

— Но почему, Джордж? Вы не узнали почему?

— Случайно узнал. Видите ли, старина, он предпринимает действия по уклонению при повышенном выделении адреналина, как только возникает сильное чувство, такое, как страх или ярость. Так говорил Азазел.

— Ну так что?

— И потому, когда Филомела под влиянием рассмотрения семейных финансов чувствует неотвратимый наплыв либидо, она приближается к Артаксерксу, у которого, в свою очередь, под влиянием ответной страсти выделяется адреналин. И когда она подходит к нему и тянется его обнять со всем девичьим энтузиазмом и самозабвением...

— Так что же?

— Он уклоняется.

— А!

— Ей удается его коснуться не больше, чем Биллу Моргугану. Чем дольше это длится, тем сильнее его жажда, тем больше адреналина он выделяет при одном виде ее — и тем успешнее он от нее уклоняется. Конечно, она, в слезах отчаяния, все же может найти какое-то утешение вне дома, но стоит ему попробовать пуститься в приключения за тесными рамками семейной жизни, как ничего не выходит. Он уклоняется от любой молодой женщины, которая пытается к нему приблизиться — пусть даже с чисто деловыми целями. Артаксеркс живет в положении Тантала — желанное вечно доступно, но никогда не дается в руки.

Голос Джорджа поднялся до патетического возмущения:

— И из-за такого мелкого неудобства он вышвырнул меня из дому!

— Но вы могли бы, — сказал я, — с помощью Азазела снять прокля... то есть этот дар, которым вы пожелали его наградить.

— У Азазела сильное предубеждение против повторной работы с одним и тем же объектом — не знаю, почему. И к тому же зачем буду я оказывать дополнительные услуги человеку, который так неблагодарен за уже оказанные? Вот возьмем вас, для контраста! Допустим, вы, хотя и известны своей прижимистостью, иногда одалживаете мне пятерку — так я могу вас заверить, что я все такие вещи записываю на клочках бумаги, которые повсюду лежат у меня дома, и все же — я вам хоть когда-нибудь оказал услугу? Нет ведь? Так если вы мне помогаете без всякой услуги взамен, почему бы ему, получившему от меня любезность, мне не помочь?

Я это обдумал. Потом сказал:

— Слушайте, Джордж. Давайте я и дальше буду обходиться без услуг. У меня все в жизни хорошо. И для того чтобы подчеркнуть, что я не нуждаюсь ни в каких услугах, не одолжить ли мне вам десятку?

— Ладно, — сказал Джордж. — Если вы настаиваете.

ГАЛАТЕЯ

По каким-то непонятным никому, а особенно мне, причинам, я иногда делюсь с Джорджем своими самыми сокровенными чувствами. Поскольку Джордж обладает огромным и всеохватывающим даром сочувствия, полностью расходуемым на него самого, такое занятие бесполезно, но я все равно иногда это делаю.

Может быть, в этот момент мое чувство жалости к самому себе настолько меня переполняет, что ему нужен выход.

Мы тогда сидели после приличного обеда в ожидании клубничного пирога на Фазаньей аллее, и я сказал:

— Джордж, я так устал, я просто болен от того, насколько эти критики не понимают и не пытаются понять, что я делаю. Мне неинтересно, что делали бы они на моем месте. Ясно, что писать они не умеют, а то не тратили бы времени на критику. А если они хоть как-нибудь умеют писать, то цель всех их критических потуг — хоть как-то уязвить того, кто выше их. И вообще...

Но тут принесли клубничный пирог, и Джордж не преминул воспользоваться возможностью перехватить нить разговора, что он сделал бы в любом случае, даже если бы (страшно подумать!) пирог не принесли.

— Друг мой, — сказал Джордж, — пора бы вам научиться спокойно воспринимать превратности жизни. Говорите себе (и это будет правдой), что ваши ничтожные писания ничтожно мало влияют на мир, и уж тем более не имеет никаких последствий то, что скажут о них критики (если скажут вообще). Такие мысли доставляют большое облегчение и предотвращают развитие язвы желудка. И уж тем более вы могли бы воздержаться от подобных речей в моем присутствии, ибо могли бы понять, что моя работа гораздо весомее вашей, а удары критики гораздо разрушительнее.

— Вы хотите сказать, что вы тоже пишете? — сардонически спросил я, вгрызаясь в пирог.

— Отнюдь, — возразил Джордж, вгрызаясь в свой. — Моя работа гораздо важнее. Я — благодетель человечества, непризнанный, недооцененный благодетель человечества.

Готов был поклясться, что у него увлажнились глаза.

— Я не понимаю, — мягко сказал я, — как чье-нибудь мнение о вас может оказаться настолько низким, что его можно назвать недооценкой.

— Игнорируя эту издевку, поскольку от вас ничего другого не жду, я все же расскажу вам, что я думаю об этой красавице, Бузинушке Маггс.

— Бузинушке? — переспросил я с оттенком недоверия.

Бузинушка — это было ее имя (так говорил Джордж). Не знаю, почему родители так ее называли — может быть, она напоминала им некоторые нежные моменты их предшествующих отношений, а может быть, как полагала сама Бузинушка, они поддали малость бузиновой настойки, когда были заняты процессом, давшим ей жизнь. А иначе у нее был шанс и не появиться на свет.

В любом случае ее отец, который был моим старым другом, попросил меня быть ее крестным, и я не мог ему отказать. Естественно, что я относился к таким вещам серьезно и вполне ощущал возложенную на меня ответственность. В дальнейшем я всегда старался держаться как можно ближе к своим крестницам, осо-

бенно если они вырастали такими красивыми, как Бузинушка.

Когда ей исполнилось двадцать, умер ее отец, и она унаследовала приличную сумму, что, естественно, усилило ее привлекательность и красоту в глазах света. Я, как вы знаете, стою выше всей этой суеты вокруг такого мусора, как деньги, но я счел своим долгом защитить ее от охотников за приданым. Поэтому я взял себе за правило проводить с ней как можно больше времени и часто у нее обедал. В конце концов, она души не чаяла в своем дядюшке Джордже, и я никак не могу поставить это ей в минус.

Как оказалось, Бузинушка не слишком нуждалась в золотом яичке из семейного гнездышка, поскольку она стала скульптором и добилась признания. Художественная ценность ее работ не могла быть поставлена под сомнение хотя бы из-за их рыночной цены.

Я лично не вполне понимал ее творчество, поскольку мой художественный вкус весьма утончен, и я не мог слишком высоко оценивать работы, создаваемые для тех денежных мешков, которые могли себе позволить их покупать.

Помню, я как-то спросил ее, что представляет собой одна из ее скульптур.

— Вот, видишь, — сказала она, — на табличке написано: «Журавль в полете».

Изучив этот предмет, который был сделан из чистейшей бронзы, я спросил:

— Да, табличку я вижу. А где журавль?

— Да вот же он! — она ткнула в маленький заостренный конус, поднимавшийся из бесформенного бронзового основания.

Я внимательно рассмотрел конус и спросил:

— Это журавль?

— А что же еще, старая ты развалина! — она любила такие ласкательные прозвища. — Это острие длинного журавлиного клюва.

— Бузинушка, этого достаточно?

— Абсолютно! — твердо сказала Бузинушка. — Ведь не журавля представляет эта работа, а вызывает в уме зрителя абстрактное понятие журавлиности.

— А, — сказал я, несколько сбитый с толку. — Теперь, когда ты объяснила, действительно вызывает. Но ведь написано, что журавль в полете. Откуда это следует?

— Ах ты дурулом недоделанный! — воскликнула она. — Ты вот эту аморфную конструкцию бронзы видишь?

— Вижу, — ответил я. — Она просто бросается в глаза.

— Так не станешь же ты отрицать, что воздух, как и любой газ, если на то пошло, является аморфной массой. Так вот, эта аморфная бронза есть кристально ясное отражение атмосферы как абстрактного понятия. А вот здесь, на передней поверхности бронзы — тонкая и абсолютно горизонтальная линия.

— Вижу. Когда ты говоришь, все так ясно.

— Это абстрактное понятие полета через атмосферу.

— Замечательно, — восхитился я. — Просто глаза открылись от твоего объяснения. И сколько ты за это получишь?

— А, — она махнула рукой, как будто не желая говорить о таких пустяках. — Может быть, тысяч десять долларов. Это же такая простая и очевидная работа, что мне неловко запрашивать больше. Это так, между прочим. Не то что *вот это*.

Она показала на барельеф на стене, составленный из джутовых мешков и кусков картона, размещенных вокруг старой взбивалки для яиц, вымазанной чем-то напоминающим засохший желток.

Я взглянул с уважением:

— Это, разумеется, бесценно!

— Я так полагаю, — ответила она. — Это тебе не новая взбивалка — на ней вековая патины. Я эту взбивалку на свалке ~~нашла~~.

Потом, не могу до сих пор взять в толк почему, у нее задрожала нижняя губа, и она всхлипнула:

— О дядя Джордж!

Я сразу встревожился и, схватив ее красивую, сильную руку скульптора, с чувством пожал.

— В чем дело, дитя мое?

— Джордж, если бы ты знал, как мне надоело лепить эти простенькие абстракции только потому, что

публике они нравятся. — Она прижала костяшки пальцев ко лбу и трагическим голосом сказала: — Как бы я хотела делать то, что мне на самом деле хочется, чего требует мое сердце художника.

— А что именно, Бузинушка?

— Я хочу экспериментировать. Я хочу искать новые направления. Я хочу пробовать неиспробованное, изведать неизведанное, исполнить неисполнимое.

— Так кто же мешает тебе, дитя мое? Ты достаточно богата, чтобы это себе позволить.

И тут она улынулась, и ее лицо засияло красотой.

— Спасибо на добром слове, дядя Джордж. На самом деле я себе *действительно* это позволяю — время от времени. У меня есть потайная комната, в которой я храню то, что может понять только вкус настоящего художника. «Тот вкус, что привычен к черной икре», — закончила она цитатой.

— Мне можно на них посмотреть?

— Конечно, дорогой мой дядя. После того как ты меня так морально поддержал, разве я могу тебе отказать?

Она подняла тяжелую гардину, за которой была еле заметная потайная дверь, почти сливавшаяся со стеной. Девушка нажала кнопку, и дверь сама собой открылась. Мы вошли, дверь за нами закрылась, и вся комната осветилась ярчайшим светом.

Почти сразу я заметил скульптуру журавля, выполненную из какого-то благородного камня. Каждое перышко было на месте, в глазах светилась жизнь, клюв приоткрыт и крылья полуприподняты. Казалось, он сейчас взвоется в воздух.

— О Боже мой, Бузинушка! — вскрикнул я. — Никогда ничего подобного не видел!

— Тебе нравится? Я это называю «фотографическое искусство», и мне оно кажется красивым. Конечно, это чистый эксперимент, и критики вместе с публикой уржались бы и уфыркались, но не поняли бы, что я делаю. Они уважают только простые абстракции, чисто поверхностные и сразу понятные каждому, не то что это, для тех утонченных натур, кто может смотреть на произведение искусства и чувствовать, как его душу медленно озаряет понимание.

После этого разговора мне была предоставлена привилегия время от времени заходить в секретную комнату и созерцать те экзотические формы, что выходили из-под ее сильных пальцев и талантливой стеки. Я глубоко восхищался женской головкой, которая выглядела точь-в-точь как сама Бузинушка.

— Я назвала ее «Зеркало». Она отражает мою душу, ты с этим согласен?

Я с энтузиазмом соглашался.

Думаю, что благодаря этому она наконец доверила мне свой самый важный секрет.

Как-то я ей сказал:

— Бузинушка, у тебя есть... — я замешкался в поисках эвфемизма, — приятель?

— Приятели? Ха! — сказала она. — Они тут стадами ходят, эти кандидаты в приятели, но на них даже смотреть не хочется. Я же художник! И у меня в сердце, в уме и в душе есть идеальный образ настоящей мужской красоты, которая никогда не может повториться во плоти и крови и завоевать меня. Этому образу, и только ему, отдано мое сердце.

— Отдано твое сердце, дитя мое? — мягко повторил я. — Значит, ты его встретила?

— Встретила... Пойдем, дядя Джордж, я тебе его покажу. Ты узнаешь мою самую большую тайну.

Мы вернулись в комнату фотографического искусства, и за еще одной тяжелой гардиной открылся альков, которого я раньше не видел. Там стояла статуя обнаженного мужчины ростом шесть футов, и она была совершенна в каждом миллиметре.

Бузинушка нажала кнопку, и статуя медленно завращалась на своем пьедестале, поражая своей гладкой симметрией и совершенными пропорциями.

— Мой шедевр, — сказала Бузинушка.

Я лично не слишком большой поклонник мужской красоты, но на лице Бузинушки было написано такое самозабвенное восхищение, что я понял, как переполняют ее обожание и любовь.

— Ты влюблена в этого... изображаемого, — сказал я, стараясь избегать упоминания о статуе как неодушевленном предмете и местоимения «она».

— О да! — прошептала она. — Для него я готова умереть. Пока есть он, все другие для меня противны и бесформенны. Прикосновение любого из них для меня мерзко. Только его хочу. Только его.

— Бедное мое дитя, — сказал я. — Изваяние — не живое.

— Я знаю, — ответила она сокрушенно. — Что же мне делать? Боже мой, что же мне делать?

— Как это все грустно! — проговорил я вполголоса. — Это похоже на историю Пигмалиона.

— Кого? — спросила Бузинушка, будучи, как истинный художник, далека от событий внешнего мира.

— Пигмалиона. Это из древней истории. Пигмалион был скульптором, таким, как ты, только мужского пола. И он так же, как и ты, изваял красивую статую, только по свойственным мужчинам предрассудкам он изваял женщину и назвал ее Галатея. Статуя была столь прекрасна, что Пигмалион ее полюбил. Видишь, все как у тебя, только ты — живая Галатея, а статуя — изваянный Пиг...

— Нет! — резко возразила Бузинушка, — не жди, что я его буду называть Пигмалионом. Грубое, простецкое имя, а мне нужно поэтическое. Я его называю, — голос ее пресекся, она глотнула и продолжила: — Хэнк. Что-то такое мягкое есть в имени «Хэнк», что-то такое музыкальное, чему отзывается сама моя душа. А что там дальше было с Пигмалионом и Галатеей?

— Обуреваемый любовью, — начал я, — Пигмалион взмолился Афродите...

— Кому-кому?

— Афродите, греческой богине любви. Он взмолился ей, и она, из хорошего к нему отношения, оживила статую. Галатея стала живой женщиной, вышла замуж за Пигмалиона, и они жили долго и счастливо.

— Гм, — промывчала Бузинушка, — Афродиты этой, наверное, на самом деле нет?

— В действительности, конечно, нет. Хотя с другой стороны... — я не стал продолжать. Не было уверенности, что Бузинушка правильно поймет упоминание о моем двухсантиметровом демоне Азазеле.

— Плохо, — сказала она. — Вот если бы кто-нибудь мог оживить для меня моего Хэнка, превратить

этот холодный, твердый мрамор в теплую мягкую плоть, я бы для него... О дядя Джордж, ты только представь себе, каково было бы заключить в объятия Хэнка и почувствовать под ладонями мягкость, мягкость... — она чуть не мурлыкала на этом слове от воображаемого чувственного наслаждения.

— Дорогая Бузинушка, — сказал я, — мне бы не хотелось воображать, что это делаю я сам, но я понимаю — ты нашла бы это восхитительным. Однако ты говорила, что, если бы кто-нибудь превратил мертвый твердый мрамор в живую мягкую плоть, ты бы что-то там для него сделала. Ты имела в виду что-нибудь конкретное?

— Конечно! Такому человеку я бы дала миллион долларов.

Я сделал паузу, как и любой бы на моем месте — из чистого уважения к сумме — а потом спросил:

— Бузинушка, а у тебя есть миллион долларов?

— У меня два миллиона кругленьких баксов, дядя Джордж, — сказала она в своей простодушной и непосредственной манере, — и я буду рада отдать в этом случае половину. Хэнк этого стоит, тем более что я всегда могу наляпать еще несколько абстракций для публики.

— Это ты можешь, — согласился я. — Ладно, девочка, выше голову, и мы посмотрим, чем может тебе помочь дядя Джордж.

Это был явный случай для Азазела, так что я вызвал моего маленького друга, который выглядит как карманное издание дьявола ростом в два сантиметра, но с острями рожек и закрученным остроконечным хвостом. Он был, как всегда, не в настроении и стал тратить мое время на подробный и утомительный рассказ, почему именно он не в настроении. Похоже было, что он занимался каким-то искусством — тем, что в его смешном мирке считается искусством, но хотя он описывал это очень подробно, я так ничего и не понял, кроме одного — что *это* было охаяно критиками. Критики одинаковы во всей вселенной — злобные и бесполезные все как один.

Хотя, как я думаю, вы должны радоваться, что земные критики обладают хотя бы минимальными следами

жорядочности. Если верить Азазелу, то высказывания критиков о нем далеко выходят за пределы того, что они позволяют себе говорить о вас. На самый мягкий из примененных к нему эпитетов можно было отвечать только хлыстом. Я это вспомнил потому, что его жалобы на критиков очень напоминают ваши.

Я долго, хотя и с трудом, выслушивал его причитания, пока не улучил момент вернуть свою просьбу об оживлении статуи. От его визга у меня чуть уши не лопнули.

— Превратить кремниевый материал в углерод-водную форму жизни? А может быть, еще попросишь сотворить тебе планету из экскрементов? Как это — превратить камень в плоть?

— Уверен, что ты можешь измыслить способ, о Могучий, — сказал я. — Ведь если ты сделаешь столь невозможное и доложишь в своем мире, не окажутся ли критики кучкой глупых ослов?

— Они хуже, чем кучка глупых ослов, — буркнул Азазел. — Так о них думать — это значит безмерно их возвысить и незаслуженно оскорбить ослов. Я думаю, что они просто балдарговуины несчастные.

— Именно так они и будут выглядеть. И все, что для этого нужно — превратить холодное в теплое, а твердое в мягкое. Особенно в мягкое. Та молодая женщина, которую я имею в виду, особенно хотела бы, обняв статую, ощутить под своими руками мягкую эластичность тела. Это вряд ли будет трудно. Статуя — совершенное изображение человеческого существа, и тебе ее только надо наполнить мышцами, кровеносными сосудами, органами и нервами, обтянуть кожей — и готово.

— Вот всем этим заполнить, — проще простого, да?

— Вспомни, что ты выставишь критиков балдарговуинами.

— Хм, это стоит принять во внимание. Ты знаешь, как воняют балдарговуины?

— Нет, и не рассказывай, пожалуйста. А я могу послужить тебе моделью.

— Моделью, шмоделью, — пробормотал он, задумываясь (не знаю, где он берет такие странные выра-

жения). — Ты знаешь, насколько сложен мозг, даже такой рудиментарный, как у людей?

— Ну, — ответил я, — над этим можешь особенно долго не стараться. Бузинушка — девушка простая, и то, что ей нужно от статуи, не требует особого участия мозга — как я думаю.

— Тебе придется показать мне статую и предоставить возможность изучить материал, — сказал он.

— Я так и сделаю. Только запомни: статуя должна ожить при нас, и еще — она должна быть страшно влюблена в Бузинушку.

— Любовь — это просто. Только подрегулировать гормональную сферу.

На следующий день я напросился к Бузинушке снова посмотреть статую. Азazel, сидя у меня в кармане рубашки, время от времени оттуда высовывался и тоненьким голосом фыркал. К счастью, Бузинушка смотрела только на статую и не заметила бы, даже если бы с ней рядом толпились двадцать демонов нормального роста.

— Ну и как? — спросил я Азazела.

— Попробую, — ответил он. — Я его начиню органами по твоему подобию. Ты, я думаю, вполне нормальный представитель своей мерзкой недоразвитой расы.

— Более чем нормальный, — гордо ответил я. — Я выдающийся образец.

— Ну и отлично. Она получит свою статую во плоти — мягкой на ощупь, теплой плоти. Ей только придется подождать до завтрашнего полудня — по вашему времени. Ускорить процесс я не смогу.

— Понял. Мы с ней подождем.

На следующее утро я позвонил Бузинушке.

— Деточка моя, я говорил с Афродитой.

Бузинушка переспросила взволнованным шепотом:

— Так она существует на самом деле?

— В некотором смысле, дитя мое. Сегодня в полдень твой идеальный мужчина оживет прямо у нас на глазах.

— О Господи! Дядя Джордж, вы меня не обманываете?

— Я никогда не обманываю, — ответил я, но должен признать, что несколько нервничал. Я ведь полно-

стью зависел от Азazel, хотя, правда, он меня ни разу не подводил.

В полдень мы оба стояли перед альковым, глядя на статую, а она уставилась в пространство каменным взором. Я спросил:

— У тебя часы показывают точное время, моя милая?

— О да, дядя. Я их проверяла по обсерватории. Осталась одна минута.

— Превращение может на минуту-другую задержаться. В таких вещах трудно угадать точно.

— Богиня наверняка должна все делать вовремя, — возразила Бузинушка. — Иначе какой смысл быть богиней?

Это я и называю истинной верой, и таковая была вознаграждена. Как только настал полдень, по статуе прошла дрожь. Изваяние постепенно порозовело, приобретая цвет нормального тела. Медленно шевельнулся стан, руки опустились и вытянулись по бокам, глаза поглубели и заблестели, волосы на голове стали светло-каштановыми и появились в нужных местах и количествах на теле. Он наклонил голову, и его взгляд остановился на Бузинушке, глядящей, не отрывая глаз, и дышащей, как пловец в конце заплыва.

Медленно, казалось даже, что с потрескиванием, он сошел с пьедестала, сделал шаг к Бузинушке, раскрыл объятия и выговорил:

— Ты — Бузинушка. Я — Хэнк.

— О Хэнк! — выдохнула Бузинушка, тая в его руках.

Они долго стояли, застыв в неподвижном объятии, а потом она, сияя глазами в экстазе, взглянула на меня через его плечо.

— Мы с Хэнком, — сказала она, — на несколько дней здесь останемся одни и устроим себе медовый месяц. А потом, дядя Джордж, я тебя найду.

И она пошевелила пальцами, как бы отсчитывая деньги.

Тут и у меня глаза засияли, и я на цыпочках вышел из дому. Меня, откровенно говоря, неприятно поразила дисгармоничная картина — полностью обнаженный мужчина, обнимающий полностью одетую женщину,

однако я был уверен, что, как только я выйду, Бузинушка эту дисгармонию устранил незамедлительно.

Десять дней я подождал, но она так и не позвонила. Я не слишком удивился, поскольку считал, что она была слишком занята другим, но все же подумал, что так как ее экзотические ожидания полностью оправдались, причем исключительно за счет моих — ну, и Азазела — усилий, то будет только справедливо, если теперь оправдаются и мои.

Итак, я направился к ее убежищу, где покинул счастливую чету, и позвонил в дверь. Ее открыли очень нескоро, и мне даже уже начала мерещиться кошмарная картина, как два молодых существа довели друг друга до смерти во взаимном экстазе. Но тут дверь с треском распахнулась.

У Бузинушки был вполне нормальный вид, если разозленный вид может быть назван нормальным.

— А, это ты, — сказала она.

— Вообще-то да, — ответил я. — Я уже боялся, что ты уехала из города, чтобы продлить медовый месяц.

О своих мрачных предположениях я промолчал — из дипломатических соображений.

— И что тебе надо? — спросила она.

Не так чтобы лопаясь от дружелюбия. Я понимал, что ей не мог понравиться причиненный мной перерыв в ее занятиях, но я считал, что после десяти дней небольшой перерыв будет очень кстати.

Я ответил:

— Такой пустяк, как миллион долларов, дитя мое.

С этими словами я толкнул дверь и вошел.

Она поглядела на меня с холодной ухмылкой и произнесла:

— Бубкес ты получишь, дядя, а не миллион.

Я не знаю, сколько это — «бубкес», но немедленно предположил, что намного меньше миллиона долларов.

Озадаченный и несколько задетый, я спросил:

— Как? А в чем дело?

— В чем дело? — переспросила она. — В чем дело! Я тебе сейчас скажу, в чем дело. Когда я сказала, что хочу сделать его мягким, я не имела в виду мягким всегда и во всех местах.

И своими сильными руками скульптора она вытолкнула меня за дверь и с грохотом ее захлопнула. Потом, пока я, ошеломленный, стоял столбом, дверь распахнулась снова.

— А если ты еще сюда заявишься, я прикажу Хэнку разорвать тебя на клочки. Он во всем остальном силен как бык.

И я ушел. А что было делать?

Вот такую критику получила моя работа в искусстве. И вы еще утомляете меня своими мелкими жалобами.

Закончив свою историю, Джордж так сокрушенно покачал головой, что я ощутил прилив сочувствия.

Я сказал:

— Джордж, я знаю, что вы вините Азазела, но по-настоящему парнишка все же не виноват. Вы сами немножко пережали насчет мягкости.

— Так это ведь она настаивала! — возмутился Джордж.

— Верно, но вы сказали Азазелу, что он может использовать вас в качестве модели, и, конечно, с этим и связана неспособность...

Джордж прервал меня взмахом руки и уставился мне в глаза.

— Такое оскорбление, — процедил он сквозь зубы, — хуже потери миллиона заработанных долларов. И вы у меня сейчас это поймете, хотя я давно уже не в лучшей форме...

— Ладно, ладно, Джордж, примите мои глубочайшие извинения. Кстати, помните, я вам должен десять долларов?

Он, к моему счастью, помнил. Джордж взял банкнот и улыбнулся.

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ

Обедая с Джорджем, я всегда помню, что расплачиваться надо не кредитной карточкой, а только наличными. Это дает Джорджу возможность следовать своей излюбленной привычке — якобы невзначай прихватывать принесенную официантом сдачу. Я, со своей стороны, стараюсь, чтобы этой сдачи не было слишком много, и на чай даю отдельно.

Однажды мы с ним, отобедав в Боатхаусе, шли обратно через Централ-парк. День был хорош, хотя чуть-чуть жарковат, и мы присели отдохнуть на скамеечку в тени.

Джордж наблюдал за птичкой, которая по птичьему обыкновению вертелась на ветке, а потом взлетела и скрылась в небе.

— В детстве, — заметил Джордж, — я страшно завидовал этим тварям: они могут парить в воздухе, а я нет.

— Я думаю, — подхватил я, — что птицам завидует каждый ребенок. Да и взрослый тоже. Теперь, правда, люди научились летать и лучше, и дальше птиц. Аэроплан без заправки и посадки облетает землю за девять дней. Ни одна птица так не может.

— А какой птице это надо? — с презрением возразил Джордж. — Я же не говорю о сидении в летающей машине или даже подвешивании к парящему дельтаплану. Это все — технологические протезы. Я-то имею в виду — летать самому: расправить руки, мягко взмыть в воздух и двигаться по собственной воле.

Я вздохнул:

— Вы подразумеваете — освободиться от тяготения. И я когда-то мечтал об этом, Джордж. Мне однажды снилось, что я подпрыгнул, завис в воздухе и легкими движениями направлял полет своего тела, а потом мягко и плавно приземлился. Я знал, конечно, что это невозможно, и осознавал, что все это во сне. Но когда я во сне проснулся, оказалось, что я по-прежнему могу парить. И я решил, что раз я уже не сплю, значит, я на самом деле летаю. И тут я проснулся по-настоящему и ощутил себя еще большим пленником гравитации, чем раньше. Какое это было чувство потери, Джордж, какое разочарование! Я несколько дней не мог прийти в себя.

И тут, что можно было почти наверняка предсказать, Джордж ответил:

— Со мной было хуже.

— Неужели? У вас был такой же сон, правда? Только побольше и получше?

— Сон?! Я не обращаю внимания на сны. Оставляю это старым бабам и бумагомаракам вроде вас. Я говорю о яви?

— То есть вы летали наяву. Вы полагаете, что я поверю, будто кто-то впустил вас в космический корабль?

— Ни в каком не в космическом корабле, а прямо на земле. И не я, а мой друг Бальдур Андерсон. Но лучше я вам расскажу все по порядку.

Большинство моих друзей (начал Джордж) — интеллектуалы и профессионалы высокой пробы, к каковому, может быть, и вы себя относите, но Бальдур в это большинство не входил. Он работал водителем такси, особого образования не имел, но глубоко уважал науку. Он проводил в нашем любимом пивбаре вечер за вече-

ром, рассуждая о Большом взрыве, о законах термодинамики, о генной инженерии и о многом другом. Он бывал мне благодарен за объяснения по подобным вопросам и всегда настаивал, вопреки моим протестам (во что вы, зная меня, легко поверите), на своем праве платить по счету.

В его личности была одна очень неприятная черта: он был неверующим. Я не имею в виду тех философствующих атеистов, которые отрицают любые сверхъестественные проявления, объединяются в светские организации гуманистического толка и печатают на языке, которого никто не понимает, статьи в журналах, которые никто не читает. От этих-то — какой вред? Бальдур же принадлежал к той породе, которую в прежние времена называли «деревенский безбожник». Он вступал в споры в пивных с такими же невежественными людьми, как и он сам, и споры быстро переходили в перебранки на повышенных тонах и с личными характеристиками. Вот как это обычно выглядело:

— Ладно, если ты такой умный, головастик, так скажи мне, где Каин нашел себе жену?

— Не твое дело, — отругивался оппонент.

— Нет, где? Ведь Ева была единственной женщиной.

— А откуда ты знаешь?

— Так в твоей Библии сказано.

— Ничего там такого нет. Ты мне покажи, где там написано: «Ева была единственной женщиной на всей Земле».

— Это подразумевается.

— Подразумевается, видишь ли! Умник нашелся.

— От умника слышу!

Я пытался урезонить Бальдура в моменты, когда он успокаивался.

— Бальдур, — говорил я ему, — нет смысла дискутировать о вопросах веры. Вы ничего не докажете, а только создадите неприятности себе и другим.

Бальдур сразу же огрызнулся:

— Мое конституционное право не верить во всю эту кучу половы и об этом заявлять.

— Это верно, — соглашался я, — но однажды один из этих джентльменов, что вон там потребляют алко-

гольные напитки, может двинуть вас раньше, чем остановится сопоставить свои действия с конституцией.

— Эти люди, — отвечал Бальдур, — должны подставлять другую щеку. Так написано в ихней Библии. Там сказано: «Не шуми насчет зла. Пусть себе живет».

— Они могут и позабыть.

— Тогда и я смогу за себя постоять.

И он и вправду мог, потому что был здоровенный мускулистый мужик с таким носом, который принял на себя не одну сотню ударов, и такими кулаками, которые явно не оставляли без ответа подобные действия.

— Не сомневаюсь в ваших способностях, — соглашался я, — но в религиозных спорах обычно несколько человек отстаивают противоположную точку зрения и только один — вашу. Согласованные действия дюжины ребят могут превратить вас в нечто напоминающее пулюпу. И к тому же, — добавил я, — предположим, что вы победили в споре на религиозную тему. Тогда вы послужили причиной тому, что один из этих джентльменов потерял свою веру. Вы действительно хотите почувствовать свою ответственность за такую потерю?

Бальдур несколько встревожился, поскольку в душе был добряком. Он сказал:

— Я же никогда ничего не говорю о настоящих основах веры. Я говорю про Каина, про Иону, который ну никак не мог трое суток жить во чреве кита, и насчет хождения по воде. А ничего такого по-настоящему оскорбительного я не говорю. Я же ничего никогда не сказал против Санта-Клауса, верно? Даже был случай, тут один распространялся насчет того, что у Санта-Клауса только восемь оленей, а олень по кличке Рудольф Красноносый никогда даже близко не подходил к этим саночкам. Я его тогда спросил: «Ты что, хочешь отнять у детишек Санта-Клауса?» — и врезал ему раз. И еще я никому не позволю слова сказать против Морозки — Снежного человека.

Меня такая чувствительность, разумеется, тронула. Я его спросил:

— Бальдур, а как вы до такого дошли? Что сделало из вас такого фанатика неверия?

— Ангелы, — сказал он, резко помрачнев.

— Ангелы?

— Они. В раннем детстве я видел ангелов на картинках. Вы их когда-нибудь видели?

— Конечно.

— Так у них крылья. У них руки и ноги, а на спине — большие крылья. А я в детстве читал научные книги, и там написано, что все существа, имеющие позвоночник, имеют четыре конечности. У них четыре плавника или четыре ноги, или две руки и две ноги, или две ноги и два крыла. Иногда две задние ноги исчезают, как у китов, или две передние, как у киви, или все четыре, как у змей. Но больше четырех конечностей не может быть ни у кого. Так как же у ангелов может быть шесть конечностей — две руки, две ноги и два крыла? Хребет-то у них есть, верно? Они же не насекомые или что-то вроде того? Я тогда спросил маму, а она мне посоветовала заткнуться. С тех пор я много думал на эту тему.

Я подумал и ответил:

— Бальдур, по-моему, вы напрасно так буквально воспринимаете эти изображения ангелов. Эти крылья — всего лишь символы того, что ангелы умеют перемещаться с огромной скоростью.

— Да неужто? — уязвленно отозвался Бальдур. — А вы спросите этих поклонников Библии, есть ли у ангелов крылья на самом деле. Они в этом более чем уверены. Они такие тупые, что слова насчет шести конечностей до них не доходят. А что до ангелов, то раз они умеют летать, почему тогда я не могу? Это нечестно.

Он надул губы и, казалось, сейчас заплачет. Мое доброе сердце толкнуло меня поискать слова утешения.

— К тому придет, Бальдур, — сказал я. — Когда вы умрете и попадете на небо, вы получите крылья вместе с нимбом и арфой и обретете умение летать.

— Вы верите в эту чушь, Джордж?

— Вообще-то нет, но такая вера давала бы большое утешение. Почему бы вам не попробовать?

— Никогда в жизни, потому что это ненаучно. Я всю жизнь хочу летать — по-настоящему, просто на руках. И я думаю, что наука может дать способ сделать это здесь, на Земле.

Я все еще пытался его как-то утешить и потому неосторожно (может быть, приняв на полбокала больше своего лимита) сказал:

— Уверен, что такой способ найдется.

Он уставил на меня сверлящий и чуть-чуть налитый кровью взгляд.

— Вы издеваетесь? Над мечтой моего детства?

— Нет-нет, — быстренько сказал я, тут же осознав, что он-то выпил на десяток бокалов выше черты и что его правый кулак самым недвусмысленным образом подергивается. — Да разве стал бы я смеяться над детской мечтой или даже над манией взрослого? Просто у меня есть знакомый — э-хм — ученый, который может случайно знать способ.

Но он все еще казался недружелюбным.

— Так вы его спросите, — сказал он, — и передайте мне, что он скажет. А то я не люблю тех, кто с меня смеется. Я вам не мальчик. Я-то с вас не смеюсь, нет? Я вам когда говорил про то, что вы всегда счет отпихиваете мне?

Я поспешил покинуть опасную почву.

— Я немедленно проконсультируюсь со своим другом. Вы не беспокойтесь, я все устрою.

В общем и целом, я решил, что так будет лучше всего. С одной стороны, не хотелось терять источник бесплатных выпивок, с другой стороны, еще меньше хотелось быть объектом недовольства Бальдура. Он не верил в библейские указания любить врагов своих, благословлять проклинающих тебя и делать добро ненавидящим тебя. Он твердо верил в то, что врагу своему надо давать в глаз.

Так что я проконсультировался с Азазелом, моим приятелем из другого мира. Я вам говорил когда-нибудь, что у меня есть... ах да, говорил. Как всегда, Азазел был в мерзком настроении, когда я его вызвал. Он как-то необычно держал хвост на отлете, и когда я об этом спросил, пустился в бешеные визгливые комментарии по поводу моей родословной, о которой он вообще ничего не мог знать.

Из всего этого я понял, что на него кто-то наступил. Он очень маленькое существо, всего два сантиметра ростом, от корня хвоста до кончиков рожек, и я сильно

подозреваю, что даже в своем мире он просто путается под ногами. Вот на него кто-то случайно и наступил, и то, что его просто не заметили, так его и взбесило.

Я попытался его успокоить.

— Если бы ты умел летать, о Могучий, коему вся вселенная платит дань поклонения, ты был бы защищен от низайших из низших.

Это его несколько взбодрило. Последнюю фразу он даже повторил, как если бы старался запомнить ее на потом. И ответил:

— Я могу летать, о Жуткая Масса Беспольной Плоти, и я бы взлетел, если бы заметил этого типа из низших классов, кто в неуклюжести своей на меня свалился. Ладно, чего тебе надо?

Он произнес эту фразу ворчливым тоном, что прозвучало, как дребезжание жести.

Я мягко сказал:

— Ты умеешь летать, о Возвышенный, но в моем мире есть люди, которые не умеют.

— В твоём мире нет людей, которые умеют. Они огромные, неуклюжие и распухшие, как и большинство из класса туподраконикидов. Если бы ты имел понятие об аэродинамике, Жалкое Насекомое, ты бы знал...

— Я преклоняюсь перед твоим высшим знанием, о Мудрейший из Мудрых, но мне вдруг пришло на ум, что ты мог бы устроить что-то вроде антигравитации.

— Антигравитации? Да ты себе представляешь, как...

— Необъятный Ум, — продолжал я, — позволишь ли ты тебе напомнить, что ты это уже однажды выполнил *?

— Помню, помню. Но это было только частичное изменение. Нужна была только возможность для некоторого лица передвигаться поверх куч замороженной воды, которыми изобилует твой дьявольский мир. А теперь ты, как я понимаю, просишь гораздо большего.

— Совершенно верно. У меня есть друг, который хотел бы уметь летать.

— Странные у тебя друзья. — Он присел на собственный хвост — поза, которую он обычно принимал,

* См. рассказ «По снежку по мягкому».

когда хотел подумать, — и тут же подскочил, шипя и ругаясь от боли, поскольку забыл о плачевном состоянии своей задней конечности.

Я подул ему на хвост, что как будто помогло и несколько его успокоило.

Он сказал:

— Потребуется механическое антигравитационное устройство, и я, конечно, его для тебя достану, но требуется еще содействие от центральной нервной системы твоего друга — если у него таковая имеется.

— Я думаю, что имеется, — ответил я, — но как именно он должен содействовать?

Азazel замялся:

— Понимаешь, он должен *верить*, что может летать.

Через два дня я посетил Бальдура в его скромной квартирке. Протянув ему устройство, я сказал:

— Вот.

Устройство не производило впечатления. Было оно величиной с каштан и, если поднести его к уху, довольно странно жужжало. Не знаю, каков был у него источник энергии, но Азazel заверил меня, что он не иссякнет. Еще он говорил, что устройство должно соприкасаться с кожей летуна, и потому я прикрепил к нему цепочку и сделал медальон.

— Вот, — повторил я, и Бальдур в сомнении отступил назад. — Наденьте цепь на шею и носите под рубашкой. И под нижней рубашкой, если вы ее носите.

Он спросил:

— Джордж, а что это?

— Антигравитационный прибор, Бальдур. Последняя модель. Крайне научно и полностью секретно. Не говорите никому ни в коем случае.

Он осторожно протянул руку.

— Это дал вам ваш друг?

Я кивнул:

— Наденьте это на шею.

Он нерешительно просунул голову в цепочку и, ободряемый мною, расстегнул рубашку, пропустил медальон внутрь и снова застегнулся.

— А теперь что?

— А теперь расставьте руки и летите.

Он расставил руки, но ничего не произошло. Он надулся, и его маленькие глазки остро взглянули из-под кустистых бровей.

— Издеваетесь?

— *Нет!* Вы должны *поверить* в то, что полетите. Вы смотрели «Питера Пэна» — диснеевский мультик? Вот и скажите себе: «Я могу летать, я могу летать, я могу летать».

— Так в мультике их еще посыпали волшебным порошком.

— Это ненаучно. А то, что на вас надето, крайне научно. Скажите себе, что можете летать.

Бальдур окинул меня долгим, тяжелым взглядом. У меня, как вы знаете, храбрость льва, но мне стало слегка не по себе. Я добавил:

— Бальдур, это требует времени. Вам надо научиться.

Все еще глядя на меня, он неуклюже расставил руки и произнес: «Я могу летать. Я могу летать. Я могу летать».

И ничего не произошло.

— Прыгайте! — сказал я. — Дайте затравку!

Я сильно забеспокоился, знает ли Азазел на этот раз, что он делает.

Бальдур, по-прежнему с расставленными руками и устремленным на меня недружелюбным взглядом, подпрыгнул. Он взлетел примерно на фут, провисел, пока я посчитал до трех, и медленно спустился.

— Ого! — красноречиво сказал он.

— Ого! — ответил я, не уступая в красноречии.

— Я вроде бы там плавал.

— И очень ловко, — заметил я.

— Ага. Эй, я умею летать. Давайте еще попробуем.

И его волосы оставили на потолке ясно различимое жирное пятно. Он, потирая макушку, вернулся на пол.

— Вам не следует подниматься выше четырех футов, — сказал я.

— Это здесь, в комнате. Давайте-ка пойдем наружу.

— Вы с ума сошли? Вам что, надо, чтобы видели, как вы летаете? Так у вас тут же заберут на изучение антигравитационный прибор, и вы его уже никогда не увидите. Сейчас этот прибор и его секрет известны только моему другу.

— Ладно, так что же мне делать?
— Летайте по комнате для собственного удовольствия.

— Не так уж это много удовольствия.

— Не так много? А сколько у вас его было пять минут назад?

Моя несокрушимая логика, как всегда, победила.

Должен признать, что, глядя на его свободные и ловкие движения в пустом пространстве не слишком большой гостиной, я ощутил сильный порыв попробовать это самому. Однако я не был уверен, что он пожелает отдать прибор, а главное — у меня было сильное подозрение, что для меня прибор не сработает.

Азazel решительно отказывался делать что бы то ни было непосредственно для меня. Как он говорит в своей идиотской манере, его благодеяния должны приносить благо ближним. Я бы хотел, чтобы либо у него не было подобных дурацких идей, либо чтобы они были у моих ближних. Мне никогда не удавалось убедить облагодетельствованных мной отплатить мне достаточным количеством звонкой монеты.

Наконец Бальдур спустился на один из стульев и самодовольно спросил:

— Вы говорите, у меня получается, потому что я верю?

— Совершенно верно, — ответил я. — Это полет фантазии.

Мне понравился этот каламбур, но Бальдур, к сожалению, был лишен юмористического слуха — если ввести этот термин по аналогии с музыкальным. Он сказал:

— Видите, Джордж, насколько лучше верить в науку, чем во всю эту фигню насчет неба, ангелов и крыльев.

— Совершенно верно, — согласился я. — Не пойти ли нам куда-нибудь пообедать и чего-нибудь выпить?

— Непременно, — ответил он, и мы превосходно провели оставшийся вечер.

Но дальше все почему-то пошло не очень хорошо. На Бальдура, похоже, спустилась туманная завеса меланхолии. Он оставил свои прежние места охоты и нашел новые источники живой воды.

Мне это было все равно. Новые места бывали не в пример лучше старых, и в них подавали отличный сухой мартины. Но из любопытства я спросил почему.

— А я не могу больше спорить с этими болванами, — уныло ответил Бальдур. — Меня все подмывает их спросить: вот я умею летать, как ангел, так собираются ли они мне молиться? И поверят ли они мне? Они верят во все эти волшебные сказки насчет говорящих змеев и обращенных в соляной столб дам — это пожалуйста. Но мне они не поверят — можете голову давать на отсечение. Потому я и держусь от них подальше. Даже в Библии сказано: «Не шатайся с придурками и не сиди в совете недоумков».

Время от времени он срывался:

— Я не могу это делать у себя дома. Там просто нет места. Я не чувствую полета. Я должен подняться в открытое небо. Я хочу взлететь в воздух и полетать как следует.

— Вас увидят.

— Я могу ночью.

— Ночью вы врежетесь в холм и убьетесь.

— Я поднимусь повыше.

— А что вы тогда увидите ночью?

— Я найду место, где нет людей.

— Где, — спросил я, — где в наше время нет людей?

В этот день снова победила моя неопровержимая логика, но он становился все несчастнее и несчастнее и, наконец, не показывался мне на глаза несколько дней. Дома его не было. В его гараже мне сказали, что он взял двухнедельный отпуск, на который имел право, и где он сейчас — они не знают. Не то чтобы мне не хватало его щедрости — если и да, то не очень — но я был обеспокоен мыслями о том, на какие необдуманные поступки могла подвигнуть его тяга к парению в воздухе.

В конце концов он вернулся к себе домой и позвонил мне. Я еле-еле узнал его потерянный голос, и, конечно же, когда он сказал, что я ему очень нужен, я немедленно поспешил к нему.

Он сидел у себя в комнате, надломленный и печальный.

— Джордж, — сказал он. — Джордж, мне не следовало никогда этого делать.

— Чего, Бальдур?

И тут его прорвало.

— Помните, я говорил вам, что хочу найти безлюдное место?

— Помню.

— Мне пришла в голову мысль. Я выбрал время, когда по прогнозу ожидалось несколько ясных дней, и поехал нанимать самолет. Знаете, есть такие аэропорты, где можно нанять самолет за деньги — как такси, только летающее.

— Знаю, знаю, — подтвердил я.

— Ну, я попросил этого парня отлететь за пригороды и полетать над сельской глушью. Сказал, что хочу полюбоваться пейзажами. На самом-то деле я хотел найти по-настоящему безлюдное место, а когда найду, узнать, как оно называется, чтобы потом вернуться туда одному и полетать всласть.

— Бальдур, — сказал я, — с неба нельзя это распознать. Место сверху покажется вам пустым, а на самом деле там полно народу.

Он горько ответил:

— Теперь-то что толку мне это говорить. — Он сокрушенно покачал головой, вздохнул и продолжил: — Это был настоящий допотопный аэроплан. С открытой кабиной спереди и открытым местом для пассажира сзади. Я высунулся подальше, чтобы посмотреть, нет ли внизу шоссе, или автомобилей, или ферм. Для удобства я отстегнул ремень — я же умею летать и высоты не боюсь. Только я высунулся, как тут летчик, не зная про то, заложил вираж, и аэроплан наклонился как раз на ту сторону, куда я высунулся. Я не успел ни за что схватиться и просто выпал.

— О Господи! — произнес я.

Рядом с Бальдуром стояла жестянка с пивом, и он жадно к ней припал. Вытерев рот тыльной стороной руки, он спросил:

— Джордж, вы когда-нибудь выпадали из самолета без парашюта?

— Нет, — ответил я. — Теперь, когда вы спросили, я припоминаю, что никогда даже и не пробовал.

— Попробуйте как-нибудь, — сказал Бальдур, — это довольно занятно. Для меня это случилось полностью неожиданно. Я довольно долго не мог сообразить, что же случилось. Вокруг был воздух, а земля вроде как вертелась у меня над головой туда и сюда, и я сам себя спросил, что это за чертовщина. А потом я почувствовал ветер, все сильнее и сильнее, только непонятно было, откуда он дул. И тогда мне в голову стукнуло, что это же я выпал. И тут я сказал себе: «Я падаю. Эй, я падаю!» А земля становилась ближе, и была внизу, и я очень быстро спускался. Хотелось закрыть глаза, но я понимал, что пользы с того не будет.

И можете мне поверить, Джордж, я за все это время даже не вспомнил, что умею летать. Я был так удивлен, что мог бы и погибнуть. Но когда я почти уже упал, я все вспомнил и тогда сказал себе: «Я могу летать! Я могу летать!» И это, понимаете, получилось как катание на пружинных качелях. Будто воздух ко мне привязали сверху, и он меня тормозил вроде большой резиновой ленты. И уже над верхушками деревьев я летел медленно-медленно и подумал: вот сейчас время парить. Однако я вроде как устал, так что я вытянулся, еще замедлился и очень плавно и мягко встал на землю.

И вы были правы, Джордж. Сверху казалось, что все пусто, а когда я спустился на землю, там уже собралась целая толпа, и рядом была какая-то вроде церковь, я ее сверху не заметил из-за деревьев.

Бальдур закрыл глаза и постарался унять судорожное дыхание.

— Что случилось, Бальдур? — наконец спросил я.

— Никогда не угадаете, — ответил он.

— Не собираюсь гадать, — ответил я. — Скажите, да и все.

Он открыл глаза и сказал:

— Они вылезли из церкви — настоящей церкви, где читают Библию, — и один из них пал на колени, поднял руки к небу и завопил: «Чудо! Чудо!», — а все остальные вслед за ним. Вы такого шума никогда не слышали. А другой какой-то подошел ко мне — толстый такой коротышка — да и говорит мне: «Я доктор. Что тут у вас случилось?» Я и не знал, что ему сказать. Как объяснить, если ты с неба свалился? Они уже стали

меня в ангелы записывать. Так что пришлось сказать правду: «Я случайно свалился с самолета». А они снова завопили про чудо.

А доктор тогда и говорит: «У вас был парашют?» А как я ему скажу, что у меня был парашют, если никакого парашюта близко нет? «Нету», — говорю. А он говорит: «Все тут видели, как вы медленно спускались и мягко приземлились». А тут другой какой-то — потом выяснилось, что причетник местной церкви — говорит таким странным голосом, вроде как завывает: «Ибо рука Господа его поддержала».

Этого уже я не выдержал и говорю: «Ни фиги. Это антигравитационный прибор». А доктор на меня: «Какой-какой?» — «Антигравитационный», — говорю. А он ржет, как будто у него невеста как сострил, и говорит: «Я бы на вашем месте держался гипотезы о руке Господа».

А тем временем пилот на своем аэроплане приземлился, белый как бумага, и твердит как попугай: «Я не виноват. Этот дурень отстегнул ремень». Тут он меня увидел и заругался так, что вообразить невозможно. «Ты, — говорит. — Как ты сюда попал? У тебя ж ни хрена парашюта не было». Тут все вокруг запели что-то вроде псалма, а причетник хватает пилота за руку и объясняет, что рука Господа меня спасла, и спасла потому, что у меня в мире есть какая-то работа неимоверной важности, и что-то вроде того, что каждый в его пастве в этот великий день еще больше поверил в неусыпное попечение Господа на троне Его, и как печется Он о самом малом из нас, и прочее в том же роде.

Он даже меня заставил об этом задуматься — о том то есть, что я спасся для чего-то важного. Тут еще пачка докторов подвалила да еще корреспонденты, не знаю уж, кто их всех позвал, и они меня расспрашивали до тех пор, пока у меня вроде крыша уже поехала, тогда их остановили доктора и повезли меня в больницу на обследование.

— Вас на самом деле положили в больницу? — тупо переспросил я.

— И ни на секунду не оставляли одного. Меня тиснули в местной газете под крупным заголовком, и приехал какой-то ученый из Рутжерса или как-то в этом роде. Я ему сказал про антигравитацию, и он расхохо-

тался. А я ему говорю: «Вы же ученый, неужели вы тоже верите в чудо?» А он отвечает: «Есть много ученых, что верят в Бога, но нет ни одного, который верил бы в антигравитацию и вообще в то, что она возможна». А потом говорит: «Вы мне покажите, мистер Андерсон, как это работает, и я переменю мнение».

И оно, конечно, не работало, и до сих пор не работает.

К моему ужасу, Бальдур закрыл лицо руками и зарыдал.

— Возьмите себя в руки, Бальдур! — сказал я. — Должно работать.

Он покачал головой и сдавленным голосом сказал:

— Нет, не работает. Оно работало, пока я в это верил, а я больше не верю. Все говорят, что это было чудо. В антигравитацию не верит никто. Они все ржут, а ученый сказал, что прибор — это просто кусок металла без источника питания и органов управления, а что антигравитация невозможна из-за Эйнштейна, который теория относительности. Джордж, мне надо было вас слушаться. Теперь я никогда не смогу летать, потому что потерял веру. Может быть, никакой антигравитации не было, а просто Бог решил почему-то действовать через вас. Я уверовал в Бога и потерял веру в науку.

Бедняга. Он и в самом деле больше никогда не летал. Устройство он мне вернул, и я отдал его Азазелу.

Вскоре Бальдур оставил работу, переехал поближе к той церкви, где приземлился, и теперь служит там дьяконом. Он там в большом почете, ибо они считают, что на нем почиет десница Господня.

Я посмотрел на Джорджа испытующим взглядом, но на его лице, как и всегда при упоминании Азазела, не отражалось ничего, кроме самой простодушной искренности.

— Джордж, — спросил я, — это было недавно?

— В прошлом году.

— Со всем этим шумом насчет чуда, толпами корреспондентов и аршинными заголовками в газетах?

— Совершенно верно.

— Как вы тогда объясните, что я ничего подобного в газетах не видел?

Джордж полез в карман, достал пять долларов восьмьдесят два цента — сдачу, которую он аккуратно собрал, когда я расплатился за обед двумя бумажками в двадцать и десять долларов. Банкнот он отложил отдельно и сказал:

— Пять долларов ставлю, что смогу объяснить.

Ни минуты не колеблясь, я сказал:

— Отвечаю пятью долларами, что не сможете.

— Вы, — сказал он, — читаете только «Нью-Йорк таймс», верно?

— Верно.

— А «Нью-Йорк таймс», из почтения к той публике, которую она называет «наш интеллектуальный читатель», все сообщения о чудесах помещает мелким шрифтом на тридцать первой странице, рядом с рекламой купальников-бикини, так ведь?

— Возможно, но почему вы не можете предположить, что я читаю даже самые мелкие сообщения о новостях?

— Да потому, — торжествующе объявил Джордж. — Все же знают, что ничего, кроме самых крупных заголовков, вы не замечаете. Вы же проглядываете «Нью-Йорк таймс» только в поисках упоминания своей фамилии.

Немного подумав, я дал ему еще пять долларов. Хотя сказанное им и было неправдой, это, как я понимал, вполне могло быть общепринятым мнением, а с ним спорить бессмысленно.

СУМАСШЕДШИЙ УЧЕНЫЙ

Обычно мы с Джорджем встречаемся где-нибудь на нейтральной территории — в ресторане или на парковой скамейке, например. Причина этого проста: моя жена не хочет видеть его у нас дома, поскольку он, как она считает, «халявщик» — слово, заимствованное у младшей дочери и означающее нелестную характеристику любителя дармовщинки. Я с этим соглашаюсь. К тому же она совершенно иммунна к его обаянию, а я, по какой-то необъяснимой странности, — нет.

Но в тот день моя благоверная супруга была в отсутствии, и Джордж об этом знал, поэтому он зашел вечером. Я не решился выставить его за дверь и был вынужден пригласить в комнату, изображая гостеприимство, насколько был на это способен. Способен же я был на немногое, поскольку меня страшно поджимал срок сдачи рассказа и большая куча невычитанных гранок.

— Вы не против, надеюсь, — спросил я, — если я сначала закончу эту работу? Возьмите пока какую-нибудь книжку почитать — вон там, на полках.

Я не надеялся, что он возьмет книгу. Он посмотрел сначала на меня, потом показал на гранки и спросил:

— И давно вы зарабатываете на жизнь вот этим?

— Пятьдесят лет, — промямлил я.

— И не надоело? — спросил он. — Почему бы не бросить?

— Потому что, — с большим достоинством ответил я, — мне приходится зарабатывать деньги для поддержки своих друзей, имеющих привычку постоянно обедать за мой счет.

Я хотел его уколоть, но Джордж непробиваем. Он сказал:

— За пятьдесят лет писаний о сумасшедших ученых у человека мозги могут усохнуть в горошинку.

А вот ему меня удалось уколоть. И я довольно резко ответил:

— Историй о сумасшедших ученых я не пишу. И никто из фантастов, работающих на уровне хоть чуть-чуть выше комикса, этого не делает. Рассказы о сумасшедших ученых писали во времена неандертальцев и примерно с тех пор больше не пишут.

— А почему?

— А потому что это уже не носят. А главное, что сумасшествие ученых — это общепринятая банальность в среде самых необразованных и ограниченных людей. Сумасшедших ученых не бывает. У некоторых может проявляться свойственная гениям эксцентричность — бывает, но сумасшествие — никогда.

— Ну уж, — возразил Джордж. — Я знал одного ученого-психа. Пол-Сэмюэл Иствуд Хэрман. Он даже по инициалам был П.С.И.Х. Слыхали вы о нем?

— Никогда, — ответил я, демонстративно впериваясь взглядом в гранки.

— Я бы не назвал его клиническим больным, — продолжал Джордж, полностью игнорируя мои действия, — но всякий средний, ограниченный, обыкновенный обыватель — вот вы, например, — признал бы его сумасшедшим. Я вам расскажу, что с ним произошло...

— В другой раз, — взмолился я.

Несмотря на вашу любительскую попытку изобразить занятость (говорил Джордж), я вижу, что вы сгораєте от нетерпения услышать историю, и я не буду вас

больше мучить, а приступаю прямо к рассказу. Мой добрый приятель Пол-Сэмюэл Иствуд Хэрман был физиком. Ученую степень он получил в Медведоугле, штат Теннесси, и во времена, о которых я рассказываю, занимал должность профессора физики в Недоумлендском подготовительном колледже с физическим уклоном для умственно отсталых студентов.

Мы с ним иногда завтракали в столовой колледжа на углу Дрекслея и авеню Д, там, где с лотка торгуют блинами. Мы обычно сидели на веранде и ели блины, иногда кныш, и он изливал мне душу.

Он был блестящим физиком, но желчным человеком. Мои познания в физике заканчиваются где-то около времени Ньютона Г. Декарта, поэтому я не мог лично судить о том, насколько он блестящий физик, но он мне об этом говорил сам, а так один блестящий физик всегда сможет распознать другого.

А желчность его вызывалась тем, что его не принимали всерьез. Он мне говаривал:

— Джордж, в мире физики все определяется связями. Если бы у меня была ученая степень полученная в Гарварде, диплом Йэля, или МИТ, или Калтеха, или даже из Колумбийского университета, весь мир ловил бы каждое мое слово. А степень присужденная в Медведоугле, и кафедра в Недоумлендском ПКУО, я должен признать, впечатляют гораздо меньше.

— Я так понимаю, что Недоумленд не входит в Лигу Плюща.

— И вы не ошибаетесь. Он именно что **не** входит. Гораздо хуже: у него нет даже футбольной команды. Но, — добавил он, как бы сам отводя это обвинение, — у Колумбийского тоже нет, и все равно меня просто игнорируют. «Физикал ревью» не печатает моих исследовательских работ. Они блестящие, революционные, они касаются самих основ мироздания, — тут у него в глазах появился тот блеск, из-за которого примитивные люди вроде вас считали его психом, — но ведь не только Ф.Р., но и «Американский космологический журнал», и «Коннектикутский журнал по взаимодействиям частиц» и даже «Латвийское общество недопустимых мыслей» их не берут!

— Это плохо, — отозвался я, пытаюсь угадать, заплатит ли он еще за один картофельный кныш, которые в этой забегаловке делали превосходно. — А вы пробовали печататься самостоятельно?

— Я действительно бывал близок к отчаянию, — возразил он, — но у меня есть гордость, Джордж, и я ни за что не стану платить деньги, чтобы напечатать свою теорию, которая потрясет мир.

— А кстати, — спросил я из праздного, в общем-то, любопытства, — в чем состоит ваша теория, которая должна потрясти мир?

Он оглянулся по сторонам, проверяя, что в пределах слышимости нет ни одного его коллеги. К счастью, по соседству находились только несколько потрепанных индивидуумов, занимавшихся детальной инспекцией мусорных баков, и тщательное визуальное исследование позволило с достаточной степенью уверенности заключить, что никто из них не был членом ученого совета Недоумлендского ПКУО.

— Я не буду вдаваться в детали, — заявил он, — поскольку должен думать о приоритете. Дело в том, что мои академические собратья, весьма достойные люди во многих отношениях, без малейшего сомнения, сопрут любую интеллектуальную собственность у кого угодно. Потому я опушу все расчеты и намекну только о результатах. Я полагаю, вы знаете, что достаточная энергия в достаточной концентрации порождает электронно-позитронную пару, или, в более общем случае, произвольную пару «частица—античастица».

Я вдумчиво кивнул. В конце концов, старина, я однажды проглядел какое-то из ваших эссе на научную тему, и там что-то такое было.

А Хэрман продолжал:

— Эти частица с античастицей отклоняются магнитным полем, одна налево, другая направо, и если они находятся в глубоком вакууме, то разделяются навечно, не превращаясь снова в энергию, поскольку в этом вакууме им не с чем взаимодействовать.

— А, — сказал я, провожая мысленным взором эту мелюзгу в глубокий вакуум. — Вот это очень верно.

Он продолжал:

— Но уравнение, которому они подчиняются, работает в обе стороны, и я это могу доказать изящнейшей цепочкой рассуждений. Другими словами, можно создать пару «частица—античастица», хорошо разделенную, в глубоком вакууме — без добавления энергии, поскольку их формальное движение само вырабатывает энергию. Иначе говоря, из вакуума можно извлечь неограниченную энергию, исполнить вековую мечту человечества о лампе Аладдина. Я могу только предполагать, что гениальный автор этой средневековой арабской сказки предугадал мою теорию и применил ее.

Только не надо перебивать меня дурацкими напыщенными возгласами о законе сохранения энергии, который якобы запрещает подобный эффект. И не надо ничего говорить о невозможности обращения времени и нарушении обоих начал термодинамики. Я только передаю вам то, что говорил Хэрман, и делаю это без редактирования. А теперь вернемся к моему рассказу — да, да, вам удалось меня несколько задеть.

На слова Хэрмана я задумчиво ответил:

— Друг мой Пол-Сэмюэл, ведь то, что вы говорите, подразумевает либо обращение времени, либо нарушение одновременно первого и второго начала термодинамики.

На это он ответил, что на субатомном уровне обращение времени возможно, а законы термодинамики имеют статистическую природу и к отдельным частицам не приложимы.

— Тогда почему, друг мой, — спросил я, — вы не расскажете миру об этом вашем открытии?

— В самом деле, почему? — фыркнул Хэрман. — Вот так просто — пойти и рассказать. Как вы думаете, что будет, если я поймаю за пуговицу коллегу-физика и расскажу ему то, что вам сейчас? Он забормочет насчет обращения времени и законов термодинамики, вот как вы, и быстренько смоемся. Нет! Я должен опубликовать свою теорию подробно и в престижном журнале с высокой научной репутацией. Вот тогда на нее в самом деле обратят внимание.

— Тогда почему вы не публикуете...

Он не дал мне закончить:

— Да потому что какой из этих самодовольных редакторов или референтов без единой извилины при-

мет мою статью, если в ней будет хоть что-нибудь необычное? Да знаете ли вы, что Джеймс П. Джоуль не мог напечатать свою статью по сохранению энергии ни в одном научном журнале, потому что он был пивоваром? Да вы знаете, что Оливер Хевисайд не мог никого убедить обратить внимание на свои важнейшие статьи, поскольку был самоучкой и употреблял не совсем обычную математическую символику? И вы думаете, что моя статья, статья какого-то научного сотрудника из Недоумлендского ПКУО, может быть напечатана?

— Плоховато, — сказал я из чистой симпатии.

— Плоховато? — сказал он, сбрасывая мою руку, которой я его приобнял за плечи. — Это все, что вы можете сказать? Да вы понимаете, что стоит мне только напечатать статью, как все, кто ее прочтет, поймут, что я имею в виду, и прославят ее как величайшее исследование по квантовой теории за все время ее существования? Да вы понимаете, что мне тут же дадут Нобелевскую премию и канонизируют наравне с Альбертом Эйнштейном? И лишь потому, что ни у кого из этого научного истеблишмента не хватает духу и мозгов распознать гения, я обречен лежать в безвестной могиле непризнанным, непонятым и неотпетым.

Это меня тронуло, старина, хотя я не очень понимал, почему Хэрман не получит отпевания и почему оно так ему нужно. Не мог себе представить, что хорошего будет его мертвому телу, если на его могиле будет грохотать и завывать даже целая рок-группа.

Я сказал:

— Знаете, Пол, я мог бы вам помочь.

— А, — сказал он с оттенком горечи в голосе. — Вы, наверное, троюродный брат редактора «Физикал ревью», или ваша сестра — его любовница, или вы случайно узнали, какими мерзкими способами он захватил свой нынешний пост, и намерены...

Я остановил его повелительным жестом руки.

— У меня свои методы, — веско сказал я. — Ваша статья будет напечатана.

И я этого добился, поскольку у меня есть способ связаться с внеземным существом два сантиметра рос-

том, которого я называю Азazel и которое обладает сверхъестественными возможностями благодаря хорошо разработанной технологии...

Я вам про него рассказывал? А я вас не предупредил, что вам может сильно не понравиться, если он услышит ваше «до тошноты», которое вы упрямо и грубо прибавляете к подобным утверждениям?

Как бы там ни было, я с ним связался, и он явился, как всегда, в крайнем раздражении. Он очень мал по сравнению с человеческими существами нашей планеты и, что еще важнее, гораздо меньше по сравнению с разумными существами его планеты, у которых, как мне удалось узнать, длинные, изогнутые, острые рога, а не зачатки телячьих рожек, как у Азazела. Я отношу его раздражительность за счет глубокого комплекса неполноценности, вызванного этим обстоятельством. Человек с моими широкими взглядами может это понять и почувствовать такой ситуации, поскольку его огорчения для меня полезны. В конце концов, он выполняет мои просьбы лишь потому, что для него это шанс блеснуть своим могуществом, на которое в его мире всем наплевать.

Но на этот раз его недовольство испарилось немедленно, как только я объяснил ситуацию. Он задумчиво сказал:

— Этот бедняга обнаружил, что находится не в равном положении с редакторами?

— Похоже, что так, — подтвердил я.

— Не удивляюсь, — сказал Азazel. — Редакторы — все как один садисты. И очень приятно было бы хоть раз с ними покончить. Насколько был бы этот мир лучше, чище и честнее, — его голос прервался от волнения, — если бы удалось закопать каждого редактора в кучу вонючего *мараграма*, хотя вонь и страшно усилилась бы.

— Откуда ты так хорошо знаешь редакторов? — спросил я.

— А как же иначе? — ответил он. — Однажды я написал трогательнейший рассказ об истинной любви и высокой жертвенности, а этот неимоверно тупой...

Тут он махнул ручкой и перевел разговор:

— Так ты говоришь, что на ваших задворках вселенной редакторы точно такие же, как и в нашем цивилизованном мире?

— Очевидно, так, — сказал я.

Азazel покачал головой:

— Воистину подобны друг другу все разумные сообщества. Поверхностно мы различаемся, у нас разное биологическое оформление, строение ума, чувство морали но в основах — например, в свойствах редакторов — мы одинаковы.

Да, да, я знаю, что у вас нет проблем с редакторами, но это ведь потому, что вы к ним подлизываетесь.

— А можешь ли ты, о Могучий, Сила Вселенной, как-нибудь исправить положение?

Азazel задумался:

— Мне нужно было бы как-то идентифицировать физическое оформление какого-нибудь конкретного редактора. Я полагаю, что у твоего друга есть — как бы это помягче выразиться — отказ от редактора в письменной форме.

— Я в этом убежден, о Величайший.

— Словарь и стиль этого листка дадут мне все нужные сведения. А дальше — легкое изменение общей ауры, капля молока человеческой доброты, привкус интеллекта, следы терпимости... конечно, из редактора не сделаешь эталон морали, но можно слегка компенсировать содержащееся в нем зло.

Ну, я не буду вас утомлять тщательным описанием тонкой технологии Азazела, тем более что это было бы весьма небезопасно. Достаточно сказать, что я заполучил ответ с отказом от профессора Хэрмана с помощью блестящей и разумной стратегии, в которую входил подбор ключа к его кабинету и тщательный просмотр бумаг. А потом я убедил его повторно представить ту же статью в тот же журнал, из которого он получил этот отказ.

На самом деле я воспользовался приемом, который подцепил у вас. Я сказал:

— Друг мой Хэрман, отправьте снова эту статью тому же некомпетентному выродку с черной душой и напишите сопроводительное письмо со следующим текстом: «Я внес все изменения, предложенные референ-

том, и статья стала настолько лучше, что я сам не могу в это поверить. Очень благодарен вам за неоценимую помощь».

Хэрман сперва вяло возражал, что он не вносил никаких изменений и поэтому вышеприведенное утверждение не является отражением объективной реальности. Я ему на это ответил, что наша цель — пробить статью в печать, а не получить похвальный лист от организации бойскаутов.

Он минуту обдумывал это положение, затем сказал: — Вы правы. Похвальный лист от бойскаутов никак не мог бы быть мною получен, ибо я не смог получить даже звание бойскаута. Я завалился на определении деревьев.

Статья отправилась и через два месяца появилась в печати. Вы себе не можете представить, как был счастлив Пол-Сэмюэл Иствуд Хэрман. Мы с ним закупили в том самом кафе на обочине столько жаренного на вертеле мяса, что у нас животы могли изнутри сгореть, если бы мы тщательно не сбивали пламя подходящими огнетушителями — одним за другим.

Не надо, старина, кивать головой и тянуться к своим дурацким гранкам. Я еще не кончил.

Примерно в те дни я уехал погостить в загородный дом к одному своему другу — тому самому, которого я учил ходить по снегу. Я вам, по-моему, это рассказывал. И получилось так, что профессора Хэрмана я не видел три или четыре месяца.

По возвращении в город я сразу постарался с ним увидеться, поскольку был уверен, что он уже запродавал какой-нибудь японской фирме патент на получение энергии из ничего и прошел номинацию на Нобелевскую премию. Я считал, что он ни за что не станет меня сторониться и что обед в «Короле гамбургере» вполне может стать реальностью. В предвкушении обеда я даже захватил бутылку кетчупа, сделанного по собственному моему рецепту.

Я его нашел в его кабинете, где он сидел, тупо уставившись в стенку. Лицо у него было покрыто трехдневной щетиной, а костюм выглядел так, будто в нем

спали три ночи подряд, хотя сам профессор имел вид человека, не спавшего уже четыре ночи. Разрешать суть этого парадокса я не стал и пытаться.

Я спросил:

— Профессор Хэрман, что случилось?

Он взглянул тусклыми глазами. Постепенно, микроскопическими дозами, в них появлялось выражение, близкое к сознательному.

— Джордж? — спросил он.

— Именно я, — заверил я его.

— Это не помогло, Джордж, — сказал он. — Вы меня подвели.

— Подвел вас? Чем?

— Статья. Ее напечатали. Ее все прочли. Каждый, кто читал, нашел ошибку в математических доказательствах. Причем все нашли разные ошибки. Вы обманули меня, Джордж. Вы сказали, что поможете мне, — и не помогли. И я могу теперь сделать только одно. Я подытожил счета из того кафетерия на углу. Вы мне должны 116 долларов 50 центов только за пиццу, Джордж.

Я был в ужасе. Если мои друзья взялись за суммирование счетов, то к чему мы придем? Этак даже вы начнете подсчитывать свои убытки, невзирая на свои нелады со сложением и вычитанием.

— Профессор Хэрман, — ответил я. — Я вас не подводил. Я вам обещал, что вы увидите свою статью напечатанной, — и вы увидели. Более ничего я вам не обещал. Отсутствие ошибок в вашей математике я вам не гарантировал никак. Откуда мне знать, что вы там напутали?

— Я не напутал! — в его голосе от возмущения появилась сила. — Там все правильно.

— Но как же те профессора, что нашли у вас ошибки?

— Дураки все как один. Они математики не знают.

— Но все они нашли разные ошибки?

— Именно так. — Голос у него вырос почти до нормального, а глаза заблестели. — Мне надо было это предвидеть. Они некомпетентны и должны быть некомпетентными. Если бы они знали математику, они нашли бы *одну и ту же* ошибку.

Но блеск в глазах тут же потух, и голос упал.

— Но что толку? — продолжал он. — Моя репутация погублена. Я стал посмешищем навсегда. Если только... только...

Он вдруг резко приподнялся и схватил меня за руку.

— Если только я им не покажу.

— Но как вы сможете показать, профессор?

— До сих пор у меня была только теория, цепь аргументов, утонченные математические рассуждения. С этим можно спорить и можно пытаться опровергнуть. Если я смогу на самом деле создать эти пары частиц и античастиц, если я смогу создать их в достаточных количествах и высвободить существенные запасы энергии из ничего...

— Да, но сможете ли вы?

— Должен быть способ. Я должен подумать — подумать — подумать...

Он склонился головой на руки и пробормотал: «Подумать... подумать». Потом он вдруг посмотрел на меня и прищурился.

— В конце концов, это уже было сделано раньше.

— Было?

— Я абсолютно уверен, — заявил он. — Восемьдесят лет назад какой-то русский наверняка разработал метод для получения энергии из вакуума. В то время Эйнштейн только что построил свою теорию на основании изучения фотоэффекта, и из нее это можно было вывести...

Не буду скрывать, что отнесся к этому скептически.

— А как звали этого русского?

— Откуда мне знать? — возмущенно ответил Хэрман. — Но он явно создал массу частиц на земле и массу античастиц в космосе за пределами атмосферы — просто для демонстрации. Они понеслись друг другу навстречу и столкнулись в атмосфере. Это было в тысяча девятьсот восьмом году в Сибири, возле реки Тунгуска. Явление назвали Тунгусским метеоритом. Никто не мог понять его сути. Все деревья на расстоянии сорока миль повалены, а кратера не осталось. Но мы-то теперь понимаем, в чем дело, правда ведь?

Он сильно возбудился и вскочил на ноги, стал бегать вприпрыжку и потирать руки. Из него так и лез энтузи-

азм, перемежаемый примерно следующими рассуждениями:

— Этот русский, кто бы он ни был, специально выбрал для эксперимента центр Сибири, чтобы не повредить населенным районам, но сам наверняка погиб при взрыве. А в наши дни мы можем провести эксперимент с помощью дистанционного управления по радио.

— Хэрман, — сказал я, потрясенный его намерениями, — вы же не собираетесь ставить опасных экспериментов?

— Это я-то не собираюсь? Как бы не так! — прошипел он, и на его лице появилось выражение чистого зла. В этот момент его сумасшествие стало явным. Помните, я говорил вам, что он был ученым-психом.

— Я им покажу, — визжал он, — я им всем покажу! Они у меня посмотрят, можно получать энергию из вакуума или нельзя. Я такой взрыв устрою, что Земля содрогнется до самого нутра. Они мне посмеются!

И вдруг он напустился на меня:

— Убирайся отсюда, ты! Пошел вон! Ты хотел украсть мою идею — не выйдет! Я тебе сердце вырежу и собакам брошу!

Продолжая что-то бессвязно выкрикивать, он схватил со стола что-то острое и бросился ко мне.

Обо мне можно сказать всякое, старина, но никто не скажет, что я навязывал свое присутствие там, где оно нежелательно. Я с достоинством удалился, поскольку истинный джентльмен ни на какой скорости не теряет своего достоинства.

С Хэрманом я больше не виделся; знаю только, что в Недоумлендском ПКУО он больше не работает.

Вот и вся история про сумасшедшего ученого.

Я внимательно посмотрел на лицо Джорджа, на котором, как всегда, застыло невинно-простодушно-доброжелательное выражение.

— Когда это все случилось, Джордж? — спросил я.

— Несколько лет назад.

— У вас, наверное, сохранился отпечаток статьи профессора Хэрмана?

— Честно говоря, у меня его нет.

— Может быть, ссылка на журнал, в котором она была напечатана?

— Мне даже в голову не приходило ее записывать. Меня такие тривиальности не интересуют, друг мой.

— Джордж, я вам не верю ни на грош и ни на секунду. Вы мне говорите, что это ваш сумасшедший приятель пытается устроить огромное столкновение материи с антиматерией. А я вам говорю, что это чушь.

— С точки зрения вашего душевного спокойствия, — мягко сказал Джордж, — лучше всего продолжать думать именно так. И тем не менее, где-то в этом мире упорно работает профессор Хэрман. Из его последних путаных замечаний я понял, что он захочет повторить тунгусское событие где-то в низовьях Потомака. Он заявил, что сразу после центра Сибири и, возможно, пустыни Гоби следующее наименее ценное место на Земле, которое ничуть не жалко, — это Вашингтон, округ Колумбия. Конечно, его разрушение наведет то, что еще останется от правительства, на мысль, что Советы нанесли термоядерный удар, и они тут же ответят, а потом весь мир сгорит в термоядерной войне. Кстати, друг мой, не могли бы вы одолжить мне пятьдесят долларов до первого числа?

— С чего вдруг?

— Если Хэрман добьется своего, деньги утратят всякое значение, и вы ничего не потеряете. Или, другими словами, потеряете все — так что при этом значат лишние пять десятков?

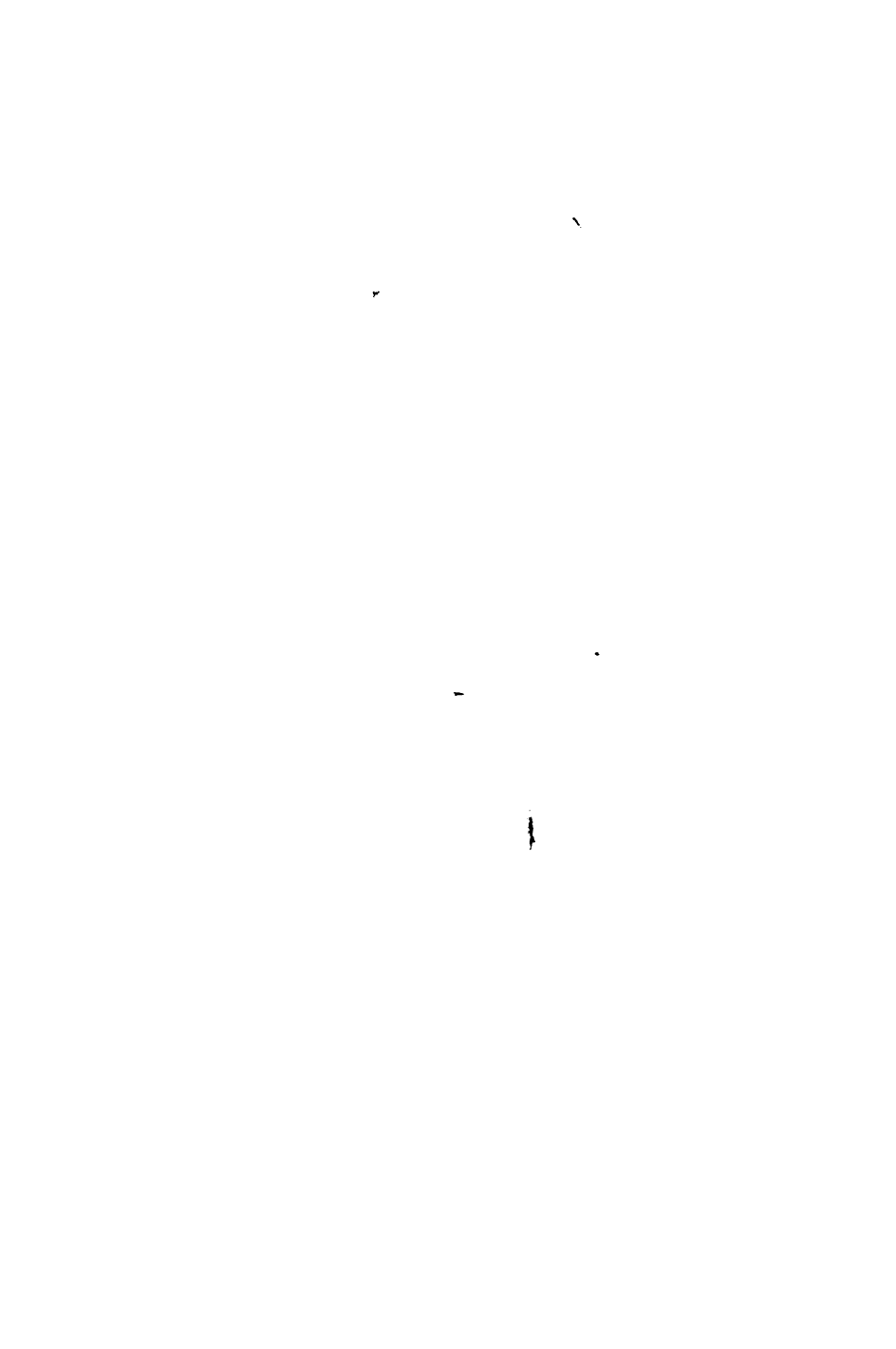
— А если он потерпит неудачу?

— На фоне безмерной радости спасения человечества от неминуемой гибели — каким мелочным человечком надо быть, чтобы жаться над несчастной полусотней долларов?

Я дал ему пятьдесят долларов.



ТУПИК



ТАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ

12 апреля 2117 года тормозной клапан модулятора поля в Двери, принадлежащей миссис Ричард Хэншо, был по неизвестным причинам деполяризован. В результате день у миссис Хэншо абсолютно пропал, а у ее сына, Ричарда-младшего, впервые проявился его странный невроз.

Этот недуг не имел ничего общего с тем заболеванием, которое в обычных учебниках называется неврозом, и молодой Ричард вел себя во многих отношениях достойно, как и должен вести себя хорошо воспитанный двенадцатилетний мальчик из семьи, живущей в достатке.

И все же с 12 апреля Ричард Хэншо-младший соглашался проходить через Дверь с большой неохотой.

При всем этом 12 апреля миссис Хэншо не имела никаких предчувствий. Она проснулась утром (обычным утром), когда механо проскользнул в ее комнату с чашечкой кофе на небольшом подносе. Миссис Хэншо планировала после обеда отправиться в Нью-Йорк, но сначала ей предстояло закончить несколько дел, которые нельзя было доверить механо, поэтому после одно-

го-двух маленьких глотков она решительно встала с постели.

Механо попятился, бесшумно двигаясь на диамагнитном поле, которое поддерживало его продолговатый корпус в полудюйме от пола. Он укатил на кухню, где его простенький компьютер вполне справлялся с кнопками управления кухонных приборов, готовя заказанный завтрак.

Одарив обычным сентиментальным взглядом кубографию покойного мужа, миссис Хэншо с удовольствием приступила к обычному утреннему ритуалу. Она слышала, как сын с грохотом завершал свои утренние сборы, и знала, что докучать ему не стоит. Механо хорошо отрегулирован и, конечно же, проследит за тем, чтобы мальчик принял душ, сменил белье и съел питательный завтрак. Терго-душ, который она установила год назад, превращал утренние ванны и растирания в быструю и приятную процедуру, поэтому миссис Хэншо не сомневалась, что Дикки вымоется без надзора.

В такое утро, как это, когда предстояло столько дел, ей оставалось лишь запечатлеть торопливый поцелуй на щеке сына перед его уходом. Она услышала тихий перезвон, которым механо указывал на приближение времени школьных занятий, и спустилась в скоростном лифте, чтобы исполнить материнский долг (фасон прически этого дня пока только схематически намечался).

Она застала Ричарда уже у выхода. На его ремне болтались текстовые кассеты и карманный проектор; мальчик пылал от возмущения.

— Ты знаешь, мам, — произнес он, поднимая голову, — я набрал координаты школы, но ничего не произошло.

— Чепуха, Дикки, — ответила она почти машинально. — Я никогда не слышала ни о чем подобном.

— Тогда попробуй сама.

Миссис Хэншо несколько раз попыталась ввести код. Странно — школьная Дверь должна быть настроена на постоянный прием. Она поэкспериментировала с другими координатами. Двери ее друзей могли быть заперты программами запрета, но, по крайней мере, пришел бы сигнал отказа, и тогда бы у нее появилось объяснение.

Однако ничего не происходило. Несмотря на ее манипуляции Дверь оставалась инертной серой преградой. Да, с ней было что-то не в порядке, а ведь обслуживающая фирма проводила ежегодный осенний осмотр всего пять месяцев назад.

Миссис Хэншо даже немного расстроилась.

И нужно же было случиться такому именно в тот день, когда она запланировала столько дел! Миссис Хэншо с досадой вспомнила, что месяц назад отказалась от дополнительной Двери, посчитав ее установку излишней тратой денег. Но кто же знал, что Двери могут быть такими дрянными?

Она подошла к визифону и в пылу гнева, сгоряча, сказала Ричарду:

— Тебе придется пройтись по дороге, Дикки, и воспользоваться Дверью Уильямсонов.

Ричард заартачился — какая ирония судьбы в свете последующих событий!

— Ну вот еще, мам, стану я пачкаться. Почему бы мне не остаться дома, раз уж Дверь заклинило?

И как назло, по той же иронии, миссис Хэншо начала настаивать. Положив ладонь на наборную панель визифона, она оборвала возражения сына:

— Ты не запачкаешься, если наденешь туфли флексы. Да не забудь снять их перед тем, как будешь входить в их дом.

— Вот уж, ей-богу...

— Не дерзи, Дикки. Тебе следует быть в школе. Я все равно не успокоюсь, пока ты не уйдешь. И живо, не то опоздаешь.

Механо, новейшая модель и очень сообразительная, уже стоял перед Ричардом с флексами в одной из подвесок.

Ричард натянул на туфли экранирующие чехлы из прозрачного пластика и с явной неохотой спустился в холл.

— Я даже не знаю, как они работают, мам.

— Просто нажми на кнопку! — крикнула миссис Хэншо. — Красную кнопку. Там, где написано «Использовать в случае крайней необходимости». И не трать попусту время. Если хочешь, с тобой пойдет механо.

— Ну уж нет, — мрачно отозвался Дикки снизу. — За кого ты меня принимаешь? За ребенка? Черт!

Его ворчание оборвалось звуком хлопнувшей двери.

Легкими взмахами пальчиков миссис Хэншо набрала на панели визифона нужную комбинацию, прокручивая в уме все то, что хотела высказать компании.

Джо Блум, рассудительный молодой человек, закончивший технологический институт с расширенной программой обучения в области механизмов силовых полей, появился в доме миссис Хэншо примерно через полчаса. И хотя хозяйка отнеслась к его возрасту с подозрением, он действительно оказался хорошим специалистом.

Услышав звонок, она открыла раздвижную панель стены и увидела юношу как раз в тот момент, когда он энергично отряхивался, счищая пыль открытого пространства. Он снял флексы и оставил их у порога. Ослепленная проникшим в комнату неотфильтрованным солнечным светом, миссис Хэншо закрыла панель. В глубине души она надеялась, что пешая прогулка от общественной Двери к ее дому была для парня неприятной. А если бы общественная Дверь тоже оказалась неисправной, ему пришлось бы тащить свои инструменты бог знает откуда, а не эти двести ярдов. Ей хотелось, чтобы фирма или, по крайней мере, ее представитель хоть немного пострадали. Это бы показало им, что означают неисправные Двери.

Но юноша выглядел бодрым и невозмутимым.

— Доброе утро, мадам. Я пришел посмотреть вашу Дверь.

— Буду рада, если это кто-то сделает, — ворчливо ответила она. — Мой день безнадежно испорчен.

— Приношу извинения, мадам. В чем заключаются ваши претензии?

— Она просто не работает. Ничего не происходит, когда набираешь координаты, — заговорила миссис Хэншо. — Никаких признаков действия. Я отправила своего сына к соседям через это... ну которое вон там.

Она кивнула в сторону служебного входа, которым воспользовался ремонтник.

Он улыбнулся и блеснул познаниями своего специфического образования:

— Это тоже дверь, мадам. Но с маленькой буквы. Это простейший ручной механизм. И когда-то люди пользовались только такими дверями.

— Хорошо, что хоть она работает. Мой мальчик пошел по грязи и микробам.

— Сегодня снаружи не так и плохо, — сказал он с видом знатока, который по долгу службы выходит в открытое пространство почти ежедневно. — Иногда бывает действительно мерзко. Но мне кажется, вы хотите, чтобы я занялся Дверью, мадам, — поэтому разрешите приступить к делу.

Он устроился на полу, открыл большую сумку с инструментами, которую принес с собой, и за полминуты, используя калибровочный демагнетизатор, удалил наборную панель и оголил платы наиболее важных частей устройства.

Тихо насвистывая, он тыкал тонкими электродами анализатора поля в многочисленные точки; его взгляд не отрывался от стрелок на шкалах прибора. Миссис Хэншо наблюдала за ним, скрестив руки на животе.

— Ага, что-то здесь, — в конце концов сказал он и, ловко изогнувшись, освободил тормозной клапан. Он постучал по нему ногтем и сказал: — Ваш тормозной клапан деполяризован, мадам. В нем и были все ваши проблемы.

Юноша провел пальцем по маленьким кармашкам своей сумки и извлек дубликат платы, которую удалил из механизма Двери.

— Такие неполадки всегда внезапны. Предугадать их невозможно. — Он установил наборную панель на место и поднялся. — Теперь она будет работать, мадам.

Молодой человек набрал комбинацию эталона, сбросил ее, затем набрал другую. Каждый раз мутная серость Двери уступала место густой бархатной черноте.

— Вам не трудно будет расписаться здесь, мадам? — спросил он. — И пожалуйста, укажите внизу номер вашего счета. Благодарю вас, мадам.

Юноша набрал на панели новую комбинацию, вероятно номер своей мастерской, и, учтиво коснувшись пальцем лба, шагнул в Дверь. Когда он вошел в черноту, его как ножом обрезало. Тьма медленно поглотила его

тело; последней исчезла сумка с инструментами. Через секунду после его исчезновения Дверь вновь стала тускло-серой.

А еще через полчаса, когда миссис Хэншо наконец закончила прерванные приготовления и почти пришла в себя от утренних неурядиц, раздался тревожный звонок, и начались ее настоящие проблемы.

Мисс Элизабет Роббинс мучили сомнения. Маленький Дик Хэншо считался хорошим учеником. Она не любила жаловаться. И все же, говорила она себе, поступок мальчика был более чем странным. Поэтому она решила побеседовать с его матерью, а не с директором школы.

Во время утренних занятий, оставив за старшего одного из учеников, мисс Роббинс тайком проскользнула к визифону. Она набрала код соединительной линии и тут же увидела красивое, но чем-то грозное лицо миссис Хэншо.

Мисс Роббинс вздрогнула, но отступать было поздно, и она робко представилась:

— Миссис Хэншо, я мисс Роббинс.

Фраза повисла на высокой ноте.

Миссис Хэншо озадаченно взглянула на нее и спросила:

— Вы учительница Ричарда?

Она тоже закончила фразу на высокой ноте. И мисс Роббинс решила пойти напролом.

— Да, вы правы. И я хочу вам сообщить, что Дик сегодня опоздал на урок.

— Он опоздал? Но этого не может быть. Я сама видела, как он уходил.

Мисс Роббинс казалась удивленной.

— Вы хотите сказать, что видели, как он входил в Дверь?

— О нет, — быстро поправилась миссис Хэншо. — Наша Дверь какое-то время была неисправна. Я отправила его к соседям, и он воспользовался их Дверью.

— Вы в этом уверены?

— Конечно, что за вопрос? Неужели я вам буду лгать?

— Нет-нет, миссис Хэншо. Я не это имела в виду. Мне хотелось узнать, вы уверены, что он заходил к соседям? Он же мог заблудиться и не найти их.

— Это невозможно. У нас есть проверенные карты, и я убеждена, что Ричард знает расположение каждого дома в районе А-3. — С достоинством человека, который знает себе цену, она гордо добавила: — Конечно, это ему никогда не понадобится. В наше время не понадобится. В наше время достаточно запомнить координаты.

Учительницу оскорбило самодовольство светской дамы. Сама она вышла из семьи, где в целях экономии редко пользовались Дверью (цена тогда была немалая), и ей приходилось бегать по поручениям пешком вплоть до совершеннолетия. Поэтому она вполне отчетливо сказала:

— Так вот, миссис Хэншо, боюсь, что Дик не воспользовался Дверью ваших соседей. Он опоздал в школу на целый час, а вид его флексов убеждает, что он шел пешком по пересеченной местности. Они были грязными.

— Грязными? — ужаснулась миссис Хэншо. — И что он вам сказал? Как оправдался?

К своему стыду, мисс Роббинс почувствовала маленькую радость, вызвав замешательство другой женщины.

— Он отказался от объяснений, — сказала она. — Но если честно, миссис Хэншо, мальчик выглядит больным. Вот почему я позвонила вам. Возможно, даже стоит отвести его к доктору.

— У него поднялась температура?

Голос матери стал пронзительным.

— О нет. Я имела в виду не физический недуг. Это касается его поведения. Видели бы вы его глаза! — Она нерешительно помолчала и, стараясь быть деликатной, добавила: — Я думаю, что обычная проверка с зондированием психики...

Она не закончила, потому что миссис Хэншо издала вежливое фырканье, какое ей позволяло ее воспитание, и визгливо произнесла:

— Вы полагаете, что Ричард неврастеник?

— О нет, миссис Хэншо, но...

— И все же прозвучало именно так. Впрочем, я знаю, что делать! Он всегда был абсолютно здоровым мальчиком. Я поговорю с ним, когда он вернется домой. И я уверена, что мне он даст вполне нормальное объяснение.

Разговор резко оборвался, и мисс Роббинс почувствовала себя немного задетой и поставленной в глупое положение. В конце концов она хотела, как лучше, и просто исполнила то, что считала своим долгом перед учениками.

Взглянув на металлическую поверхность настенных часов, она заторопилась обратно в класс. Урок подходил к концу, и следующим было сочинение по английскому языку.

Но ее мысли витали вдали от сочинений. Она автоматически вызывала учеников, и те зачитывали части своих литературных произведений. Иногда она перфориовала одну из этих частей и пропускала ее через небольшой вокализатор, демонстрируя ученикам, как следует говорить по-английски.

Механический голос вокализатора как всегда произносил слова с идеальным совершенством, но вновь, как всегда, терялась индивидуальность. Иногда она даже сомневалась, благоразумно ли учить детей речи, которая отделена от личности и связана лишь с введенными в массовое обращение произношением и интонацией.

Однако сегодня она не думала об этом. Она следила за Ричардом Хэншо. Мальчик тихо сидел на своем месте и был явно безразличен ко всему, что происходило вокруг. Он глубоко ушел в свои мысли и совершенно не походил на того подростка, которого она знала. Мисс Роббинс догадывалась, что этим утром мальчик пережил какое-то событие, и она поступила правильно, позвонив его матери, хотя, возможно, ей не следовало говорить о зондировании. Но это так модно в наше время. Все люди проходят зондирование. В нем нет ничего постыдного. Во всяком случае не должно быть.

В конце концов она вызвала Ричарда. Ей пришлось окликнуть его дважды, прежде чем он отреагировал на ее слова и поднялся.

Общей предложенной темой было следующее: «Если бы у тебя появилась возможность путешествовать на

каком-нибудь древнем транспортном средстве, что именно ты выбрал бы и почему?» Мисс Роббинс пользовалась этой темой каждый семестр. Тема вызывала ощущение истории и этим была хороша. Она заставляла учеников размышлять об образе жизни людей прошлых поколений.

Мисс Роббинс прислушалась к тихому голосу Ричарда Хэншо.

— Если бы я мог выбрать древнее средство передвижения, — сказал он, произнося «ф» вместо «в», — я бы выбрал страталайнер. Он летит медленный, как и все другие древние средства, но он чистый. К тому же из-за полетов в стратосфере, он должен быть весь закрыт, поэтому на нем невозможно подцепить какую-нибудь болезнь. А ночью с него можно смотреть на звезды так же хорошо, как и в планетарии. Взглянув вниз, вы бы увидели Землю, похожую на карту, и могли бы даже заметить облака...

Он зачитал еще несколько сотен слов.

После того как мальчик кончил читать, она поправила его:

— Ричард, это произносится пере-дви-же-ние. Никаких «ф». Ударение на первый слог. И не следует говорить «летит медленный», а вместо «смотреть хорошо», я бы написала «хорошо видно». Что скажет класс?

Выслушав несколько ответов, она перешла к главной теме урока.

— Все правильно. Но какая разница между прилагательным и наречием? Кто мне может сказать?

Занятия продолжались. Когда подошло время ленча, некоторые ученики остались в классе, другие отправились домой. Ричард остался. Мисс Роббинс отметила это, потому что прежде он никогда не оставался.

Послеобеденные занятия закончились, прозвенел последний звонок, и началась обычная суматоха, когда двадцать пять мальчиков и девочек, с грохотом роняя вещи, не спеша занимали свои места в очереди.

Мисс Роббинс захлопала в ладони.

— Быстрее, дети. Зедда займи свое место.

— Я уронила ленточный перфоратор, мисс Роббинс! — оправдываясь, воскликнула девочка.

— Хорошо, поднимай его, поднимай. А теперь, дети, живее, живее.

Она нажала на кнопку, и часть стены скользнула в специальную нишу, открывая серую пустоту большой Двери. В отличие от обычной Двери, через которую некоторые ученики уходили домой на переменах, эта была самой последней моделью и являлась предметом гордости их состоятельной частной школы.

Будучи вдвое шире обычной, она обладала большим и впечатляюще оснащенным «автоматом последовательного поиска», который мог настраивать Дверь на серию различных координат через заданные интервалы времени.

В начале каждого семестра мисс Роббинс всегда посвящала часть дня настройке этого прибора, вводя координаты домов своих новых учеников. Зато потом весь оставшийся срок он, слава богу, почти не требовал к себе внимания.

Класс выстроился по алфавиту — сначала девочки, потом мальчики. Дверь стала бархатисто-черной, и Эстер Адамс, помахав рукой, шагнула в пустоту.

— До за-а-ав...

Прощание оборвалось на середине, почти как всегда.

Дверь стала серой, затем снова почернела, и через нее прошла Тереза Кантроччи. Серая, черная — и ушла Зелда Карлович. Серая, черная — Патриция Кумбс. Серая, черная — Сара Мей Эванс.

Очередь становилась все короче. Дверь проглатывала девочек одну за другой, отправляя их по домам. Иногда некоторые мамы забывали настроить домашнюю Дверь на режим приема в положенное время, и тогда школьная Дверь оставалась серой. После минутного ожидания механизм автоматически переходил к следующей комбинации, а незадачливый ученик ждал, пока пройдут все остальные, после чего звонок из школы напоминал забывчивым родителям о правилах и долге. Подобная небрежность всегда плохо действовала на учеников, особенно впечатлительных, которых больно задевало доказательство того, что дома о них думают мало. Мисс Роббинс старалась объяснить это родителям, но каждый семестр такие случаи хотя бы раз, но повторялись.

Все девочки прошли через Дверь. Ушел Джон Абрамович, за ним — Эдвин Бирн...

Конечно, чаще возникала другая проблема — когда кто-нибудь из мальчиков или девочек занимал не свое место в очереди. Им это удавалось, несмотря на строгий присмотр учителей, особенно в начале учебного года, когда заведенный порядок еще не входил в привычку.

И если такое случалось, с полдюжины детей оказывались не в своих домах. Их присылали обратно, началась путаница, которая отнимала лишнее время и неизменно вызывала нарекания родителей.

Мисс Роббинс внезапно заметила, что очередь остановилась.

— Проходи, Самуэль! — она резко прикрикнула на мальчика в начале очереди. — Чего ты ждешь?

Но Самуэль Джонс взглянул на нее и самодовольно ответил:

— Это не моя комбинация, мисс Роббинс.

— А чья же?

Она нетерпеливо осмотрела пятерых оставшихся мальчишек.

— Кто встал не на свое место?

— Это код Дика Хэншо, мисс Роббинс.

— Где он?

Ей ответил другой мальчик, отвратительным фари-сейским тоном, которым пользуются дети, донося старшим о проступках друзей:

— Он убежал через запасной выход, мисс Роббинс.

— Что?

Дверь классной комнаты перешла на очередную комбинацию, и в ней исчез Самуэль Джонс. Один за другим ушли и остальные.

Как только класс опустел, мисс Роббинс бросилась к запасному выходу. Это небольшое приспособление управлялось вручную, и, чтобы не нарушать единообразной структуры помещения, его разместили за выступом стены.

Она со скрежетом привела механизм в действие. Выход служил для эвакуации из здания на случай пожара и, конечно же, был пережитком прошлого, навязанным устаревшими законами, которые не принимали в расчет современных систем автоматического пожаро-

тушения, устанавливаемых во всех общественных строениях. Снаружи никого не оказалось — только то, что и должно быть снаружи. Солнечный свет резал глаза, в лицо бил пыльный ветер.

Мисс Роббинс закрыла дверь. Как вовремя она позвонила миссис Хэншо. Ее долг исполнен. Вне всяких сомнений, с Ричардом творится что-то странное. Она подавила желание еще раз позвонить матери мальчика.

В тот день миссис Хэншо так и не уехала в Нью-Йорк. Она осталась дома, встревоженная и злая на эту наглую мисс Роббинс.

Ее нервы начали сдавать, и за пятнадцать минут до окончания школьных занятий миссис Хэншо стояла у Двери. В прошлом году она установила автоматическое приспособление, которое ровно без пяти три активировало Дверь на школьные координаты и держало их, запирая ручной набор, до появления Ричарда.

Ее взгляд остановился на мрачной серости (почему неактивированное силовое поле не окрасили в какой-нибудь другой цвет — более живой и веселый). Она ждала. Руки стали холодными как лед, и она сцепила пальцы.

Дверь стала черной с точностью до секунды, но ничего не произошло. Время летело, Ричард опаздывал — а потом вдруг стало поздно. Потом стало очень поздно.

Без четверти четыре она пришла в отчаяние. Конечно, ей следовало позвонить в школу, но она не могла сделать это, не могла. Особенно после того как учительница выразила сомнение в психическом здоровье Ричарда. Ну как же звонить после этого?

Миссис Хэншо беспокойно зашагала по комнате, дрожащими пальцами прикурила сигарету, но тут же раздавила ее в пепельнице. А если произошло что-то вполне обычное? Возможно, Ричарда задержали в школе какие-то дела? Но в таком случае он бы обязательно предупредил ее заранее. И тут ее осенило, что Ричард знал о ее предстоящей поездке в Нью-Йорк, а значит, мог не вернуться до самого вечера...

Нет, он бы предупредил ее. Хотя зачем себя обманывать?

Ее гордость была сломлена. Миссис Хэншо закрыла глаза, и слезы просочились сквозь сомкнутые ресницы. Она была готова звонить в школу и даже в полицию.

А когда она открыла глаза, перед ней, потупив голову, стоял Ричард, и весь его вид был жалким и обреченным.

— Привет, мам.

Тревога миссис Хэншо тут же превратилась в гнев (да, так умеют только мамы).

— Где ты был, Ричард?

Прежде чем завести обычные причитания о беспечных неблагодарных сыновьях и разбитых сердцах матерей, она осмотрела его повнимательней и ужасе выдохнула:

— Ты был в открытом пространстве!

Ее сын устался на свои перепачканные туфли (флексy где-то потерялись), полосы грязи покрывали его руки, а на рубашке зияла небольшая, но хорошо заметная дыра.

— Ей-богу, мам, я просто подумал, что... — И он замолк.

— Со школьной Дверью тоже что-то не в порядке?

— Нет, мам.

— Ты хоть понимаешь, что я чуть не заболела, переживая за тебя?

Она напрасно ожидала ответа.

— Ладно, молодой человек, об этом мы поговорим позже. А сейчас ты примешь душ и выбросишь всю свою одежду до нитки. Механо!

Но механо уже отреагировал на фразу «примешь душ» и устремился в ванную, плавно и тихо скользя над полом.

— Снимай туфли и отправляйся за механо, — велела миссис Хэншо.

Ричард покорно исполнил приказание, понимая, что протесты бесполезны.

Миссис Хэншо подняла перепачканную обувь кончиками пальцев и бросила в мусоропровод, который испуганно взвыл от неожиданной нагрузки. Она тщательно вытерла руки тряпкой и швырнула ее в мусоропровод вслед за туфлями.

Во время обеда она не вышла к Ричарду, и он ел в обществе ненавистного ему механо. Она считала, что столь явное выражение недовольства лучше любых упреков и наказаний заставит мальчика понять всю глубину проступка. А Ричард, как она часто говорила себе, был очень чувствительный ребенок.

Но перед сном миссис Хэншо пришла навестить его.

Она улыбнулась ему и мягко заговорила. Ей казалось, что так будет лучше всего. В конце концов, он и так уже наказан.

— Что сегодня произошло, Дикки, сынуля?

Она называла его так только в детстве, и эти слова растрогали ее саму почти до слез.

Но сын отвернулся.

— Мне не нравится проходить через эти чертовы Двери, мам, — холодно и упрямо ответил он.

— Но почему, дорогой?

Он потер ладонями по тонкой простыне (свежей, чистой, стерилизованной и, конечно же, одноразового пользования).

— Просто они мне не нравятся.

— А как же ты намерен ходить в школу, Дикки?

— Я буду ходить пешком, по земле, — нерешительно пробормотал он.

— Сынок, в Дверях нет ничего плохого.

— Мне они не нравятся.

Он никогда так не смотрел на нее.

В отчаянии она сказала:

— Ладно, тебе надо хорошенько выспаться, и завтра утром ты будешь чувствовать себя гораздо лучше.

Она поцеловала его и вышла из комнаты, автоматически проведя рукой по фотозлементу луча, чтобы погасить освещение.

Той ночью она долго не могла уснуть. С чего Дикки вдруг невзлюбил Двери? Они никогда не тревожили его прежде. Да, сегодня утром произошла поломка, но это, наоборот, должно было показать мальчику неоценимые достоинства Дверей.

Дикки вел себя неразумно.

Неразумно? Она вспомнила о мисс Роббинс и ее диагнозе. В темноте и уединении спальни она позволила себе тихонько выругаться. Что за чушь! Мальчик просто

расстроился, и крепкий сон будет той терапией, которая ему необходима.

Однако на следующее утро, встав с постели, она обнаружила, что Ричарда нигде нет. Механо не мог говорить и отвечал на вопросы жестами подвесок, которые означали либо «да», либо «нет». Менее чем за полминуты миссис Хэншо выяснила, что мальчик встал на тридцать минут раньше обычного, наскоро вымылся в душе и ушел из дома.

Но не через Дверь.

Вернее, через дверь — но с маленькой «д».

Визифон благовоспитанно просигналил в 15.10. Миссис Хэншо догадывалась, кто ей может звонить, и, включив приемное устройство, убедилась в правильности своих предположений. Быстрый взгляд в зеркало убедил ее, что, несмотря на терзающие мысли и тревоги в течение дня, выглядит она довольно спокойно, поэтому она включила передатчик и с холодком сказала:

— Я слушаю вас, мисс Роббинс.

Учительница Ричарда с трудом перевела дыхание.

— Миссис Хэншо, Ричард опять ушел через запасной выход, хотя я настаивала, чтобы он воспользовался нормальной Дверью, — сказала она. — И я не знаю, куда он отправился.

— Он пошел домой, — осторожно ответила миссис Хэншо.

Мисс Роббинс смутилась.

— Так вы это одобряете?

Миссис Хэншо побледнела и решила тут же поставить учительницу на место.

— Я не думаю, что у вас есть повод поучать меня. Если мой ребенок не хочет пользоваться Дверью, это касается только его и меня. К тому же я не помню каких-либо школьных правил, которые регламентировали бы использование Двери, — не так ли?

Весь ее вид вполне очевидно говорил о том, что если какие-то правила и есть, она позаботится об их немедленной отмене.

Мисс Роббинс покраснела.

— И все же я бы отправила его на зондирование. Обязательно бы отправила! — быстро произнесла она и исчезла с экрана.

Миссис Хэншо застыла перед пластиной кварциниума, слепо уставившись на чистую поверхность. Родственные чувства довольно прочно удерживали ее несколько мгновений на стороне Ричарда. Почему он должен пользоваться Дверью, если не хочет? В любом случае ей оставалось только ждать, и чувство собственного достоинства боролось с грызущими сомнениями в психическом здоровье Ричарда.

Он пришел домой, взгляд его был вызывающим, но мать с огромным усилием взяла себя в руки и встретила его так, словно ничего необычного не случилось.

Несколько недель она придерживалась этой линии поведения. «Ничего страшного, — говорила она себе. — Это просто каприз. И скоро он вырастет из него».

Дела вошли почти в нормальное русло. А дня три кряду, спускаясь вниз к завтраку, она находила Ричарда у Двери. Он утрюмо ждал начала урока, после чего уходил в черный прямоугольник. Она всегда воздерживалась от замечаний по этому поводу.

И всегда, когда он пользовался Дверью, а особенно когда возвращался через нее домой, на душе миссис Хэншо теплело, и она думала: «Ну вот и все, закончилось». Но через день, два или три он, как наркоман, принимался за старое и украдкой выскальзывал в дверь — с маленькой «д» — еще до того, как мать успевала проснуться.

И каждый раз она в отчаянии думала о психиатрах и зондировании, но, представив себе довольное лицо невоспитанной мисс Роббинс, которая могла обо всем пронюхать, миссис Хэншо останавливалась, хотя едва ли понимала истинную причину своей нерешительности.

Вот так она жила и делала, что могла. Она велела механо поджидать мальчика у двери — с маленькой «д» — приготовив терго-душ и смену одежды. Ричард покорно мылся и переодевался. Его белье, носки и флексы без промедления выбрасывались, миссис Хэншо безропотно несла ежедневные расходы на рубашки. В конце концов она продлила срок носки брюк до

недели при условии их тщательной ежевечерней дезинфекции.

Однажды она предложила Ричарду сопровождать ее в Нью-Йорк. Это было продиктовано скорее смутным желанием держать его у себя на виду, чем частью какого-то хитроумного плана. И он не возражал. Он светился от счастья. Мальчик беззаботно прошел через Дверь. Он не колебался. Он даже избавился от обиженного вида, который напускал на себя по утрам, когда уходил в школу через Дверь.

Миссис Хэншо обрадовалась. Это могло вновь приучить его пользоваться Дверью, и она подстегнула свою изобретательность, стараясь как можно больше путешествовать вместе с Ричардом. Она мобилизовала свою энергию до немыслимых высот и организовала однодневную поездку в Кантон, чтобы полюбоваться китайским фестивалем.

Это было в воскресенье, а на следующее утро Ричард как обычно ушел через дыру в стене. Миссис Хэншо, проснувшись особенно рано, сама стала свидетельницей этого. И на сей раз, потеряв терпение, она жалобно окликнула его:

— А почему не в Дверь, Дикки?

— Дверь хороша для Кантона, — кратко ответил он и ушел из дома.

Так ее план окончился неудачей. А потом, в один из дней, Ричард вернулся домой насквозь промокший. Механо нерешительно крутился вокруг него, а миссис Хэншо, только что вернувшись из Айовы, где провела четыре часа в гостях у сестры, закричала:

— Ричард Хэншо!

Мальчик пристыженно оправдывался:

— Просто начался дождь. И начался очень неожиданно.

Несколько мгновений она не могла найти слов. От собственных школьных дней и уроков географии ее отделяло двадцать долгих лет. Но она вспомнила их, и в памяти возникли косые струи воды, непрерывно льющейся с неба, — сумасшедший водопад, который невозможно было выключить ни краном, ни кнопкой, ни разрывом контакта.

— И ты не мог переждать под крышей? — спросила она.

— Ну что ты, мам! Я спешил домой, как только мог. Я не знал, что пойдет дождь.

Миссис Хэншо нечего было сказать. Она перепугалась, страх наполнил ее до краев, и для слов не осталось места.

Через два дня у Ричарда потекло из носа и появился сухой скрипучий кашель. Миссис Хэншо пришлось признать, что вирус болезни пробрался в ее дом, словно в жалкую лачугу эпохи Железного века.

Такого она потерпеть не могла, ее упрямству и гордости пришел конец, и она согласилась, что Ричарду нужна помощь психиатра.

Миссис Хэншо выбирала доктора с большой осторожностью. Ее первым побуждением было поискать врача в другом городе. Она даже хотела отправиться в Медицинский центр Сан-Франциско и выбрать кого-нибудь наугад.

Но потом ей пришло в голову, что в таком случае она получит просто анонимного консультанта. Значит, ее уравниют с простыми пользователями общественной Двери в городских трущобах — и на какое внимание она тогда может рассчитывать? С другой стороны, если она останется в своей общине, ее слово будет иметь вес...

Миссис Хэншо просмотрела районную карту — из той превосходной серии, которую подготовила компания «Двери» и бесплатно раздавала клиентам. Каждый раз, раскрывая ее, миссис Хэншо испытывала невольный прилив гражданской гордости. Это был не только прекрасно изданный указатель координат Дверей. Это была настоящая карта, которая обозначала точно выверенное положение каждого дома.

А почему бы и нет? Район А-3 славился во всем мире как символ аристократии. Он стал первой общиной на планете, которую полностью обеспечили Дверями. Первый, самый большой, самый богатый и известный всем район. Здесь не было ни заводов, ни складов. Здесь не было даже дорог. Каждый дом превратился в малень-

кую изолированную крепость, Дверь которой имела выход в любую точку мира, где находилась другая Дверь.

Она внимательно просмотрела кодовый список района А-3, в котором числилось пять тысяч фамилий. Она знала, что среди них найдется и несколько психиатров. В районе А-3 обитали только известные профессионалы.

Доктор Гамильтон Слоун оказался вторым, до имени которого она добралась, и ее палец заскользил по карте. Приемный кабинет доктора находился менее чем в двух милях от ее дома. Ей понравилось его имя. Сам факт, что он жил в А-3, свидетельствовал о достоинствах этого человека. И он жил совсем рядом — практически по соседству. Он должен понять, что это безотлагательное дело — дело, требующее конфиденциальности.

Она решительно позвонила в его приемную и условилась о встрече.

Доктор Гамильтон Слоун выглядел сравнительно молодо, не старше сорока лет. Он был из хорошей семьи и слышал о миссис Хэншо.

Молча выслушав ее, он сказал:

— И это все началось с поломки Двери?

— Совершенно верно, доктор.

— Как вы считаете, может быть, он боится проходить через Двери?

— Конечно, нет. Что за странная идея!

Она откровенно испугалась.

— Все возможно, миссис Хэншо. Все возможно. В конце концов, когда вы перестаете задумываться над тем, как работает Дверь, это еще более путающий симптом. Вы шагаете в Дверь, и в одно мгновение ваши атомы превращаются в энергетическое поле, которое передается в другую часть пространства и снова преобразуется в материю. И в это мгновение вас не существует.

— Я уверена, что никто не думает о таких вещах.

— А ваш сын, возможно, задумался. Он стал свидетелем поломки Двери. И он мог сказать себе: «А что, если Дверь сломается в тот миг, когда я буду на полпути?»

— Но это чушь. Он до сих пор пользуется Дверью. Он даже был со мной в Кантоне — а это уже Китай. К тому же, как я вам уже говорила, раз или два в неделю он проходит сквозь нее в школу.

— По собственной воле? Радостно и весело?

— Вы правы, — неохотно призналась миссис Хэншо. — При этом он выглядит немного расстроенным. Но доктор, что толку рассуждать? Если бы вы сделали быстрое зондирование и посмотрели, в чем проблема, может быть, моим бедам пришел бы конец. — В ее голосе появились бодрые нотки — Я уверена, причина совершенно незначительна.

Доктор Слоун вздохнул. Он питал отвращение к слову «зондирование», но ему приходилось слышать его все чаще и чаще.

— Миссис Хэншо, — сказал он терпеливо, — быстрого зондирования не существует. Я знаю, что страницы журналов пестрят этим словосочетанием и оно стало предметом увлечения в некоторых кругах, но поверьте, его во многом переоценивают.

— Вы серьезно?

— Вполне. Зондирование очень сложно само по себе и по теории заключается в отслеживании психических циклов. Понимаете, клетки мозга связаны друг с другом огромным числом соединительных линий. Некоторые из этих линий используются чаще, чем другие. И именно они определяют склад ума, а также сознательные и бессознательные привычки. По теории зондирования структуру этих взаимосвязей в мозгу можно использовать для предварительного и уверенного диагноза психических недугов.

— Ну так и что же?

— Дело в том, что подвергаться зондированию — очень страшная вещь, особенно для ребенка. Это травмирующее переживание. По времени оно занимает около часа. После чего результаты положено направлять в центральное психоаналитическое бюро для дальнейших исследований — а на это обычно уходит несколько недель. В заключение, миссис Хэншо, мне остается сказать, что есть много психиатров, которые считают теорию анализа и зондирования совершенно непригодной.

Миссис Хэншо поджала губы.

— Вы хотите сказать, что мне ничем нельзя помочь?

Доктор Слоун улыбнулся.

— Не совсем. Психиатрия существовала несколько столетий до зондирования. Я полагаю, вы позволите мне поговорить с мальчиком?

— Поговорить с ним! И это все?

— Я буду обращаться к вам за дополнительной информацией, когда она понадобится, но, думаю, без беседы с мальчиком не обойтись.

— Видите ли, доктор Слоун, я сомневаюсь, захочет ли он обсуждать с вами этот вопрос. Он не желает говорить об этом даже со мной, а ведь я его мать.

— Такое происходит очень часто, — успокоил ее психиатр. — Но иногда ребенок охотнее говорит с незнакомым человеком. В любом случае я должен поговорить с ним, иначе мне придется отказаться от вашего случая.

Миссис Хэншо с разочарованным видом встала.

— Когда вы можете прийти, доктор?

— А что, если в эту субботу? Уроков у мальчика не будет. Вы не заняты в этот день?

— Мы будем вас ждать.

И она величественно удалилась. Доктор Слоун проводил ее через небольшую приемную комнату к Двери его частной клиники и подождал, пока она набрала координаты своего дома. Он смотрел, как она уходит. Сначала она стала половинкой женщины, четвертью женщины, кусочком локтя и ногой, а потом ничем.

И это пугало.

Может ли Дверь испортиться во время передачи, оставив одну половину тела здесь, а другую — там? Он никогда не слышал о подобном случае, но верил, что такое вполне возможно.

Доктор вернулся за стол и сверился с временем следующей встречи. Он понимал, что миссис Хэншо раздражена и разочарована его отказом от лечебного зондирования психики.

Но ради бога, почему? Отчего такая вещь, как зондирование (которое, по его мнению, было не чем иным, как чистым шарлатанством), оказывало такое притягательное воздействие на обычную публику? Вероятно,

это следствие общего влечения к машинам. Все, что может сделать человек, машина делает гораздо лучше. О машины! Огромное количество машин! Машины для всех и каждого! О времена! О нравы!

Да черт с ними!

Негодование по поводу зондирования начинало тревожить его. Возможно, это подсознательный страх технологической безработицы или чувство нестабильности своего положения — механофобия, если можно так сказать...

Он отметил в уме, что надо бы поговорить об этом со своим аналитиком.

Доктор Слоун решил действовать осторожно. Мальчик отличался от пациентов, которые приходили не столько за помощью, сколько для того, чтобы поговорить и излить душу.

В сложившихся обстоятельствах ему хотелось провести первую встречу с Ричардом кратко и ненавязчиво. Лучше всего предстать перед ним обычным незнакомцем. Тогда следующий раз он будет человеком, которого Ричард уже видел. С течением времени он превратится в старого знакомого, а за тем и в друга семьи.

К сожалению, миссис Хэншо вряд ли согласится на столь затянутую процедуру. Она отправится на поиски того, кто согласится провести зондирование, и, конечно же, найдет его.

А значит, ребенку будет нанесен непоправимый вред. Слоун был в этом убежден.

Именно по этой причине он решил пожертвовать осторожностью и вызвать маленький кризис.

Первые десять минут встречи прошли в неловких попытках завязать разговор. Миссис Хэншо, строго улыбаясь, не сводила с доктора глаз, словно ожидала от него немедленного чуда. Ричард, изнывая от скуки и ничуть не скрывая этого, ерзал на своем месте и никак не реагировал на пробные замечания доктора Слоуна.

Но доктору удалось заставить его врасплох.

— Ричард, ты бы не хотел немного погулять со мной?

Глаза мальчика расширились, он перестал вертеться и удивленно взглянул на доктора Слоуна.

— Погулять, сэр?

- Я имел в виду прогулку возле дома.
- Вы гуляете... снаружи?
- Иногда. Когда мне хочется.

Ричард вскочил, сдерживая рвущееся изнутри нетерпение.

- Вот уж не думал, что кто-нибудь на это способен.
- Да, я гуляю. И мне нравится компания.
- Мальчик нерешительно сел.
- Мам?

Миссис Хэншо застыла на месте, в ужасе сжав губы, но она справилась с собой и произнесла:

- Конечно, Дикки. Только будь осторожен.

И она метнула быстрый колючий взгляд на психиатра.

Доктор Слоун солгал. Он не выходил наружу «иногда». Он не бывал под открытым небом с тех самых пор, как закончил колледж. Правда, он (до некоторой степени) не пренебрегал занятиями спортом, но в его время в моде были домашние ультрафиолетовые кабины, бассейны и теннисные корты. Они во многом превосходили открытые спортивные комплексы, в том числе и по цене. Но главное, не было нужды выходить из дома.

Поэтому, когда доктор почувствовал дуновение ветра, по его спине поползли мурашки. Он надел флекссы и робко ступил на ничем не прикрытую траву.

- Ой, вы только посмотрите!

Ричард стал совершенно другим — он смеялся, от его замкнутости не осталось и следа.

Доктор Слоун мельком заметил стремительный полет голубого существа, который завершился где-то на дереве. Листва зашелестела, скрывая от глаз невиданное создание.

- Что это было?

— Птица, — ответил Ричард. — Какая-то голубая птица.

Доктор Слоун удивленно посмотрел на мальчишку. Дом Хэншо стоял на возвышенности, откуда было видно на много миль вокруг. Невдалеке росли деревья, и между стволами в потоках солнечного света ярко блестела трава.

На фоне зелени отчетливо проступали красные и желтые пятна. Он узнал цветы. Он не раз видел их в книгах и старых видеофильмах, к тому же доктор был достаточно образован, и, наверное, поэтому все вокруг казалось ему до жути знакомым.

И все же трава выглядела слишком опрятной, а цветы составляли замысловатые узоры. В глубине души он ожидал чего-то более дикого.

— Кто-то заботится обо всем этом?

Ричард пожал плечами:

— Не знаю. Может быть, это делают механо.

— Механо?

— Да, здесь их полным-полно. Иногда они достают автоматический нож и таскают его по земле — так они подрезают траву. Механо всегда болтаются возле цветов и разных вещей. Взять хотя бы вон того, смотрите.

В полумиле от них появился маленький предмет. Его металлическая поверхность отбрасывала отблески света, и он медленно скользил над ослепительно ярким лугом, выполняя какую-то работу, значения которой доктор Слоун не мог понять.

Его удивлял этот заброшенный мир. Во всем чувствовалась какая-то погрешность эстетики — аромат очевидного увядания...

— Что это? — спросил он вдруг.

Ричард оглянулся.

— Это дом, — ответил он. — Дом Фрейлихов. Координаты А-3, 23, 461. А в том маленьком остроконечном здании находится общественная Дверь.

Доктор Слоун изумленно смотрел на дом. Неужели он так выглядит снаружи? Ему почему-то представлялось нечто более кубическое и высокое.

— Да идемте же! — закричал Ричард, убегая вперед.

Доктор Слоун степенно зашагал за ним.

— Ты знаешь все дома вокруг?

— Почти.

— А где А-23, 26, 475?

Конечно, это был его собственный дом.

Ричард осмотрелся.

— Я знаю. Смотрите — видите вон там воду?

— Воду?

Доктор Слоун заметил полоску серебра, извивавшуюся на лугу.

— Ну конечно. Это настоящая вода. И течет все время. Ее можно перейти, прыгая по тем камням. И она называется рекой.

«Больше похоже на ручей», — подумал доктор Слоун. Конечно, ему преподавали географию, но то, что изучали под этим названием в его школьные годы, на самом деле было экономической и культурной географией. Наука о физическом строении Земли почти вышла из употребления, и ее изучали только специалисты. Тем не менее он теоретически знал, чем отличались реки от ручьев.

А Ричард все говорил:

— Если перейти реку, взобраться на тот холм, где много деревьев, и спуститься на другую сторону, там и будет А-23, 26, 475. Это светло-зеленый дом с белой крышей.

— Разве?

У доктора даже дух захватило. Он не знал, что его дом зеленый.

Услышав их шаги, в траву метнулось какое-то небольшое животное. Ричард посмотрел ему вслед и пожал плечами.

— Этих никак не поймать. Я пробовал.

Мимо пролетела бабочка, взмахивая желтыми резными крылышками. Доктор проводил ее взглядом.

Над полями слышалось низкое гудение, которое время от времени разнообразили резкие зовущие звуки, потрескивание, щебет и тихое дребезжание, которое то усиливалось, то ослабевало. Немного освоившись, доктор Слоун услышал тысячи звуков, и ни один из них не принадлежал человеку.

Внезапно на землю упала тень, она приблизилась и накрыла его. Стало прохладнее, и он удивленно поднял голову.

— Это просто облако, — сказал Ричард. — Оно уйдет через какое-то время. Вы только посмотрите на эти цветы. Они из тех, что пахнут.

К тому времени они удалились от дома миссис Хэншо на несколько сотен ярдов. Облако унеслось вдаль, и вновь засияло солнце. Доктор Слоун обернулся, и его

испугало расстояние, которое они прошли. Если дом скроется из виду и Ричард убежит, удастся ли ему найти дорогу назад?

Он немедленно отбросил эту мысль и внимательно осмотрел полоску воды (теперь очень близко) в том направлении, где должен был быть его дом. Его разбирало любопытство — неужели действительно светло-зеленый?

— А ты, я смотрю, настоящий следопыт, — сказал он.

Ричард ответил с застенчивой гордостью:

— Когда мне приходится идти в школу и возвращаться назад, я всегда стараюсь выбирать новый маршрут, чтобы посмотреть на новые места.

— Но ты же не каждое утро приходишь сюда, правда? Мне кажется, иногда ты пользуешься Дверьми.

— Ну да, конечно.

— А почему, Ричард?

Доктор Слоун чувствовал, что ответ может быть очень важным.

Но Ричард сокрушил его надежды. Удивленно приподняв брови, он сказал:

— Ну как же! Иногда по утрам идет дождь, и тогда я пользуюсь Дверью. Мне это не нравится, но что поделаешь? Две недели назад я попал под дождь и... — он машинально оглянулся и перешел на шепот, — простудился. А мне не хочется расстраивать мамочку.

Доктор Слоун вздохнул.

— Тогда, может быть, вернемся?

На лице Ричарда промелькнуло разочарование.

— Да? А почему?

— Ты напомнил мне, что твоя мама ждет нас.

— Вы правы. Я согласен.

Мальчик неохотно повернул назад.

Они медленно шли к дому. Ричард говорил, не переставая.

— В школе я написал сочинение о том, что бы случилось, если бы мне довелось путешествовать на каком-нибудь старинном средстве передвижения. — Он произнес последнее слово преувеличенно четко. — Я выбрал стратолайнер, из которого можно смотреть на

звезды, облака и всякие вещи. Да уж — сваял я тогда дурака.

— А теперь ты бы выбрал что-то другое?

— Еще бы! Я поехал бы на автомобиле, очень-очень медленно. И тогда бы я мог увидеть все, что здесь есть.

Миссис Хэншо была встревожена и явно колебалась.

— Так вы думаете, что это нормально, доктор?

— Возможно, несколько необычно, но вполне нормально. Ему нравится там, снаружи.

— Но как такое могло произойти? Там же так грязно, так неприятно.

— Все это дело вкуса. Сотни лет назад наши предки большую часть времени проводили на открытом воздухе. Даже сегодня, смею напомнить, миллионы африканцев до сих пор ни разу не видели Двери.

— Но Ричарда учили вести себя так, как полагается порядочным людям нашего района, — с жаром отозвалась миссис Хэншо, — а не как африканцам или... или древним предкам.

— Возможно, в этом часть проблемы, миссис Хэншо. Он чувствует желание выйти наружу и в то же время понимает, что поступать нельзя. Мальчик боится открыться вам и своей учительнице. Это заставляет замыкаться и со временем может стать опасным.

— А как нам убедить его остановиться?

— И не пытайтесь, — посоветовал доктор Слоун. — Вы лишь усугубите положение. В тот день, когда сломалась ваша Дверь, он был вынужден выйти из дома, ему там понравилось. Постепенно это переросло в привычку. Для него дорога в школу и домой — возможность еще раз пережить первое возбуждающее ощущение. Теперь давайте представим, что вы согласитесь отпустить его из дома на пару часов по субботам и воскресеньям. Допустим, он поймет, что наконец может выйти наружу без необходимости идти куда-то еще. Вам не кажется, что после этого он по собственной воле будет пользоваться Дверью, чтобы идти в школу и возвращаться домой? И вам не кажется, что проблемы, которые возникают у него с учительницей, а возможно, и с одноклассниками, исчезнут без следа?

— Но ведь все останется по-прежнему? Неужели с этим придется смириться? Скажите, он станет когда-нибудь нормальным?

Доктор Слоун вскочил.

— Миссис Хэншо, он и сейчас нормальный, насколько это нужно. Но в данный момент ребенок наслаждается запретными радостями. Если вы будете с ним заодно, если не станете выказывать своего неодобрения, его прогулки в открытом пространстве потеряют свою притягательность. А повзрослев, он поймет, что от него ожидается и требует общество. И он научится приспособляться. В конце концов, в каждом из нас живет маленький бунтарь, который обычно умирает, когда мы становимся старше и скучнее. Пока же я считаю неразумным в чем-то сдерживать мальчика или оказывать на него давление. Не делайте этого. С Ричардом все в порядке.

Он направился к Двери.

— Значит, по-вашему, зондирование необязательно, доктор?

Он повернулся и раздраженно воскликнул:

— Нет, категорически нет! Вашему ребенку ничего не нужно. Вы это понимаете? Ничего!

Его пальцы застыли в дюйме от наборной панели, лицо помрачнело и осунулось.

— Что-нибудь не так, доктор Слоун? — спросила миссис Хэншо.

Он не обратил внимания на ее вопрос. Он снова размышлял о Двери, о зондировании психики и неустойчивом, всеудушающем потоке механизмов. «В каждом из нас живет маленький бунтарь», — подумал доктор.

Его рука скользнула вниз, так и не коснувшись кнопок наборной панели, он отвернулся от Двери и тихо произнес:

— Знаете, сегодня такой прекрасный день, что я, пожалуй, пройду пешком.

ДЕНЬ ОХОТНИКОВ

Все кончилось в тот же вечер, когда и началось. Да и особенного-то ничего не произошло. Просто эта история взволновала меня и волнует по сей день.

Видите ли, Джо Блоч, Рей Мэннинг и я сидели за своим любимым столом в баре на углу — делать было нечего, надо было как-то убить время. Такое вот начало.

Все затеял Джо Блоч, заговорив об атомной бомбе и о том, что, по его мнению, следует с ней сделать, добавив при этом, что, мол, еще пять лет назад кто бы о ней вообще подумал. А я сказал, нет, пять лет назад о ней многие думали и даже писали о ней рассказы, а вот теперь им придется туго — попробуй-ка потягайся с газетами. В результате всего этого завязался общий разговор о том, как самое невероятное становится явью, причем приводилось множество примеров.

Рей заявил, будто слышал от кого-то, что какой-то крупный ученый отправил в прошлое кусок свинца на две секунды или на две минуты, а может, и на две тысячные секунды — он не уверен, на сколько именно. А этот ученый, мол, никому ничего не рассказывает, потому как считает, что никто ему не поверит.

Ну, тут я, не без сарказма, спросил, откуда же тогда он-то об этом узнал. У Рея немало друзей, только ведь они и мои друзья, и ни один из них ни с каким крупным ученым не знаком. Но Рей лишь ответил: неважно, мол, как он узнал, — хочешь верь, хочешь нет.

Ну, а после этого уже ничего не оставалось, кроме как завести разговор о машинах времени, о том, как, предположим, вы бы вернулись в прошлое и убили бы собственного дедушку; или о том, почему не вернется никто из будущего и не расскажет нам, кто выиграет очередную войну, или даже о том, а можно ли будет после нее жить хоть где-нибудь на Земле, независимо от того, кто выйдет победителем.

Рей, например, считал, что неплохо было бы знать победителя седьмого забега, пока еще идет шестой.

Но Джо считал по-другому.

— Беда ваша, ребята, в том, что у вас на уме одни войны да скачки. А мне просто интересно. Знаете, что бы сделал я, будь у меня машина времени?

Нам разумеется, сразу же захотелось это узнать, и мы, как уже не раз бывало, приготовились над ним посмеяться, неважно, что он там еще задумал.

— Будь она у меня, — продолжал он, — я бы вернулся на пару, а то и на пяток, а может, и на все пятьдесят миллионов лет назад и узнал, что случилось с динозаврами.

Лучше бы Джо этого вообще не говорил, потому как мы с Реем оба не видели в этом никакого смысла. Рей сказал: кого, мол, волнуют какие-то динозавры, а я добавил, что единственное, на что они оказались способны, это оставить целую кучу скелетов для любителей протирать полы в музеях, и что они хорошо сделали, что ушли с дороги и освободили место для людей. Тут Джо, разумеется, говорит, что некоторые его знакомые — и окидывает нас многозначительным взглядом — ничуть не лучше динозавров, но мы не обращаем на это никакого внимания.

— Вы, глупые ребятки, можете себе смеяться и делать вид, будто что-то там знаете, но это потому, что вы начисто лишены воображения, — говорит он. — Эти динозавры были громадные. Миллионы всевозможных видов — здоровенные, как дома, и безмозглые,

как дома, — по всей Земле. А потом вдруг, совершенно неожиданно, вот так, — и он щелкает пальцами, — их уже нет, ни одного.

Как это так, захотелось нам узнать.

Но он как раз допивал пиво, а другой рукой, держа в ней монету и как бы желая продемонстрировать, что хочет расплатиться, подзывал Чарли, официанта, и поэтому лишь пожал плечами:

— Не знаю, хотя я не прочь бы это узнать.

Вот и все. На этом бы все и закончилось. Я бы сказал что-нибудь, Рей отпустил бы какую-нибудь шуточку, мы бы пропустили еще по кружечке, потрепались бы о погоде и о «Бруклинских ловкачах» и забыли бы даже и думать о динозаврах.

Только этого не произошло, и теперь я ни о чем другом не думаю, только о динозаврах, и меня буквально тошнит.

Потому что один забуддыга за соседним столом поднимает глаза и кричит:

— Эй!

Мы его да не заметили. Так уж у нас заведено: когда ходим по барам, не выискивать незнакомых бухариков. Тут за знакомыми-то не знаешь как уследить. На столе перед этим чудаком стояла уже ополовиненная бутылка виски, в руке он держал полупустой стакан.

— Эй! — произнес он, и мы все на него воззрились, а Рей сказал:

— Спроси его, Джо, чего ему.

Джо сидел к нему ближе всех. Он откинулся на стуле, балансируя на задних ножках, и спросил:

— Что вам угодно?

А забуддыга ответил:

— Мне слышалось, вы, джентльмены, упоминали динозавров?

Он слегка покачивался над столом, глаза у него налились кровью, а глядя на его рубашку, можно было догадаться, что когда-то она была белой, но нас, наверное, озадачили его голос и его манера говорить. В них не было ничего от выпивохи, если вы понимаете, о чем я толкую.

Во всяком случае, Джо вроде как успокоился и сказал:

— Ну да. Вас что-нибудь интересует?

Он вроде как улыбнулся нам. Странная это вышла улыбка: она начиналась в уголках рта, но, не дойдя до глаз, угасала. Он сказал:

— Вы бы хотели построить машину времени и вернуться в прошлое, чтобы узнать, что случилось с динозаврами?

Я видел, что Джо ожидает, что сейчас последует попытка что-нибудь у нас выманить, вызвав нас на доверительный разговор. Я и сам ожидал того же.

— А что? — спросил Джо. — Вы хотите предложить свои услуги? Хотите построить ее для меня?

— Нет, сэр, — ответил забуддыга, обнажив грязные зубы. — Я мог бы, да не стану. И знаете почему? Да потому, что пару лет назад я построил машину времени для себя, вернулся в мезозойскую эру и узнал, что случилось с динозаврами.

Позже я посмотрел в словаре, как пишется «мезозойская», вот почему я написал это слово правильно, если вдруг вы удивитесь: я узнал также, что мезозойская эра — это период, когда все динозавры занимались тем, чем там им полагалось заниматься. Но, разумеется, тогда мне было многое непонятно, и я склонялся к мысли, что с нами разговаривает какой-то ненормальный. Джо впоследствии утверждал, будто все знал об этой мезозойской хреновине, только пусть себе говорит и кричит сколько угодно, мы с Реем все равно ему не поверим.

Как бы там ни было, мы пригласили выпивоху к нашему столу. По-моему, я рассчитывал, что он поделится с нами своей бутылкой, да и другие, наверное, думали то же самое. Только, подсаживаясь к нам, он зажал бутылку в правой руке, и там она и осталась.

— Где это вы построили машину времени? — спросил Рей.

— В университете Среднего Запада. Мы работали над ней вместе с дочерью.

И выговор у него был такой, как будто он действительно сотрудник колледжа.

— И где же она сейчас, эта машина? — не удержался я. — У вас в кармане?

Он и глазом не моргнул, он вообще ни разу не рассердился на нас, как мы ни пытались острить. Он знай себе говорил, как будто виски развязало ему язык и ему безразлично, уйдем мы или останемся.

— Я ее поломал, — ответил он. — Она мне была не нужна. Надоела.

Мы ему не поверили и сочли его за никчемного человека. Пожалуйста, поймите меня правильно. Резон такой: ведь если бы кто-то изобрел машину времени, он мог бы загрести миллионы долларов — он мог бы загрести все деньги в мире, просто зная, что произойдет на бирже, на скачках, на выборах. Он бы не выбросил все это просто так, и мне безразлично, какие бы у него на то были мотивы. Да и потом, в путешествие во времени никто из нас все равно не собирался верить: а вдруг вы бы действительно убили собственного дедушку, и что тогда?

Впрочем, оставим это.

— Разумеется, вы ее поломали, — сказал Джо. — Ну еще бы. Как ваша фамилия?

Но на этот вопрос он нам так и не ответил. Мы задавали его ему несколько раз, а кончили тем, что стали называть его «профессором».

Он допил содержимое стакана и неторопливо наполнил его снова. Нам он ничего не предложил, и мы все тянули пиво.

— Ну, продолжайте, — сказал я. — Что же случилось с динозаврами?

Но ответил он не сразу. Он уставился в самую середину стола и говорил так, будто обращался к столу.

— Даже и не знаю, сколько раз Кэрол отправляла меня в прошлое — всего на несколько минут или часов, — прежде чем у меня получился этот большой скачок. Динозавры меня не интересовали; мне лишь хотелось посмотреть, насколько далеко может перенести меня машина на имеющемся в моем распоряжении количестве энергии. Вероятно, это было опасно, но

особого значения не имело. Тогда шла война — подумаешь, еще одна потерянная жизнь!

Он нежно прижал к себе стакан, как будто задумался о жизни вообще; потом он, похоже, перескочил сразу через многое и продолжал:

— Стояла ясная, солнечная погода; земля была сухая, твердая. Не было ни болот, ни папоротников. Никаких признаков мезозойского биогеоценоза, который мы обычно ассоциируем с динозаврами.

Во всяком случае, мне кажется, сказал он именно так. Заумные слова до меня не всегда доходили, поэтому дальше я буду вставлять лишь те, которые запомнил. Написание их я проверил и должен сказать, что, хоть он и здорово заложил в тот вечер, произносил он их без запинки.

Это-то, наверное, и встревожило нас. Он говорил так, как будто ему все знакомо, и все эти слова, что называется, прямо скатывались у него с языка.

— Был поздний век, — продолжал он, — безусловно, меловой период. Динозавры уже находились на стадии исчезновения — все, кроме маленьких, с металлическими поясами и этими своими пистолетами.

Тут, как мне показалось, Джо чуть не клюнул носом в пиво. Когда профессор с некоторой грустью произнес эти слова, Джо, описав полукруг рядом со своим стаканом, так и подался вперед.

— Какие еще маленькие? — не на шутку разозлился он. — С чьими металлическими поясами? С какими пистолетами?

Профессор взглянул на него, потом опустил глаза обратно в никуда.

— Это были маленькие рептилии, ростом в четыре фута. Они стояли на задних ногах, сзади болтался толстый хвост, и у них были короткие руки с пальцами. На талиях у них были пристегнуты широкие металлические пояса, на которых висели пистолеты. Причем не обычные пистолеты, которые стреляют пулями, а энергометы.

— Что-что? — спросил я. — Скажите, когда это было? Миллионы лет назад?

— Совершенно верно, — согласился он. — Они были покрыты чешуей, у них не было век, и они, вполне

вероятно, откладывали яйца. Но они пользовались энерго-метами. Их было пятеро. Как только я выбрался из своей машины, они бросились ко мне. Их, наверное, были миллионы по всей Земле — миллионы. По всей земной поверхности. Они тогда определенно были хозяевами положения.

По-моему, именно тут Рей решил, что профессор ему попался: на лице у Рея появилось такое выражение, из-за которого тебя так и подмывает грохнуть его по голове пустой пивной кружкой — полную-то жалко.

— Ах вот как, профессор, их, значит, были миллионы? — сказал он. — А как же эти ребята, которые только тем и занимаются, что разыскивают старые кости и носятся с ними, пока не определят, как выглядели динозавры? Музеи буквально забиты их скелетами, разве нет? А вы видели хоть один с металлическим поясом? Если бы их были миллионы, что же с ними стало? Где же их кости?

Профессор вздохнул, вздохнул с самой неподдельной грустью. Вероятно, до него впервые дошло, что он выступает в баре перед тремя простыми парнями в рабочих спецовках. А может, ему было все равно.

— Ископаемых находят не так уж и много, — возразил он. — Подумайте, сколько всего животных жило на Земле. Сколько миллиардов и триллионов. И сравните с тем, сколько мы находим ископаемых. А ведь эти ящеры были разумными существами. Не забывайте об этом. Они не собирались попадать в снежные заносы или грязь, не собирались они и падать в лаву, разве что совершенно случайно. А теперь вспомните, как мало обнаружено ископаемых людей — даже тех субразумных человекоподобных обезьян, живших миллион лет назад.

Говоря это, он смотрел на свой полупустой стакан и все вертел его и вертел в руках.

— Да и что бы показали ископаемые? — сказал он. — Металлические пояса ржавеют, от них ничего не остается. Эти маленькие ящеры были теплокровными. Я-то это знаю, но вы бы не могли доказать это по окаменелым костям. Ну и что? А можно было бы через

миллион лет определить по скелету человека, как выглядит Нью-Йорк? Могли бы вы отличить человека от гориллы и сказать, кто придумал атомную бомбу, а кто ел бананы в зоопарке?

— Ну нет, — решительно возразил ему Джо. — Скелет гориллы от человеческого отличит кто угодно. У человека мозг больше. Любой дурак скажет, кто обладал разумом.

— Да что вы? — Профессор засмеялся сам себе, как будто все это до того просто и очевидно, что и времени на объяснения тратить не стоит. — Вы судите обо всем по тому типу мозга, который удалось развить человеческим существам. Эволюция идет по-разному. Птицы летают по-своему, летучие мыши — по-своему. У жизни множество всяких закавык. Как вы думаете, какой частью своего мозга вы пользуетесь? Примерно пятой. Именно так утверждают психологи. Насколько им известно — насколько известно всем, — восемьдесят процентов нашего мозга вообще не используется. Каждый как бы работает на малой скорости, кроме разве что нескольких человек за всю историю. Леонардо да Винчи, например. Архимед, Аристотель, Гаусс, Гала, Эйнштейн...

Кроме Эйнштейна, я никогда ни о ком из них не слышал, но даже и бровью не повел. Он назвал и нескольких еще, но я здесь вставил лишь тех, кого запомнил.

Затем он сказал:

— Мозг у тех маленьких рептилий был крошечный, может, в четверть человеческого, а может, и того меньше, но они использовали его весь — целиком и полностью. По их костям, вероятно, этого не скажешь, но они были разумные существа — разумные, как и люди. И они были хозяевами Земли.

И тут Джо выдал по-настоящему блестящую идею. Мне даже показалось на какое-то мгновение, что он припер-таки профессора к стенке, и я страшно обрадовался.

— Послушайте, профессор, — сказал он, — если эти ящеры были такие умные, почему же они после себя ничего не оставили? Где же их города, и здания, и всевозможные штуковины, которые мы постоянно на-

ходим от пещерных людей — каменные ножи и все такое прочее? Ну, черт меня дери, да если бы люди исчезли с лица земли, вы только представьте, что бы мы оставили после себя! Нельзя было пройти и милю, без того чтобы не наткнуться на какой-нибудь город. А наши дороги!

Но профессора просто было не удержать. Он даже как бы встряхнулся.

— Вы по-прежнему судите о других формах жизни по человеческим меркам, — просто ответил он. — Мы строим города, дороги, аэропорты и все остальное, что нам нужно, а они этого не делали. Они были по-другому устроены. Весь их образ жизни, во всем, был совершенно иной. Они не жили в городах. Искусства вроде нашего у них не было. Я не уверен, что же именно у них было, поскольку вся их жизнь была настолько чужда мне, что я просто оказался не в состоянии ее постичь... кроме пистолетов. Вот они-то были такие же, как у нас. Странно, правда? Насколько я знаю, может, мы каждый день натыкаемся на их останки и даже не догадываемся, что это такое.

Мне к тому времени весь этот треп уже изрядно поднадоел. Профессора просто невозможно было на чем-нибудь поймать. Чем умнее становился ты сам, тем умнее становился он.

— Послушайте, — сказал я. — Откуда вы столько обо всем этом знаете? Вы что, жили с ними? Или, может, они трекали по-английски? Или, того чище, вы сами говорите на языке ящеров? Скажите-ка на нем несколько слов.

Я, наверное, тоже взбеленился. Знаете, как бывает: скажет тебе парень что-нибудь такое, чему ты не веришь, потому как все это враки, а вот заставить его признать, что он врет, никак не можешь.

Профессор, однако, не разозлился, он лишь снова неторопливо наполнил стакан.

— Нет, — продолжал он, — я ничего не говорил, и они ничего не говорили. Они просто посмотрели на меня своими холодными, жесткими, немигающими глазами — глазами змей, и я понял, что у них на уме, но я видел, что и они догадались, о чем думаю я. Не спрашивайте у меня, как это произошло. Произошло —

и все тут. Все. Я понял, что они вышли на охоту, как знал я и то, что упускать меня они не собираются.

И мы не спросили. Мы просто сидели и смотрели на него, потом Рей сказал:

— А что дальше? Как вам удалось бежать?

— Это оказалось легко. По гребню холма суетливо прошмыгнуло какое-то животное. Оно было длинное — футов, наверное, десять — и узкое и бежало, припадая к земле. Ящеры возбудились, и их возбуждение передалось мне. Казалось, их захлестнула жажда крови, и, совершенно позабыв обо мне, они унеслись прочь. Я забрался обратно в машину, вернулся и разломал ее.

Такого конца нам еще сроду не приходилось слышать. Джо прокашлялся:

— Ну, и что же случилось с динозаврами?

— Как, неужели непонятно? А я-то полагал, что все довольно просто. Все сделали именно эти разумные ящеры. Они были охотниками — по инстинкту, по выбору. Это было их хобби в жизни. Они убивали не ради пищи, а ради развлечения.

— И они просто стерли с лица земли всех динозавров?

— Во всяком случае, всех, что тогда жили; все современные им виды. Думаете, это невозможно? А сколько времени понадобилось нам, чтобы уничтожить стадо бизонов в сто миллионов голов? А что стало с дронтом за несколько лет?! Предположим, если бы мы всерьез взялись за это, то сколько бы продержались львы, тигры и жирафы? Господа, да к тому времени, как я увидел этих ящеров, на Земле не осталось никакой крупной дичи — ни одной рептилии, пожалуй, длиннее пятнадцати футов. Все исчезло. Эти чертенята гонялись теперь за маленькими, суетливо перебегавшими по земле, и, вероятно, с сожалением вспоминали добрые старые времена.

Мы молча сидели, смотрели на свои пустые кружки и думали. Все эти динозавры, здоровенные, как дома, убиты маленькими ящерами с пистолетами. Убиты ради спортивного интереса.

Потом Джо наклонился над столом, положил руку на плечо профессора, легонько так, и потряс его.

— Эй, профессор, — сказал он, — но если так, то что же случилось с этими маленькими ящерами, у которых были пистолеты? А? Вы не возвращались туда, чтобы узнать?

— Вы все еще не понимаете? Ими уже овладевали новые желания. Я прочел это по их глазам. Крупная дичь у них кончалась — они лишились своего удовольствия. Ну и, как вы думаете, что же они сделали? Они обратились к другой дичи — самой крупной и самой опасной из всех — и повеселились на славу. Они охотились за этой дичью до конца.

— За какой еще дичью? — спросил Рей. Он ничего не понял, а мы с Джо все поняли.

— Да друг за другом, — громко сказал профессор. — Покончив со всеми остальными, они взяли друг за друга — пока не осталось ни одного.

И снова мы замолчали и задумались об этих динозаврах, здоровенных, как дома, а приконченных маленькими ящерами с пистолетами. Думали мы и об этих маленьких ящерах, которые так и не смогли перестать стрелять, даже когда упражняться в стрельбе можно было только друг на друге.

— Бедные глупые ящеры, — произнес Джо.

— Да, — вздохнул Рей, — бедные чокнутые ящеры.

И тут случилось нечто такое, что нас не на шутку напугало. Профессор вдруг вскочил, а глаза у него были такие, будто вот-вот выскочат из орбит, а сам он накинется на нас.

— Дураки безмозглые! — закричал он. — Чего сидите и распускаете нюни по каким-то рептилиям, которые подошли сто миллионов лет назад? То был первый разум на Земле, и именно так он и кончил. Это уже в прошлом. Но мы-то уже второй разум — а как, черт побери, вы думаете, кончим мы?

Он оттолкнул стул и направился к двери. Но прежде чем совсем уйти, остановился и сказал:

— Бедное глупое человечество! Вот о чем надо плакать!

ПЕРСТ ОБЕЗЬЯНЫ

-Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да, — сказал Марми Таллинн, писатель-фантаст, всякий раз придавая голосу новую модуляцию и высоту тона. Кадык на его длинной шее ходил ходуном.

— Нет, — отрезал Лемюэл Хоскинс, редактор научно-фантастического журнала, глядя немигающим взором сквозь стекла очков в стальной оправе.

— Значит, вы против научного опыта. Вы и слушать меня не желаете. Как это понимать? Меня забаллотировали? — Марми принялся подниматься на носках и опускаться, дыхание у него участилось. В тех местах, где он хватался за голову, волосы его спутались.

— Один против шестнадцати, — сказал Хоскинс.

— Слушайте, — не унимался Марми, — ну почему вы всегда правы? Почему я всегда не прав?

— Марми, посмотрите правде в глаза. С каждого из нас спрашивают по-своему. Упав тираж журнала, и я погорел. Меня тут же вышвырнут. Президент фирмы «Спейс паблишерс» даже не станет задавать вопросов, уж вы мне поверьте. Он просто посмотрит цифры. Но тираж пока не падает, а растет. Выходит, я хороший

редактор. Ну, а с вами дело обстоит так: когда редакторы принимают вашу продукцию, вы талант. Когда они вас отвергают, вы бездельник. В данном конкретном случае вы бездельник.

— Есть и другие редакторы. На вас, знаете ли, свет клином не сошелся. — Марми воздел руки и растопырил пальцы. — Считать умеете? Вот сколько научно-фантастических журналов с удовольствием возьмут любое произведение Таллинна, причем возьмут с закрытыми глазами.

— Ну и на здоровье, — сказал Хоскинс.

— Послушайте, — голос Марми смягчился. — Вы хотите, чтобы я внес в повествование два изменения, верно? Вам нужен был вводный эпизод с войны в космосе. И я вам его представил, вот он. — Марми помахал рукописью под носом у Хоскинса, и тот отодвинулся, будто от нее пахивало. — Но вы также хотели, чтобы в эпизод, где действие происходит на обшивке корпуса космического корабля, я ввел короткую ретроспективную сцену с действием внутри корабля, — продолжал Марми, — А вот этого вам не видать как своих ушей. Если я пойду на это изменение, я испорчу концовку, которая в ее теперешнем виде исполнена пафоса и глубокого чувства.

Редактор откинулся в кресле и воззвал к своей секретарше, которая на протяжении этого спора знай себе неторопливо печатала. К подобным сценам она привыкла.

— Вы слышите, мисс Кейн? И он еще толкует о пафосе, глубоком чувстве... Что он, писатель, может понимать в таких вещах? Да вы меня послушайте! Если вы вставите эту ретроспективную сцену, вы усилите напряжение, уплотните сюжет, прибавите ему убедительности.

— Каким же образом я прибавлю ему убедительности? — в отчаянии вскричал Марми. — По-вашему, если я заставлю ребят в космическом корабле толковать о политике и социологии, когда они того и гляди взорвутся, повествование от этого станет убедительнее? О Господи Боже!

— А больше ничего и не остается. Если вы начнете толковать о политике и социологии после кульминации, читатель у вас заснет.

— Но я же пытаюсь доказать вам, что вы ошибаетесь. И я могу это доказать. Какой прок от разговоров, когда я условился о научном эксперименте...

— О каком еще эксперименте? — Хоскинс снова обратился к секретарше: — Как вам это нравится, мисс Кейн? Он уже вообразил себя одним из своих героев.

— Так уж вышло, что я знаком с одним ученым.

— С кем именно?

— С доктором Арндтом Торгессоном, профессором психодинамики из Колумбийского университета.

— Сроду о таком не слыхал.

— Я полагаю, это о многом говорит, — с презрением сказал Марми. — Вы никогда о нем не слыхали! Да вы и об Эйнштейне-то услышали только тогда, когда ваши авторы стали упоминать о нем в своих рассказах!

— Очень смешно. Ну, и что этот Торгессон?

— Он разработал способ научного определения ценности литературного произведения. Это огромная работа... она... она...

— И она закрытая?

— Разумеется, закрытая. Он же не профессор от научной фантастики. В научной фантастике, когда человек придумывает какую-нибудь теорию, он тут же расстрезвонивает о ней в газетах. В настоящей жизни такого не бывает. Ученый порой годами экспериментирует, прежде чем что-нибудь напечатать. Публикация — дело нешуточное.

— Тогда откуда об этом знаете вы, если не секрет?

— Так уж вышло, что доктор Торгессон — мой поклонник. Так уж случайно оказалось, что ему нравятся мои рассказы. Так уж получилось, что он считает меня лучшим из всех писателей-фантастов.

— И он знакомит вас со своей работой?

— Совершенно верно. Я как будто чувствовал, что вы встанете на дыбы из-за этого рассказа, и попросил его устроить для нас показательный опыт. Он обещал — если только мы не станем болтать. Он сказал, что эксперимент будет интересный. Он сказал...

— Что же в нем такого тайного?

— Ну... — Марми замялся. — Послушайте, а что, если бы я сказал вам, что у него есть обезьяна, которая из головы может отстукивать на машинке «Гамлета»?

Хоскинс в тревоге воззрился на Марми.

— Что это вы тут устраиваете? Хотите сыграть со мной злую шутку? — Он повернулся к мисс Кейн: — Когда писатель десять лет строчит научную фантастику, его для вящей безопасности надо держать в клетке-одиночке.

Мисс Кейн знай себе размеренно печатает.

— Вы слышали, что я сказал, — продолжал Марми. — Обыкновенная обезьяна, на вид даже смешнее среднестатистического редактора. Я договорился на сегодняшний полдень. Пойдете со мной или нет?

— Разумеется, нет. Вы думаете, я оставляю кучу рукописей вот такой высоты, — он провел рукой по горлу, — ради ваших глупых шуток? Вообразили себя комиком, а я, значит, должен вам подыгрывать?

— Если это шутка, Хоскинс, я угощаю вас обедом в любом ресторане по вашему выбору. Мисс Кейн свидетель.

Хоскинс откинулся в кресле.

— Вы угостите меня обедом?! Вы, Мармадьюк Таллинн, самый известный в Нью-Йорке тунеядец, живущий в долг, собираетесь уплатить наличными?!

Марми всего передернуло — и не оттого, что его упрекнули в скупердяйстве, а потому, что произнесли его имя полностью, все его три ужасных слога.

— Повторю, — заявил он, — обед за мной: где хотите и что хотите. Бифштекс, грибы, грудка цесарки, марсианский аллигатор — что угодно.

Хоскинс встал и взял шляпу с крышки ящика для картотеки.

— Да ради того только, чтобы поглядеть, как вы разворачиваете огромные старинные долларовые купюры, которые прячете в ложном каблуке своей левой туфли с тысяча девятьсот двадцать восьмого года, я бы пошел пешком в Бостон...

Доктор Торгессон был польщен. Он тепло пожал Хоскину руку и сказал:

— Я читаю «Космические истории». С тех самых пор, как приехал в эту страну, мистер Хоскинс. Превосходный журнал. И особенно мне нравятся рассказы мистера Таллинна.

— Вы слышите? — не удержался Марми.

— Слышу. Марми говорит, что у вас, профессор, есть какая-то одаренная обезьяна.

— Да, — ответил Торгессон, — но, разумеется, это должно остаться между нами. К публикациям я еще не готов, а преждевременная шумиха может погубить мою профессиональную карьеру.

— Дальше редактора не пойдет, профессор.

— Хорошо, хорошо, садитесь, джентльмены, садитесь. — Он принялся вышагивать перед ними туда-сюда. — Что вы сказали мистеру Хоскинсу о моей работе, Марми?

— Ничего, профессор.

— Так. Ну, мистер Хоскинс, поскольку вы редактор журнала научной фантастики, мне, я полагаю, не нужно спрашивать, имеете ли вы представление о кибернетике.

Хоскинс сверкнул из-под очков в стальной оправе взглядом, в котором сконцентрировались все его умственные способности.

— Ну да. Счетные машины... Массачусетский технологический институт... Норберт Винер... — Он пробормотал что-то еще.

— Да-да. — Торгессон зашагал быстрее. — Тогда вы должны знать, что на принципах кибернетики созданы компьютеры для игры в шахматы. Правила шахматных ходов и задачи игры встроены в их схемы. Возьмите любое положение на доске, и машина вычислит все возможные ходы с их последствиями и выберет тот единственный, который обеспечит наибольшую вероятность победы в партии. Машину даже можно настроить так, что она будет учитывать темперамент противника.

— Ну да, — согласился Хоскинс, задумчиво поглаживая подбородок.

— Теперь представьте ситуацию, в которой вычислительной машине предложат отрывок из литературного произведения, к которому компьютер затем сможет добавить слова из своего запаса. Из того словаря, который служит материалом для создания величайших

литературных ценностей. Естественно, эту машину пришлось бы научить, что означают различные клавиши на пишущей машинке. Разумеется, подобный компьютер был бы гораздо сложнее, чем любой шахматный.

Хоскинс беспокожно заерзал.

— А как же обезьяна, профессор? Марми упоминал какую-то обезьяну.

— Но ведь именно к этому я и подхожу, — сказал Торгессон. — Естественно, ни одна рукотворная машина не может быть достаточно сложной. Другое дело — человеческий мозг. Он и сам по себе уже вычислительная машина. Разумеется, я не могу использовать мозг человека: этого мне, увы, не позволяет закон. Но даже и мозг обезьяны, если им умело манипулировать, в состоянии сделать гораздо больше, чем любая машина, когда-либо созданная человеком. Подождите! Пойду принесу крошку Ролло.

Он вышел из комнаты. Хоскинс подождал немного, потом с опаской посмотрел на Марми и сказал:

— Эх, братец!

— В чем дело? — спросил Марми.

— В чем дело?! Да ведь этот человек самозванец. Скажите мне, Марми, где вы наняли этого жулика?

— Жулика?! — оскорбился Марми. — Ну знаете! Мы находимся в кабинете настоящего профессора в Фейеруэзер-холл, Колумбийский университет. Надеюсь, хоть Колумбийский университет вы узнаете? На 116й авеню вы видели статую Альма Матер. Я еще показал, где кабинет Эйзенхауэра.

— Разумеется, но...

— А это кабинет доктора Торгессона. Взгляните на эту пыль — он дунул на какой-то учебник и поднял целое облако пыли. — Одна эта пыль уже говорит о том, что тут все самое настоящее. А взгляните-ка на заглавие этой книжки: «Психодинамика человеческого поведения». Автор — профессор Арнат Ролф Торгессон.

— Допускаю, Марми, допускаю. Есть какой-то Торгессон, а это его кабинет. Как вы пронюхали, что настоящий Торгессон в отпуске, и как вам удалось воспользоваться его кабинетом, я не знаю. Но неужели

вы пытаетесь убедить меня, что этот шут с его обезьянами и компьютерами — настоящий ученый? Х-ха!

— Судя по вашей природной подозрительности, можно сделать лишь один вывод: у вас было несчастливое и полное лишений детство.

— Подозрительность во мне развилась от постоянного общения с писателями, Марми. Ресторан я уже выбрал, и сводить меня туда вам обойдется в кругленькую сумму.

Марми фыркнул:

— Это не будет стоить мне даже того самого жалкого цента, который вы время от времени мне кидаете. Тс-с-с! Он возвращается.

К шее профессора липнула обезьянка-капуцин, имевшая очень грустный вид.

— А это, — представил профессор, — крошка Ролло. Поздоровайся, Ролло.

Обезьянка дернула себя за вихор.

— Боюсь, он переутомился, — сказал профессор. — Ну, вот тут у меня как раз кусок его рукописи.

Он опустил обезьянку, позволив ей дернуть себя за палец, а сам тем временем вытащил из кармана пиджака два листка бумаги и протянул их Хоскинсу. Тот прочел:

«Быть или не быть, таков вопрос. Что благородней духом — покоряться пращам и стрелам яростной судьбы иль, ополчась против роя смут, сразить их противоборством? Умереть, уснуть и только; и сказать, что сном кончаешь...»

Он поднял глаза.

— Это напечатал крошка Ролло?

— Не совсем. Это копия с того, что напечатал он.

— Ах, копия. Ну, крошка Ролло не знает своего Шекспира. Здесь должно быть: «Иль ополчась на море смут».

Торгессон кивнул:

— Вы совершенно правы, мистер Хоскинс. Шекспир действительно написал «море». Но, видите ли, это смешанная метафора. На море с оружием не бросаются. Ролло выбрал односложное слово и отстукал «рой». Это одна из редких ошибок Шекспира.

— Позвольте мне понаблюдать, как он печатает, — попросил Хоскинс.

— Пожалуйста. — Профессор выкатил столик с машинкой. За ней тянулся проводок. Он объяснил: — Приходится пользоваться электрической машинкой, иначе физическое напряжение оказывается слишком большим. Необходимо также подсоединить крошку Ролло вот к этому трансформатору.

Он сделал это, используя в качестве подводящих проводов два электрода, которые едва заметно торчали из шерсти на голове зверька.

— Ролло подвергся весьма тонкой операции на мозге, в результате которой несколько проводков были вживлены в различные участки коры. Мы можем блокировать свободную деятельность мозга и, по сути дела, использовать его как компьютер. Боюсь, подробности были бы...

— Давайте посмотрим, как он печатает, — повторил Хоскинс.

— Что бы вы хотели?

— Он знает «Лепанто» Честертона? — почти не раздумывая спросил Хоскинс.

— Наизусть он ничего не знает. Его писательство — просто вычисления. Прочтите отрывок из этого произведения, чтобы он мог проникнуться настроением и высчитать продолжение.

Хоскинс кивнул, набрал в грудь воздуха и громовым голосом принялся читать:

— «Бьет в Садах Солнца сто один фонтан, Усмехается фонтанам Византийский Султан, Смех его, знак радости, предвестник беды, Колеблет черный лес, лес его бороды, Изгибает полумесяцем кроваво-красный рот: Срединным морем мира завладел султанский флот...»*

— Достаточно, — сказал Торгессон.

Наступило молчание. Они ждали. Обезьяна разглядывала пишущую машинку.

— Этот процесс, само собой, требует времени, — сказал Торгессон. — крошке Ролло надо принять во внимание романтичность этого стихотворения, несколько архаичный оттенок, четкий монотонный ритм и все такое прочее.

* Здесь и далее «Лепанто» дано в переводе А. Сергеева.

И вдруг черный пальчик потянулся и коснулся какой-то клавиши. Это была буква «б».

— Заглавных букв он не пишет, — объяснил ученый. — Не ставит и знаков препинания, да и слова не всегда отделяет друг от друга. Вот почему я обычно перепечатаваю его работу, когда он заканчивает.

Крошка Ролло нажал «е», потом «л», потом «о», «с», «т», «е», «н», «н», «а», «я». Потом, после продолжительной паузы, он стукнул по пробельной клавише.

— «Белостенная», — сказал Хоскинс.

Слова печатались сами собой:

«белостенная италия от страха чуть жива в адриатике ждет гибель венецийского гольфа у монархов христианских папа ради христа молит войско для спасения святого креста»

— Боже мой! — воскликнул Хоскинс.

— Значит, у стихотворения такое именно продолжение? — спросил Торгессон.

— Видит Бог! — отвечал Хоскинс.

— Если так, значит, Честертон, должно быть, поработал на славу. Тут все на своем месте.

— Видите? — проговорил Марми, сжимая Хоскинсу плечо. — Видите, видите, видите? — И еще раз добавил: — Видите?

— Черт меня подери! — не успокаивался Хоскинс.

— А теперь, — сказал Марми, взъерошив себе волосы так, что они стали похожи на хохолок какаду, — давайте перейдем к делу. Давайте проверим мой рассказ.

— Да, но...

— Не бойтесь. Крошке Ролло это по силам, — заверил Торгессон Хоскинса. — Я частенько читаю ему отрывки из лучших образцов научной фантастики, включая многие рассказы Марми. Просто поразительно, насколько он улучшил многие произведения.

— Не в этом дело, — сказал Хоскинс. — Любая обезьяна способна писать научную фантастику лучше иных наших литературных поденщиков. Но ведь в рассказе Таллина тридцать тысяч слов. Этому монаху* понадобится целая вечность, чтобы отстукать его.

* Аллюзия на «капуцин».

— А вот и нет, мистер Хоскинс, а вот и нет. Я прочту ему рассказ, а в самом важном месте пусть продолжает он.

Хоскинс сложил руки.

— Валяйте, я готов.

— А я и подавно, — заявил Марми и тоже скрестил руки.

Крошка Ролло, пушистый комочек, похожий на несчастного каталептика, сидел и слушал, а мягкий голос доктора Торгессона мерно повышался и понижался, пока он читал о битве в космосе и о последующей борьбе пленников-землян, стремившихся вернуть себе потерянный корабль.

Один из героев выбрался на обшивку корабля, и доктор Торгессон передавал эти колоритные события с легким восхищением. Он читал:

— «Безмолвие вечных звезд повергло Стелни в оцепенение. Саднящее колено резко напомнило о себе, когда он ждал, что чудовища услышат звук удара и...»

Тут Марми неистово дернул доктора Торгессона за рукав. Торгессон поднял глаза и отключил Ролло.

— Ну вот, — сказал Марми. — Понимаете, профессор, именно здесь Хоскинс лезет своими липкими пальцами в мою работу. Я продолжаю эпизод за пределами космического корабля. Наконец Стелни побеждает, и корабль снова оказывается в руках землян. Затем я начинаю объяснять. Хоскинс хочет, чтобы я прервал эту сцену, вернулся на борт корабля, приостановил действие на целых пять страниц, затем снова вышел в космос... Вы когда-нибудь слышали такую муру?

— Может быть, пусть все-таки решает обезьяна? — предложил Хоскинс.

Доктор Торгессон включил крошку Ролло, и черный сморщенный пальчик неуверенно потянулся к машинке. Хоскинс и Марми одновременно подались вперед, их головы мягко соприкоснулись над тельцем размышляющего крошки Ролло. Машинка отстукала букву «н».

— «Н», — подбодрил Марми, кивая.

— «Н», — согласился Хоскинс.

Машинка пробила «а», затем продолжала в более быстром темпе: «...чнут действовать стелни ждал в беспомощном ужасе что сейчас откроются шлюзовые камеры и неумолимо появятся облаченные в скафандры ларусы».

— Слово в слово, — восхищенно проговорил Марми.

— Да, у него, безусловно, ваш слащавый стиль.

— Читателям он нравится.

— Только потому, что их среднее умственное развитие... — Хоскинс умолк.

— Продолжайте, продолжайте, — подбодрил Марми. — Говорите уж. Скажите, что коэффициент их умственного развития на уровне двенадцатилетнего ребенка, и я процитирую вас во всех научно-фантастических журналах нашей страны. Скажите, ну!

— Джентльмены, — встревожился Торгессон. — Джентльмены, вы мешаете крошке Ролло.

Они повернулись к машинке, которая по-прежнему размеренно отстукивала: «звезды кружили по своим орбитам а чувствительное нутро землянина упорно подсказывало стелни что корабль вращается стоя на одном месте».

Каретка откатилась назад, чтобы начать новую строку. Марми затаил дыхание. Если что-то и произойдет, то именно сейчас.

И обезьяна, протянув палец, отстучала «*».

— Знак сноски! — завопил Хоскинс.

А Марми пробормотал:

— Звездочка...

— Звездочка?! — удивился Торгессон.

Последовала строчка еще из девяти звездочек.

— Все, братец, — сказал Хоскинс. Он быстро объяснил вытаращившему глаза Торгессону: — У Марми такая привычка — пробивать строчку из звездочек, когда он хочет указать на радикальное изменение действия. А радикальное изменение действия — именно то, чего я от него добивался.

Машинка начала новый абзац: «внутри корабля...»

— Отключите его, профессор, — попросил Марми. Хоскинс потирал руки от удовольствия.

— Когда я получу переработанный вариант, Марми?

— Какой вариант? — холодно спросил тот.

— Обезьяний. Сами же говорили...

— Да, говорил. Для этого я и привел вас сюда. Этот крошка Ролло, он — машина, холодная, бесчувственная логическая машина.

— Ну и что?

— А то, что хороший писатель — не машина. Он пишет не умом, а сердцем. — Марми несколько раз стукнул себя в грудь. Хоскинс застонал.

— Что вы со мной делаете, Марми? Если вы опять заведете свою песню о душе и сердце писателя, я просто не выдержу, меня вырвет прямо здесь, сию же минуту. Давайте придерживаться обычной формулы: «Ради денег я напишу что угодно».

— Одну минуту,— сказал Марми. — Послушайте. Крошка Ролло поправил Шекспира. Вы сами указали на это. Крошка Ролло хотел, чтобы Шекспир сказал: «против роя смут». И он был прав с его машинной точки зрения. «На море смут» в данных обстоятельствах выступает как смешанная метафора. А вам не кажется, что Шекспир тоже это знал? Шекспир просто знал, когда нарушить правила, вот и все. Крошка Ролло — машина, которая правил нарушать не может. А хороший писатель может и должен. «Море смут» производит большее впечатление, в этом есть некая раскатистость, мощь. А то, что метафора смешанная, — пустяки, черт с ним.

Далее. Велев мне сменить место действия, вы руководствовались механическим правилом для поддержания напряженности повествования, поэтому, разумеется, крошка Ролло согласен с вами. Но я-то знаю, что обязан нарушить правила, чтобы не снизить глубокого эмоционального воздействия концовки, какой я ее вижу. В противном случае у меня получается механическая продукция, которую в состоянии выдать и компьютер.

— Но ведь... — начал было Хоскинс.

— Давайте голосуйте за механическое! Скажите еще, что мечтаете стать моим редактором, как крошка Ролло!

— Ладно, Марми, — с дрожью в голосе сказал Хоскинс, — я возьму рассказ в его нынешнем виде. Нет, не давайте его мне, пошлите почтой. Пойду поищу бар, если вы не против.

Он нахлобучил шляпу и повернулся, готовый уйти. Торгессон крикнул ему вслед:

— Пожалуйста, никому не рассказывайте о крошке Ролло!

Из-за хлопнувшей двери донеслось в ответ:

— Вы что, думаете я сошел с ума?

Удостоверившись, что Хоскинс ушел, Марми довольно потер руки.

— Великая вещь мозги, — сказал он и до упора вдавил палец в висок. — С каким удовольствием я продал этот рассказ, профессор. Эта сделка стоит всех предыдущих вместе взятых.

Он весело плюхнулся в ближайшее кресло. Торгессон посадил крошку Ролло себе на плечо.

— И все же, Мармадьюк, — мягко спросил он, — как бы вы поступили, если б крошка Ролло напечатал вместо своей версии вашу?

По лицу Марми пробежала грустная тень.

— Черт возьми, — сказал он, — как раз этого я от него и ждал.

ПАШТЕТ ИЗ ГУСИНОЙ ПЕЧЕНКИ

Даже если бы я захотел сообщить вам свое настоящее имя, я этого сделать не имею права; к тому же, при существующих обстоятельствах, я и сам этого не хочу.

Я не ахти какой писатель, если не говорить о научных статьях, так что пишет за меня Айзек Азимов.

Я выбрал его по нескольким причинам. Во-первых, он биохимик и понимает, о чем идет речь — во всяком случае, отчасти. Во-вторых, он умеет писать; по крайней мере он опубликовал довольно много книжек, хотя это не обязательно одно и то же.

Но, что самое важное, он может добиться, чтобы его опубликовали в каком-нибудь журнале. А это именно то, что мне нужно.

Причины вам станут ясны из дальнейшего.

Я не первый, кому удалось увидеть Гусыню. Эта честь выпала на долю техасского фермера-хлопководы по имени Айен Ангус Мак-Грегор, которому Гусыня принадлежала до того, как стала казенной собственно-

стью. (Имена, названия мест и даты, которые я привожу, сознательно мной вымышлены. Напасть по ним на какой-нибудь след ни одному из вас не удастся. Можете и не пытаться.)

Мак-Грегор, очевидно, разводил у себя гусей потому, что они поедали сорняки, не трогая хлопка. Гуси заменяли ему машины для прополки, а к тому же давали ему яйца, пух и, через разумные промежутки времени, — жареную гусятину.

Летом 1955 года этот фермер послал в Департамент сельского хозяйства с дюжину писем, в которых требовал информации о насиживании гусиных яиц. Департамент выслал ему все брошюры, которые оказались под рукой и имели хоть какое-то отношение к предмету. Но его письма становились все более и более настойчивыми, и в них все чаще упоминался его «друг», конгрессмен из тех мест.

Я оказался втянутым в эту историю только потому, что работал в Департаменте. Я получил приличное агрохимическое образование и к тому же немного разбираюсь в физиологии позвоночных. (Это вам не поможет. Если вы думаете, что сумеете из этого извлечь сведения о моей личности, то ошибаетесь.)

В июле 1955 года я собирался поехать на совещание в Сан-Антонио, и мой шеф попросил меня заехать на ферму Мак-Грегора и посмотреть, что можно для него сделать. Мы — слуги общества, а кроме того, мы в конце концов получили письмо от конгрессмена, о котором писал Мак-Грегор.

17 июля 1955 года я встретился с Гусыней.

Сначала, конечно, я встретился с Мак-Грегором. Это был высокий человек, лет за пятьдесят, с морщинистым недоверчивым лицом. Я повторил всю информацию, которую ему посылали, рассказал про инкубаторы, про важность микроэлементов в питании, добавил кое-какие последние новости о витамине Е, кобаламинах и пользе антибиотиков.

Он покачал головой. Все это он пробовал, и все же из яиц ничего не выводилось. Он привлек к сотрудничеству в этом деле всех гусаков, которых только мог заполнить, но и это не помогло.

Что мне было делать? Я государственный служащий, а не архангел Гавриил. Я рассказал ему все, что мог, и если яйца все равно не насиживаются, значит, они для этого не годятся. Вот и все. Я вежливо спросил, могу ли я посмотреть его гусей, просто чтобы никто потом не сказал, будто я не сделал все, что мог. Он ответил:

— Не гусей, мистер. Это одна гусыня.

Я сказал:

— А можно посмотреть эту одну гусыню?

— Пожалуй, что нет.

— Ну, тогда я больше ничем не смогу вам помочь. Если это всего одна гусыня, то с ней просто что-то неладно. Зачем беспокоиться из-за одной гусыни? Съешьте ее.

Я встал и протянул руку за шляпой. Он сказал «Подождите», и я остановился. Его губы сжались, глаза сощурились — он молча боролся с собой. Потом он спросил:

— Если я вам кое-что покажу, вы никому не расскажете?

Он не был похож на человека, способного поверить клятвенному обещанию другого человека хранить тайну, но он как будто уже так отчаялся, что не видел другого выхода. Я начал:

— Если это что-то противозаконное...

— Ничего подобного, — огрызнулся он.

И тогда я пошел за ним в загон около дома, который был обнесен колючей проволокой, заперт на замок и содержал одну гусыню — Ту Самую Гусыню.

— Вот Гусыня, — сказал он. Это было произнесено так, что ясно слышалась прописная буква.

Я уставился на ее. Это была такая же гусыня, как и любая другая, ей-богу — толстая, самодовольная и раздражительная. Я произнес «гм» в наилучшей профессиональной манере.

Мак-Грегор сказал:

— А вот одно из ее яиц. Оно было в инкубаторе. Ничего не получается.

Он достал яйцо из обширного кармана комбинезона. Он держал его с каким-то странным напряжением.

Я нахмурился. С яйцом было что-то неладно. Оно было меньше и круглее обычных.

Мак-Грегор сказал:

— Возьмите.

Я протянул руку и взял его. Вернее, попытался взять. Я приложил в точности такое усилие, какого должно было заслуживать подобное яйцо, но оно попросту выскользнуло у меня из пальцев. Пришлось взять его покрепче.

Теперь я понял, почему Мак-Грегор так странно держал яйцо. Оно весило граммов восемьсот. (Говоря точнее, когда мы потом взвесили его, масса оказалась равной 852,6 грамма.)

Я усталился на яйцо, которое лежало у меня на руке и давило на нее, а Мак-Грегор кисло усмехнулся:

— Бросьте его, — сказал он.

Я только посмотрел на него, а он взял яйцо у меня из руки и уронил его сам.

Яйцо тяжело шлепнулось на землю. Оно не разбилось. Не разбрызгалось каплями белка и желтком. Оно просто лежало на том месте, куда упало.

Я снова поднял его. Белая скорлупа раскололась в том месте, где яйцо ударились о землю. Осколки отлетели, изнутри светилось что-то тускло-желтое.

У меня задрожали руки. Непослушными пальцами я все же облупил еще немного скорлупы и усталился на это желтое.

Анализ не требовалось. Я и так понял, что это такое. •

Передо мной была Гусыня!

Гусыня, Которая Несла Золотые Яйца.

Вы мне не верите. Я знаю. Вы решили, что это очередная мистификация.

Очень хорошо! Я и рассчитываю, что вы так подумаете. Позже я объясню почему.

Пока что моей первой задачей было уговорить Мак-Грегора расстаться с этим золотым яйцом. Я был близок к истерике. Если бы это потребовалось, я был почти готов оглушить его и, отняв яйцо, удрать.

Я сказал:

— Я дам вам расписку. Я гарантирую вам оплату. Я сделаю все, что можно. Послушайте, мистер Мак-Гре-

гор, вам от этих яиц все равно нет никакой пользы. Продать золото вы не сможете, пока не объясните, откуда оно у вас. Хранить его у себя запрещено законом. А как вы сможете это объяснить? Если правительство...

— Я не хочу, чтобы правительство совало нос в мои дела, — упрямо заявил он.

Но я был вдвое упрямее. Я не отставал от него. Я молил, кричал. Я угрожал. Это продолжалось не один час. Буквально. В конце концов я написал расписку, а Мак-Грегор проводил меня до машины. Когда я отъехал, он стоял посреди дороги, глядя мне вслед.

Больше он этого яйца не видел. Конечно, ему была возмещена стоимость золота (656 долларов 47 центов после удержания налогов), но правительство здесь не прогадало.

Если подумать о потенциальной ценности этого яйца...

Потенциальная ценность! В этом-то и заключена вся ирония положения. Поэтому я и печатаю эту статью.

Отдел Департамента сельского хозяйства, в котором я служу, возглавляет Луис П. Бронстейн. (Можете не пытаться его разыскать. Если вам угодно получить дополнительную дезинформацию, то «П» — значит «Питтсфилд».)

Мы с ним в хороших отношениях, и я чувствовал, что могу все ему объяснить, не рискуя после этого оказаться под строгим врачебным надзором. И все-таки я не стал искушать судьбу. Я взял яйцо с собой и, добравшись до самого скользкого места, просто положил его на стол.

Поколебавшись, он дотронулся до яйца пальцем, как будто оно было раскалено.

Я сказал:

— Поднимите.

Он поднял его, как и я, со второй попытки.

Я сказал:

— Это желтый металл, и это могла быть латунь, только это не латунь, потому что он не растворяется в концентрированной азотной кислоте. Я уже пробовал. Золотая там только оболочка, потому что яйцо можно

сплющить под небольшим давлением. Кроме того, если бы оно было сплошь золотым, то весило бы больше 10 фунтов.

Бронштейн произнес:

— Это какая-то мистификация.

— Мистификация с настоящим золотом? Вспомните, — когда я впервые увидел эту штуку, она была полностью покрыта настоящей скорлупой. Кусочек скорлупы было легко исследовать. Карбонат кальция. Это подделать трудно. А если мы заглянем внутрь яйца (я не хотел делать это сам) и найдем настоящий белок и настоящий желток, то вопрос будет решен, потому что это подделать вообще невозможно. Конечно, дело заслуживает официального расследования...

— Но как же я пойду к начальству...

Он устался на яйцо.

Но в конце концов он все-таки пошел. Почти целый день он звонил по телефону и потел. Взглянуть на яйцо пришли одна или две большие шишки Департамента.

Так начался проект «Гусыня». Это было 20 июля 1955.

С самого начала я был уполномоченным по расследованию и номинально руководил им до конца, хотя дело вскоре вышло за пределы моей компетенции.

Мы начали с одного яйца. Его средний радиус составлял 35 мм (длинная ось — 72 мм, короткая ось — 68 мм). Золотая оболочка имела толщину 2,45 мм. Позже, исследовав другие яйца, мы обнаружили, что эта цифра довольно высока. Средняя толщина оболочки оказалась равна 2,1 мм.

Внутри было настоящее яйцо. Он выглядело как яйцо и пахло как яйцо.

Содержимое белка было подвергнуто анализу. Органические компоненты были близки к норме. Белок на 9,7% состоял из альбумина. Желток имел в общем нормальный состав. У нас не хватило материала, чтобы определить содержание микросоставляющих, но позже, когда в нашем распоряжении оказалось больше яиц, мы это сделали и, поскольку дело касалось содержания витаминов, коферментов, нуклеотидов, сульф-

гидрильных групп и тому подобного, не нашли ничего необычного.

Одним из важнейших грубых нарушений нормы, которые мы обнаружили, было поведение яйца при нагревании. Небольшая часть желтка при нагревании сварилась вкрутую почти немедленно. Мы дали кусочек такого крутого яйца мыши. Она съела его и осталась жива.

Еще кусочек отщипнул я. Этого было слишком мало, чтобы по-настоящему почувствовать вкус, но тем не менее меня затошнило. Самовнушение, скорее всего.

Этим опытом руководил Борис В. Финли, консультант нашего Департамента, сотрудник биохимического факультета Темпльского университета. По поводу варки яйца он заявил:

— Легкость, с какой протеины яйца денатурируют под действием тепла, говорит о том, что они уже частично денатурированы. А если иметь в виду состав оболочки, то нужно признать, что в этом повинно золото.

Часть желтка была исследована на присутствие неорганических веществ, и оказалось, что он богат ионами хлораурата — одновалентными ионами, содержащими атом золота и четыре атома хлора; химическая формула их — AuCl_4 . (Символ «Au», обозначающий золото, происходит от латинского названия золота — «аурум».) Говоря, что содержание хлораурата было высоким, я имею в виду, что его было 3,2 части на тысячу, или 0,32 %. Этого достаточно, чтобы образовать нерастворимое комплексное соединение золота с белком, которое легко свертывается.

Финли сказал:

— Очевидно, это яйцо не может насидеться. Так же, как и любое другое подобное яйцо. Оно отравлено тяжелым металлом. Может быть, золото и красивее свинца, но для белков оно столь же ядовито.

Я мрачно добавил:

— По крайней мере, можно не опасаться, что эта штука протухнет.

— Совершенно верно. В этом хлорно-золотоносном супе не станет жить ни одна уважающая себя бактерия.

Наконец был готов спектрографический анализ золота из оболочки. Оно было фактически чистым. Един-

ственной примесью, которую удалось обнаружить, было железо в количестве до 0,23%. В желтке содержание железа тоже было вдвое выше нормы. Однако тогда мы не обратили на это внимания.

Через неделю после того, как был основан проект «Гусыня», в Техас отправилась целая экспедиция. Туда поехали пять биохимиков (тогда еще, как вы видите, главный упор делался на биохимию), три грузовика оборудования и воинское подразделение. Я, конечно, поехал тоже.

Сразу по прибытии мы изолировали ферму Мак-Грегора от всего мира.

Это была, знаете, счастливая идея — все эти меры безопасности, принятые с самого начала. Рассуждали мы тогда неверно, но результат оказался удачным.

Департамент хотел, чтобы проект «Гусыня» держали в секрете, — на первых порах просто из-за не покидавшего нас опасения, что это все-таки окажется грандиозной мистификацией, а мы не могли себе позволить такую неудачную рекламу. А если это не было мистификацией, то мы не хотели навлечь на себя нашествие репортеров.

Подлинное значение всей этой истории стало вырисовываться лишь значительно позже, спустя много времени после того, как мы приехали на ферму Мак-Грегора.

Мак-Грегор, естественно, был недоволен тем, что вокруг него расположилось столько людей и оборудования. Он был недоволен тем, что Гусыню объявили казенным имуществом. Он был недоволен тем, что ее яйца конфисковали.

Все это ему не нравилось, но он дал свое согласие, — если можно назвать это согласием, когда в момент переговоров на заднем дворе вашей усадьбы собирают пулемет, а в самый разгар спора под окнами маршируют десять солдат с примкнутыми штыками.

Конечно, он получил компенсацию. Что деньги для правительства?

Гусыне тоже кое-что не нравилось, например когда у нее брали кровь для анализов. Мы не решались делать

это под наркозом, чтобы ненароком не нарушить ее обмен веществ, и каждый раз двоим приходилось ее держать. Вы когда-нибудь пробовали держать рассерженную гусыню?

Гусыня находилась под круглосуточной охраной, и любому, кто допустил бы, чтобы с ней что-нибудь случилось, грозил трибунал. Если кто-нибудь из тех солдат прочтет эту статью, он может догадаться, в чем было тогда дело. При этом у него должно хватить ума, чтобы держать язык за зубами. По крайней мере, если он соображает, что для него хорошо и что плохо, он будет помалкивать.

Кровь Гусыни подвергали всем возможным исследованиям. Она содержала 2 части на 100 000 (0,002 %) хлораурата. Кровь, взятая из печеночной вены, была им еще богаче — почти 4 части на 100 000.

Финли проворчал:

— Печень.

Мы сделали рентгеновские снимки. На негативе печень выглядела как светло-серая туманная масса, более светлая, чем окружающие органы, так как она поглощала больше рентгеновских лучей, потому что содержала больше золота. Кровеносные сосуды казались светлее, чем сама печень, а яичники были чисто белыми. Сквозь них рентгеновские лучи не проходили вовсе.

В этом был какой-то смысл, и в первом докладе Финли изложил его с наибольшей возможной прямо-той. Доклад содержал, в неполном пересказе, следующее:

«Хлораурат выделяется печенью в ток крови. Яичники действуют в качестве ловушки для этого иона, который здесь восстанавливается до металлического золота и отлагается в оболочке развивающегося яйца. Невосстановленный хлораурат в относительно высокой концентрации содержится в развивающемся яйце.

Почти не вызывает сомнения, что Гусыня использует этот процесс, чтобы избавиться от атомов золота, которые несомненно отравили бы ее, если бы им позволить накопиться. Выделение отбросов в составе содержимого яйца — вероятно, редкость в животном мире, даже уникальный случай, но нельзя отрицать, что благодаря этому Гусыня остается в живых.

Однако, к несчастью, яичники локально отравлены до такой степени, что яиц кладется мало, вероятно, не больше, чем нужно, чтобы избавиться от накапливающегося золота, и эти немногие яйца определенно не могут насиживаться».

Вот и все, что он написал, но нам, остальным, он сказал:

— Остается еще один вопрос...

Я знал, что это за вопрос. Мы все это знали.

Откуда берется золото?

На этот вопрос пока не было ответа, если не считать некоторых негативных результатов. В пище Гусыни золота не обнаруживалось, поблизости не было никаких золотоносных камешков, которые она могла бы глотать. Нигде в округе в почве не было следов золота, а обыск дома и усадьбы ничего не дал. Там не было ни золотых монет, ни золотых украшений, ни золотой посуды, часов, и вообще ничего золотого. Ни у кого на ферме не было даже золотых зубов.

Конечно, было золотое кольцо миссис Мак-Грегор, но оно было всего одно за всю ее жизнь, и его она носила на пальце.

Откуда же берется золото?

Первые намеки на ответ мы получили 16 августа 1955 года.

Альберт Невис, из университета имени Пэрдыю, ввел Гусыне желудочный зонд (еще одна процедура, против которой она энергично возражала), собираясь исследовать содержимое ее пищеварительного тракта. Это были все те же наши поиски внешнего источника золота.

Золото было найдено, но лишь в виде следов, и были все основания предположить, что эти следы сопровождают выделение пищеварительных соков и поэтому имеют внутреннее происхождение.

Тем не менее обнаружилось еще кое-что, во всяком случае отсутствие кое-чего.

Невис при мне пришел в кабинет Финли, расположенный во временной постройке, которую мы соорудили почти за одну ночь поблизости от гусятника. Он сказал:

— У Гусыни мало желчного пигмента. В содержимом двенадцатиперстной кишки его почти нет.

Финли нахмурился и произнес:

— Возможно, функции печени совершенно расстроены из-за концентрации золота. Может быть, она вовсе не выделяет желчи.

— Выделяет, — сказал Невис. — Желчные соли присутствуют в нормальном количестве. По крайней мере, близко к норме. Не хватает именно желчного пигмента. Я сделал анализ кала, и это подтвердилось. Желчного пигмента нет.

Здесь позвольте мне кое-что объяснить. Желчные соли — это вещества, которые печень выделяет в желчь, и в ее составе они изливаются в верхнюю часть тонкого кишечника. Эти вещества похожи на моющие средства: они помогают превращать жиры нашей пищи (и пищи Гусыни) в эмульсию и в виде мелких капелек распределить их в водном содержимом кишечника. Такое распределение, или, если хотите, гомогенизация, облегчает переваривание жиров.

Но желчные пигменты — вещества, которых была лишена Гусыня, — это нечто совершенно иное. Печень производит их из гемоглобина — красного белка крови, переносящего кислород. И использованный гемоглобин расщепляется в печени. Отщепленная часть — гем — представляет собой кольцообразную молекулу (ее называют порфирином) с атомом железа в центре. Печень извлекает из нее железо и запасает его для будущего употребления, а потом расщепляет и оставшуюся кольцообразную молекулу. Этот расщепленный порфирин и образует желчный пигмент. Он окрашивается в коричневый или зеленоватый цвет (в зависимости от дальнейших химических превращений) и выделяется в желчь.

Желчный пигмент не нужен организму. Он изливается в желчь как отброс, проходит сквозь кишечник и выделяется с экскрементами. Именно он определяет их цвет.

У Финли заблестели глаза.

Невис сказал:

— Похоже на то, что порфирины расщепляются в печени не так, как полагается. Вам это не кажется?

Конечно, казалось.

После этого всех охватило лихорадочное возбуждение. Это было первое обнаруженное у Гусыни отклонение в обмене веществ, не имеющее прямой связи с золотом.

Мы сделали биопсию печени (это значит, что из печени Гусыни был взят цилиндрический кусочек ткани). Гусыне было больно, но вреда ей это не причиняло. Кроме этого, мы сделали новые анализы крови.

На этот раз мы выделили из крови гемоглобин, а из нашего образца печени — немного цитохромов (цитохромы — это окисляющие ферменты, которые также содержат гем). Мы выделили гем, и в кислом растворе часть его выпала в осадок в вид ярко-оранжевого вещества. К 22 августа 1955 года мы получили 5 микрограммов этого соединения.

Оранжевое вещество было подобно гему, но это не был гем. В геме железо может находиться в виде двухвалентного (Fe^{2+}) или трехвалентного иона (Fe^{3+}). У оранжевого вещества, которое мы отделили от гема, с порфириновой частью молекулы было все в порядке. Но металл в центре кольца был золотом, точнее, трехвалентным ионом золота (Au^{3+}). Мы называли это соединение ауремом — это просто сокращение от слов «золотой гем».

Аурем оказался первым содержащим золото органическим соединением, когда-либо обнаруженным в природе. При обычных условиях это вызвало бы сенсацию в биохимическом мире. Но теперь это были пустяки — сущие пустяки в сравнении с новыми горизонтами, которые открывало само его существование.

Оказывается, печень не расщепляла гем до желчного пигмента. Вместо этого она превращала его в аурем, заменяя железо золотом. Аурем, в равновесии с хлорауремом, попадал в ток крови и переносился в яичники, где золото выделялось, а порфириновая часть молекулы удалялась посредством какого-то еще неизвестного механизма.

Дальнейшие анализы показали, что 29 % содержащегося в крови Гусыни золота переносилось в составе плазмы в виде хлораурата. Остальные 71 % содержались в красных кровяных тельцах в виде «ауремглобина». Была сделана попытка ввести в корм Гусыни метку из радиоактивного золота, чтобы проследить за радиоактивностью плазмы крови и красных кровяных телец и узнать, с какой скоростью молекулы ауремглобина перерабатываются в яичниках. Нам казалось, что ауремглобин должен был удаляться гораздо медленнее, чем растворенный в плазме хлораурат.

Однако эксперимент не удался — мы вообще не уловили радиоактивности. Мы сочли это результатом своей неопытности — никто из нас не был специалистом по изотопам. Это было большой ошибкой, потому что неудача эксперимента на самом деле имела огромное значение и, не осознав этого, мы потеряли несколько дней.

Конечно, ауремглобин был бесполезен с точки зрения переноса кислорода, но он составлял лишь около 0,1% от общего количества гемоглобина красных кровяных телец, так что это не сказывалось на газообмене в организме Гусыни.

В результате вопрос о том, откуда же берется золото, оставался открытым, и первым сделал решающее предположение Невис. На совещании нашей группы вечером 25 августа 1955 года он сказал:

— А может быть, Гусыня не замещает железо на золото? Может быть, она превращает железо в золото?

До того как я лично познакомился с Невисом в то лето, я знал его по публикациям (его темой была химия желчи и работа печени) и всегда считал его осторожным и здравомыслящим человеком. Пожалуй, даже слишком осторожным. Никто не мог бы подумать, что он способен сделать такое совершенно нелепое заявление.

Это свидетельствует о той атмосфере отчаяния и морального разложения, которая окружила проект «Гусыня».

Отчаяние вызывал тот факт, что золоту взяться было просто неоткуда — буквально неоткуда. Гусыня выделяла по 38,9 грамма золота в день на протяжении многих месяцев. Это золото должно было откуда-то поступать, а если этого не происходило, — а этого абсолютно не происходило, — то, значит, оно должно было из чего-то вырабатываться.

Моральное разложение, которое заставило нас серьезно рассмотреть вторую возможность, объяснялось попросту тем, что перед нами была Гусыня, Которая Несла Золотые Яйца; этого нельзя было отрицать. А раз так, то все было возможно. Ы все оказались в каком-то сказочном мире и потеряли чувство реальности.

Финли приступил к серьезному обсуждению такой возможности:

— В печень, — сказал он, — поступает гемоглобин, а выходит оттуда немного ауремглобина. В золотой оболочке яиц содержится единственная примесь — железо. В желтке яиц в повышенном количестве содержатся то же золото и отчасти железо. Во всем этом есть какой-то смысл. Ребята, нам нужна помощь.

Помощь нам действительно понадобилась. Так начался последний этап нашей работы. Этот этап, величайший и самый важный из всех, требовал участия физиков-ядерщиков.

5 сентября 1955 года из Калифорнийского университета прибыл Джон Л. Биллингс. Кое-какое оборудование он привез с собой, остальное было доставлено в течение ближайших недель. Выросли новые временные постройки. Я уже мог предвидеть, что не пройдет и года, как вокруг Гусыни образуется целый научно-исследовательский институт...

Вечером пятого числа Биллингс принял участие в нашем совещании. Финли ввел его в курс дела и сказал:

— С этой идеей о превращении железа в золото связано великое множество серьезных проблем. Во-первых, общее количество железа в Гусыне может быть всего порядка половины грамма, а золота производится около 40 граммов в день.

У Биллингса оказался чистый, высокий голос. Он сказал:

— Самая трудная проблема не в этом. Железо находится в самом низу энергетической кривой, а золото — гораздо выше. Чтобы грамм железа превратить в грамм золота, нужно примерно столько же энергии, сколько дает распад грамма урана-235.

Финли пожал плечами:

— Эту проблему я оставляю вам.

Биллингс сказал:

— Дайте мне подумать.

Он не ограничился размышлениями. В частности, он взял у Гусыни свежие образцы гема, сжег их и послал получившуюся окись железа в Брукхейвен на изотопное исследование.

Когда пришли результаты анализа, у Биллингса захватило дыхание. Он сказал:

— Здесь нет железа-56.

— А как остальные изотопы? — сразу же спросил Финли.

— Все тут, — сказал Биллингс, — в соответствующих соотношениях, но никаких следов железа-56.

Здесь мне снова придется кое-что объяснить. Железо, которое обычно встречается, состоит из четырех изотопов. Это разновидности атомов, которые отличаются атомным весом. Атомы железа с атомным весом 56, или железо-56, составляют 91,6% всех атомов железа. Остальные атомы имеют атомные веса 54, 57 и 58.

Железо, содержащееся в геме Гусыни, состояло только из железа-54, железа-57 и железа-58. Вывод напрашивался сам собой. Железо-56 исчезало, остальные изотопы нет; а это означало, что происходит ядерная реакция. Только ядерная реакция может затронуть один изотоп и оставить в покое остальные. Любая обычная химическая реакция должна была вовлекать в себя все изотопы в равной мере.

— Но это энергетически невозможно, — произнес Финли.

Говоря это, он хотел всего-навсего слегка съязвить по поводу первой реплики Биллингса. Мы, биохимики, хорошо знаем, что в организме идет множество реакций, требующих поступления энергии, и что проблема

решается так: реакция, потребляющая энергию, сопрягается с реакцией, выделяющей энергию.

Но химические реакции выделяют или поглощают лишь несколько килокалорий на моль. Ядерные же реакции выделяют или поглощают миллионы килокалорий. Значит, чтобы обеспечить энергией ядерную реакцию, нужна другая ядерная реакция, в ходе которой энергия выделяется.

Два дня мы не видели Биллингса.

Когда он вновь появился, то заявил:

— Послушайте! В ходе реакции, служащей источником энергии, должно выделяться ровно столько же энергии на участвующее в ней ядро, сколько требуется, чтобы могла идти реакция, поглощающая энергию. Если энергии поступает хотя бы чуть меньше, то реакция не пойдет. Если ее поступает хотя бы чуть больше и если учесть астрономическое количество участвующих в реакции ядер, то избыточная энергия в доли секунды превратила бы Гусыню в пар.

— Ну и что? — спросил Финли.

— Так вот, количество возможных реакций очень ограничено. Я смог найти только одну подходящую систему. Если кислород-18 превращается в железо-56, то при этом выделяется достаточно энергии, чтобы превратить железо-56 дальше в золото-197. Это похоже на катание с гор, когда санки спускаются с одной горки и тут же въезжают на другую. Придется это проверить.

— Каким образом?

— Во-первых, что, если установить изотопный состав кислорода в крови Гусыни?

Кислород воздуха содержит три стабильных изотопа, главным образом кислород-16. На кислород-18 приходится только один атом из 250.

Еще один анализ крови. Содержащаяся в ней вода была подвергнута перегонке в вакууме и часть ее пошла в масс-спектрограф. Кислород-18 в ней был, но только один атом из 1300. Почти 80 % ожидаемого количества кислорода-18 в крови не оказалось.

Биллингс сказал:

— Это косвенное доказательство. Кислород-18 расходуется. Он постоянно поступает в организм Гусыни с кормом и водой, но он все-таки расходуется. Вырабаты-

вается золото-197. Железо-56 является промежуточным продуктом, и так как реакция, в которой оно расходуется, проходит быстрее, чем реакция, в которой оно образуется, то оно не может достигнуть заметной концентрации и изотопный анализ показывает его отсутствие.

Мы не были удовлетворены этим и попробовали еще один эксперимент. Целую неделю Гусыню поили водой, обогащенной кислородом-18. Выделение золота повысилось почти немедленно. К концу недели она вырабатывала 45,8 грамма, в то время как содержание кислорода-18 в тканях ее тела осталось не выше, чем прежде.

— Сомнений нет, — сказал Биллингс. Он переломил карандаш и встал. — Эта Гусыня — живой ядерный реактор.

Очевидно, Гусыня представляла собой результат мутации.

Для мутации требовалось, кроме всего прочего, радиоактивное облучение, а это наводило на мысль о ядерных испытаниях, которые проводились в 1952—1953 годах в нескольких сотнях миль от фермы Мак-Грегора. (Если вам придется в голову, что в Техасе ядерные испытания никогда не проводились, то это свидетельствует о двух вещах: во-первых, я вам не сообщаю всего, что знаю, а во-вторых, вы сами много чего не знаете.)

Вряд ли за всю историю атомного века когда-либо так тщательно изучался радиоактивный фон и так скрупулезно анализировались радиоактивные составляющие почвы.

Были подняты архивы. Неважно, что они оказались совершенно секретными. К тому времени проекту «Гусыня» придавалось самое первостепенное значение, какое только было возможно.

Изучались даже метеорологические данные, чтобы проследить за поведением ветров в период испытаний.

Выяснились два обстоятельства.

Первое. Радиоактивный фон на ферме был чуть выше нормы. Спешу добавить, — не настолько, чтобы причинить какой-либо вред. Однако были данные о том, что в то время, когда родилась Гусыня, ферма была

задета краями по меньшей мере двух радиоактивных облаков. Снова спешу добавить, что никакой реальной опасности они не представляли.

Второе. Гусыня, единственная из всех гусей на ферме, по сути дела единственное из всех живых существ на ферме, которых мы смогли исследовать, включая людей, не обнаруживала вообще никакой радиоактивности. Только подумайте: все что уютно обнаруживает следы радиоактивности (это и имеют в виду, когда говорят о радиоактивном фоне). Но Гусыня не обнаруживала никакой радиоактивности.

В декабре 1955 года Финли представил доклад, который можно пересказать следующим образом:

«Гусыня представляет собой результат в высшей степени необычной мутации и родилась в обстановке высокой радиоактивности, которая способствовала мутациям вообще и сделала данную мутацию особенно благоприятной.

Гусыня обладает ферментативными системами, способными катализировать различные ядерные реакции. Состоят ли эти системы из одного или нескольких ферментов, неизвестно. Ничего неизвестно также о природе этих ферментов. Теоретически невозможно объяснить, как могут ферменты катализировать ядерные реакции, поскольку последние связаны с взаимодействиями частиц, на пять порядков более сильными, чем в обычных химических реакциях, которые обычно катализируют ферменты.

Сущность ядерного процесса состоит в превращении кислорода-18 в золото-197. Кислород-18 изобилует в окружающей среде, присутствует в значительных количествах в воде и во всех органических кормах. Золото-197 выделяется из организма через яичники. Известен один промежуточный продукт реакции — железо-56, а тот факт, что в этом процессе образуется ауремглобин, позволяет предположить, что в состав участвующего в нем фермента или ферментов входит гем в качестве активной группы.

Значительные усилия были направлены на то, чтобы оценить возможное значение этого процесса для Гусыни. Кислород-18 для нее безвреден, а удаление золота-197 представляет значительные трудности, само оно

потенциально ядовито и является причиной ее бесплодия. Синтез золота мог понадобиться для того, чтобы избежать какой-то более серьезной опасности. Такая опасность...»

Когда вы просто читаете об этом в докладе, все это кажется вам таким спокойным и логичным. На самом деле я еще никогда не видел, чтобы человек был так близок к апоплексическому удару и после этого остался в живых, как это удалось Биллингсу, когда он узнал о нашем эксперименте с радиоактивным золотом, о котором я вам уже рассказывал, — когда мы не обнаружили в Гусыне радиоактивности и отбросили результаты как бессмысленные.

Он снова и снова спрашивал, как же это мы могли счесть неважным исчезновение радиоактивности.

— Вы, — говорил он, — ничем не отличаетесь от того новичка-репортера, которого послали дать отчет о великосветском венчании и который, вернувшись, заявил, что писать не о чем, потому что жених не явился. Вы скормили Гусыне радиоактивное золото и потеряли его. Мало того, вы не обнаружили в Гусыне никакой естественной радиоактивности. Никакого углерода-14. Никакого калия-40. И вы решили, что это неудача!

Мы начали кормить Гусыню радиоактивными изотопами. Сначала осторожно, но к концу января 1956 года она получала их просто в лошадиных дозах.

Гусыня оставалась нерадиоактивной.

— Все это означает не что иное, — сказал Биллингс, — как то, что этот ядерный процесс в Гусыне, катализируемый ферментами, ухитряется превращать любой нестабильный изотоп в стабильный.

— Это полезно, — сказал я.

— Полезно? Но это же замечательно! Это великолепное защитное средство от опасностей века! Послушайте, при превращении кислорода-18 в золото-197 должно высвободиться восемь с чем-то позитронов на атом кислорода. А как только каждый позитрон соединится с электроном, должны испускаться гамма-лучи. Но и гамма-лучей не наблюдается! Гусыня должна об-

ладать способностью поглощать гамма-излучение без вреда для организма.

Мы подвергли Гусыню гамма-облучению. С увеличением дозы у нее было повысилась температура, и мы в панике прекратили опыт. Но это была не лучевая болезнь, а простая лихорадка. Прошел день, температура упала, и Гусыня снова была как новенькая.

— Вы понимаете, что это такое? — вопрошал Биллингс.

— Научное диво, — сказал Финли.

— Боже мой, неужели вы не видите возможностей практического применения? Если бы мы могли выяснить механизм этого процесса и повторить его в пробирке, мы получили бы прекрасный метод уничтожения радиоактивных отходов! Самое важное, что не позволяет нам перевести всю экономику на атомную энергию, — это мысль о том, что же делать с радиоактивными изотопами, образующимися в ходе реакции. Пропустить их через бассейн с препаратами этого фермента — и все! Стоит нам найти механизм, джентльмены, и можно не беспокоиться о радиоактивных осадках. Мы нашли бы и средство от лучевой болезни. Стоит слегка изменить механизм, и Гусыня сможет выделять любой нужный нам элемент. Как насчет яичной скорлупы из урана-235? Механизм! Механизм!

Он, конечно, мог кричать «Механизм!» сколько угодно. Толку от этого не было.

Все мы сидели, сложа руки и уставившись на Гусыню.

Если бы яйца хоть насиживались. Если бы мы могли получить выводок гусей — ядерных реакторов...

— Это должно было случаться и раньше, — сказал Финли. — Легенды о таких птицах должны были на чем-то основываться.

— Может быть, подождем? — предложил Биллингс.

Если бы у нас было стадо таких гусей, мы могли бы разобрать несколько штук на части. Мы могли бы изучить их яичники. Мы могли бы взять срезы тканей и их гомогенаты.

Из этого могло бы ничего не выйти. Ткани биопсии печени не реагировали на кислород-18, в какие бы условия мы их ни помещали.

Но мы могли бы извлечь печень целиком. Мы могли бы исследовать неповрежденных зародышей, проследить, как у зародыша развивается этот механизм.

Но у нас была только одна Гусыня, и мы не могли сделать ничего подобного.

Мы не осмеливались зарезать Гусыню, Которая Несла Золотые Яйца.

Тайна была заключена в печенке этой толстой Гусыни.

Печенка толстой Гусыни! Для нас это было не просто сырье для приготовления знаменитого паштета из гусиной печенки — дело было куда серьезнее.

Невис произнес задумчиво:

— Нужна идея. Какой-нибудь радикальный выход из положения. Какая-нибудь решающая мысль.

— Легко сказать, — уныло сказал Биллингс.

Сделав жалкую попытку пошутить, я предложил:

— Может быть, дать объявление в газетах?..

И тут мне пришла в голову идея.

— Научная фантастика! — сказал я.

— Что? — переспросил Финли.

— Послушайте, научно-фантастические журналы печатают статьи-мистификации. Читатели воспринимают их как шутку, но их это заинтересовывает.

Я рассказал об одной такой статье, которую написал Азимов и которую я когда-то читал.

Это было встречено с холодным неодобрением.

— Мы даже не нарушим секретности, — продолжал я, — потому что этому никто не поверит.

Я рассказал им, как в 1944 году Клив Картмилл написал рассказ об атомной бомбе на год раньше, чем нужно, и как ФБР посмотрело на это сквозь пальцы.

Они уставились на меня.

— А у читателей научной фантастики бывают идеи. Не надо их недооценивать. Даже если они сочтут это мистификацией, они напишут издателю и выскажут ему свое мнение. И если у нас нет своих идей, если мы зашли в тупик, то что мы теряем?

Их все еще не пронило.

Тогда я сказал:

— А знаете, Гусыня не будет жить вечно.
Это подействовало.

Нам пришлось уговорить Вашингтон; потом я связался с Джоном Кэмпбеллом, издателем научной фантастики, а он связался с Азимовым.

И вот статья написана. Я ее прочел, одобрил и прошу в с всех ей не верить. Пожалуйста.

Но только...

Нет ли у вас какой-нибудь идеи?

ПРИКОЛ

Во время летних каникул студенческий городок Арктурского университета на Эроне, второй планете системы Арктура, становился весьма унылым, да к тому же и очень жарким местом, поэтому не стоило удивляться, что для второкурсника Майрона Тубала жизнь наполнилась скукой и тоской. Заглянув вот уже в пятый раз за день в студенческий клуб в отчаянной попытке увидеть хотя бы одно знакомое лицо, он наконец с радостью обнаружил там Билла Сефана, зеленокожего юношу с пятой планеты Веги.

Сефан, как и Тубал, завалил биосоциологию, и теперь остался на каникулы в университете, готовясь к переэкзаменовке. Подобная несправедливость судьбы делает второкурсников закадычными друзьями.

Обессилевший от жары Тубал буркнул что-то вместо приветствия, плюхнул в самое большое кресло свое огромное безволосое тело коренного арктурца и спросил:

— Новичков уже видел?

— Так рано? До начала осеннего семестра еще шесть недель!

Тубал зевнул.

— Таких у нас еще не было. Это первая группа из Солярианской системы — десять первокурсников.

— Солярианской системы? Ты имеешь в виду новую систему, что присоединилась к Галактической федерации три... нет, четыре года назад?

— Та самая. Их главная планета называется, кажется, Земля.

— Ну так что?

— Да ничего особенного. Прилетели, и все. Кое у кого из них на верхней губе растут волосы — смотрит-ся очень глупо. Но если этого не брать в расчет, они выглядят как любой из десятка разновидностей гуманоидов.

Тут распахнулась дверь и ворвался коротышка Ври Форасе. Родом он был с единственной планеты Денеба, и сейчас покрывающий его лицо и голову короткий серый мех топорщился от возбуждения, а большие пурпурные глаза восхищенно светились.

— Слушайте, — пропищал он, задыхаясь после бега, — вы уже видели землян?

Сефан вздохнул:

— Неужели никто так и не сменит тему? Тубал мне только что о них рассказал.

— Уже? — разочарованно отозвался Форасе. — Но... он говорил, что это та самая ненормальная раса, которая наделала столько шума, когда Солярианскую систему приняли в Федерацию?

— Внешне они мне показались вполне нормальными, — заметил Тубал.

— Да я не об их внешности толкую, — с отвращением пояснил денебианец. — Все дело в их мышлении. Психология! Вот в чем главное!

Форасе учился на психолога.

— Вот как! И что же в них такого особенного?

— Психология толпы у этой расы совершенно неправильная, — принялся торопливо выкладывать Форасе. — Когда они собираются вместе в больших количествах, то не только не становятся менее эмоциональными, что характерно для всех известных нам типов гуманоидов, а еще более увеличивают свою эмоциональность! Собравшись толпами, земляне начинают бунтовать, впадать в панику, сходить с ума. И чем

больше их собирается, тем сильнее эффект. Представляете, мы даже изобрели новое математическое обозначение, чтобы справиться с этой проблемой. Смотрите!

Он быстро выхватил из кармана блокнот и стилус, но ручища Тубала прихлопнула их к столу раньше, чем стилус успел коснуться бумаги.

— Ура! Меня осенила потрясающая идея! — воскликнул Тубал.

— Могу представить! — буркнул Сефан.

Тубал не обратил на него внимания. Он снова улыбнулся и задумчиво пригладил ладонью лысый череп.

— Слушайте, — произнес он с неожиданным вдохновением, и его голос упал до заговорщического шепота.

Альберт Уильямс, недавно прилетевший с Земли, зашевелился во сне и вдруг осознал, что чей-то палец тычет его в ребра. Он открыл глаза, повернул голову и спросонья уставился в темноту, потом ахнул, резко сел и потянулся к выключателю лампы.

— Не шевелись, — приказал кто-то, стоящий рядом. Уильямс услышал легкий щелчок, в лицо ему ударил узкий жемчужно-белый луч карманного фонарика.

— Ты кто такой, черт тебя побори? — моргая, спросил Уильямс.

— Сейчас ты встанешь, — твердо заявил незнакомец, — оденешься и пойдешь со мной.

Уильямс зловеще ухмыльнулся:

— А ну, попробуй меня скрутить!

Ответа не последовало, но луч фонарика переместился немного в сторону, осветив вторую руку злоумышленника. Она держала нейронный хлыст, то самое маленькое приятное оружие, что парализует голосовые связки и завязывает нервы маленькими узелками мучительной боли. Уильямс с трудом сглотнул и вылез из постели.

Он молча оделся, потом спросил:

— Ладно, что мне теперь делать?

Поблескивающий хлыст указал на дверь.

— Просто иди впереди, — велел незнакомец, когда землянин шагнул в нужную сторону.

Уильямс вышел из комнаты, прошел по пустынному коридору и спустился на восемь этажей по лестнице, так и не осмелившись оглянуться. Выйдя на улицу, он остановился, но тут же почувствовал прикосновение металла к спине.

— Знаешь, где находится Обел-холл?

Кивнув, Уильямс зашагал дальше. Он миновал Обел-холл, свернул вправо на Университетскую авеню и, пройдя по ней около полумили, направился в сторону, к рощице. Там, в темноте, смутно угадывался корпус звездолета с наглухо задраенными иллюминаторами, и лишь тусклая полоска света выдавала расположение едва приоткрытой двери шлюза.

— Залезай!

Его заставили подняться по лесенке, затем втолкнули в тесную комнатку.

Уильямс заморгал, огляделся и принялся считать вслух:

— ...семь, восемь, девять, и я десятый. Полагаю, нас захватили всех.

— Тут и полагать нечего, — проворчал Эрик Чемберлен. — Всех до единого. Я тут уже час торчу, — сообщил он, потирая руку.

— Что у тебя с рукой? — спросил Уильямс.

— Связки растянул. Проверял на прочность челюсть того мерзавца, который затащил меня сюда. С тем же успехом мог врезать и по корпусу корабля.

Уильямс, скрестив ноги, уселся на пол и прислонил голову к стене.

— У кого-нибудь есть идеи насчет того, что все это значит?

— Похищение! — выпалил коротышка Джо Свини, стуча зубами.

— Черта лысого! — фыркнул Чемберлен. — Если кто-то из нас миллионер, то я об этом не слыхал. Я-то уж точно не богач.

— Послушайте, — предложил Уильямс, — давайте искать причины попроще. Похищение или нечто в этом роде отпадает сразу. Те люди не могли быть преступниками. Почему? Да потому что цивилизация, достигшая таких высот в психологии, какими известна Галактическая федерация, способна искоренить преступность, едва шевельнув пальцем.

— Пираты, — буркнул Лоуренс Марш. — Сам-то я в них не верю, но для предположения сгодится.

— Чушь! — парировал Уильямс. — Пиратство — явление, характерное для пограничных, неосвоенных территорий. А в этой области космоса цивилизация существует уже десятки тысяч лет.

— Все равно, они же были вооружены, — не сдавался Джо, — и мне это очень не нравится.

Он позабыл в комнате свои очки, и теперь в его близоруких глазах угадывалась особая встревоженность.

— Это тоже мало о чем говорит, — заметил Уильямс. — А теперь я поделюсь с вами тем, что пришло мне на ум. Мы, все десять, — только что прибывшие в Арктурский университет новички. И в первую же ночь нас таинственно похищают из комнат и переправляют в странный звездолет. Эти факты подталкивают меня к определенным выводам. А вас?

Сидни Мофтон, дремавший сидя, опустил голову на руки, приподнял ее и сонно пробормотал:

— Я тоже об этом подумал. Похоже, мы все влипли в дурацкий прикол. Как мне кажется, джентльмены, местные второкурсники решили от души повеселиться.

— Совершенно верно, — согласился Уильямс. — Другие идеи есть?

Молчание.

— Хорошо, тогда нам остается только ждать. Лично я собираюсь немного вздремнуть. Если я им понадобится, они меня сами разбудят.

В этот момент корабль дернулся и Уильямс, потеряв равновесие, повалился на пол.

— Что ж, вот мы и взлетели... знать бы только, куда летим?

Чуть позднее Билл Сеан, прежде чем войти в рубку управления, на мгновение замер в дверях. Поборов неуверенность, он все-таки сделал шаг вперед и едва не столкнулся с весьма возбужденным Ври Форасе.

— Ну как, работало? — нетерпеливо спросил де-небианец.

— Хреново, — кисло признался Сефан. — Если это называется паникой, тогда я сам паникер. Они собираются спать.

— Спать! Все до единого? Но о чем они разговаривали?

— Да почему мне знать? Они ведь говорили не на галактическом, а в их землянской тарабарщине я ~~ни~~ в зуб ногой.

Форасе жестом отвращения воздел руки.

— Послушай, Форасе, — заговорил Тубал после долгого молчания, — я учусь на биосоциолога. А о психологии этих придурков заговорил ты. И успех прикола гарантировал тоже ты. Так что если мы сядем в лужу, мне это вовсе не понравится.

— Ну, клянусь благосклонностью Денеба, — отчаянно пропищал Форасе, — какие же вы еще желтопузые соплики! Вы что думаете, они так сразу и начнут вопить да брыкаться? О бурлящий Арктур! Подождите, пока не доберемся до системы Спики, ладно? Вот посидят они взаперти ночку-другую...

Он хихикнул, вспомнив кое-что.

— Кажется, это будет самая классная шуточка с тех пор, как кто-то привязал летучих мышей-вонючек к хроматическому органу в ночь выпускного бала.

Тубал слегка улыбнулся, но Сефан откинулся на спинку кресла и задумчиво произнес:

— А что, если кто-нибудь — скажем, президент Уинн — об этом узнает?

Сидящий за пультом арктурец пожал плечами:

— Это самый обычный прикол. Они легко сходят с рук.

— Не прикидывайся дурачком, М. Т. Это уже не детские шалости. На четвертую планету Спики кораблям Федерации садиться запрещено. Да что планета — вся система Спики для нас под запретом, и ты это прекрасно знаешь. На этой планете обитает субгуманоидная раса. Их сознательно решили не тревожить до тех пор, пока они сами не изобретут средства для межзвездных полетов. Таков закон, и за его нарушение карают очень строго. О космос! Если нас застукают, то о последствиях лучше и не думать!

Тубал обернулся, не вставая.

— Ну как, по-твоему, Прекси Уинн — да будет проклята его толстая шкура! — сможет об этом пронюхать? Да, мы обязательно расскажем обо всем приятелям — какой смысл приберегать историю только для себя? Половину удовольствия потеряем. Но как он узнает имена? Никто и не пикнет. Ты сам это знаешь.

— Ладно, — сказал Сефан, пожимая плечами.

— Можно входить в гиперпространство! — объявил Тубал.

Он нажал несколько клавиш и корабль вздрогнул, покидая нормальное пространство.

Десять землян настроились на самое скверное и выглядели соответственно. Лоуренс Марш, сощурившись, снова взглянул на часы.

— Половина третьего, — сказал он. — Теперь уже тридцать шесть часов. Как мне хочется, чтобы все осталось позади.

— Никакой это не прикол, — простонал Свини. — Слишком уж долго все тянется.

Уильямс покраснел от гнева.

— Что у вас за вид, словно вы уже наполовину покойники? Ведь они нас регулярно кормят, разве не так? Нас не связали, верно? На мой взгляд, совершенно очевидно, что о нас хорошо заботятся.

— Или же, — задумчиво протянул Сидни Мортон, — откармливают на убой.

Он многозначительно смолк, и все напряглись. Каждый ощутил характерную дрожь, которую так трудно описать словами.

— Чувствуете? — воскликнул Эрик Чемберлен. — Мы снова в нормальном пространстве, а это означает, что всего через час-другой мы узнаем, куда нас привезли. Нам необходимо что-то предпринять!

— Знакомые все речи, — фыркнул Уильямс. — Но что именно?

— Нас здесь десять, верно? — крикнул Чемберлен, выпячивая грудь. — Так вот, до сих пор я видел только одного из них. Когда он придет в следующий раз, а очень скоро нам должны снова принести еду, надо навалиться на него всем вместе.

— А как же нейронный хлыст? — побледнел Сви-ни. — Он у него всегда наготове.

— Это оружие не убивает. Во всяком случае, со всеми сразу ему справиться не удастся.

— Эрик, ты дурак, — откровенно заявил Уильямс.

Чемберлен вспыхнул и сжал кулаки.

— Я как раз не прочь немного размяться. Повтори-ка свои слова.

— Сядь! — Уильямс даже не потрудился взглянуть в его сторону. — И не очень усердствуй, доказывая правоту моего эпитета. Все мы нервничаем, все на взводе, но это отнюдь не означает, что нам следует сходить с ума окончательно. По крайней мере, не сейчас. Во-первых, даже если не брать в расчет хлыст, мы мало чего добьемся, скрутив нашего тюремщика.

— Мы видели только одного, но он из системы Арктура. В нем добрых семь футов роста, а весит он не менее трехсот фунтов. Он голыми руками сделает из всех нас отбивные. Кажется, ты уже успел испытать его на прочность, Эрик?

После этих слов наступило угрюмое молчание.

— И даже если нам удастся справиться с ним и со всеми остальными на корабле, сколько бы их ни оказалось, — добавил Уильямс, — мы и после этого не будем иметь ни малейшего представления о том, куда нас привезли, как вернуться обратно и как управлять кораблем. — Он сделал паузу. — Так что скажете?

— Проклятие! — Чемберлен нахмурился, отвернувшись и молча уставился на стенку.

Дверь распахнулась от мощного пинка. Вошел великан-арктурец и вытряхнул на пол содержимое принесенного с собой мешка. В другой руке он держал наготове нейронный хлыст.

— Последняя кормежка, — буркнул он.

Началась легкая суэта, пока земляне собирали раскатившиеся по углам еще теплые, недавно подогретые консервные банки. Мортон взглянул на свою и скривился.

— Послушай, — произнес он на галактическом, немного запинаясь с непривычки, — неужели нельзя принести что-нибудь другое? Меня тошнит от вашего протухшего гуляша. Четвертая банка подряд!

— Какая разница? Я же сказал, это ваша последняя кормежка, — процедил арктурец, закрывая за собой дверь.

Все застыли, парализованные ужасом.

— Что он хотел этим сказать? — выдавил кто-то.

— Они собираются нас убить! — взвизгнул Свини. Глаза его округлились от страха. Судя по голосу, он был на грани истерики.

У Уильямса пересохло во рту, он ощутил, как внутри него поднимается гнев, вызванный заразительным для прочих страхом Свини. Он сдержался — в конце концов, парнишке только семнадцать — и хмуро произнес:

— Прекрати это, хорошо? Давайте есть.

Два часа спустя он ощутил толчок. Корабль сел, путешествие завершилось. Все эти два часа царило молчание, но Уильямс ощущал, как тиски страха с каждой минутой сжимаются все сильнее.

Багровый диск Спики висел над самым горизонтом, дул холодный порывистый ветер. Десять землян, сбившись в жалкую кучку на каменистой вершине холма, мрачно разглядывали своих похитителей. Говорил огромный арктурец Майрон Тубал, а зеленокожий веганец Билл Сефан и маленький лохматый денебианец Ври Форасе смущенно топтались за его широкой спиной.

— Огонь у вас есть, — грубо пробасил арктурец, — а дров здесь в лесах хватает. Костер отпугнет диких зверей. Перед отлетом мы оставим вам два хлыста, с их помощью вы защититесь от туземцев, если они начнут вас беспокоить. А что касается еды, воды и жилья, тут вам придется самим пораскинуть мозгами.

Он отвернулся. Взревев, Чемберлен внезапно бросился на удаляющегося арктурца, но тот отшвырнул его прочь небрежным взмахом руки.

Дверь шлюза закрылась, и почти немедленно корабль оторвался от земли и рванулся вверх. Наконец Уильямс прервал всеобщее оцепенение:

— Они оставили хлысты. Я возьму один, а ты, Эрик, можешь взять второй.

Один за другим испуганные, дрожащие от возбуждения земляне уселись возле костра. Уильямс выдавил из себя улыбку.

— Местность тут лесистая, так что в дичи недостатка не будет. Ну, чего приуныли? Нас тут десять человек, а рано или поздно, но они за нами вернутся. Давайте лучше покажем им, что земляне могут пережить и такое. Что скажете, парни?

Слова его словно упали в пустоту, и лишь Мортон раздраженно посоветовал:

— Почему бы тебе не заткнуться? И без тебя тошно.

Уильямс сдался. В желудке у него застыл холодный комок.

Сумерки перешли в ночь, и круг света вокруг костра сжался до маленького мерцающего пятнышка с пляшущими по краям тенями. Внезапно Марш ахнул, глаза его округлились.

— Там... там что-то приближается!

Все вздрогнули, готовые вскочить, но тут же замерли, затаив дыхание и пристально вслушиваясь.

— Ты просто свихнулся... — начал было Уильямс, но оборвал себя, услышав характерный скользящий звук, который ни с чем невозможно спутать.

— Доставай свой хлыст! — рывкнул он Чемберлену. Джо Свини внезапно истерично рассмеялся.

И тут воздух содрогнулся от вопля, а со всех сторон на них обрушились тени.

На корабле тем временем тоже кое-что происходило.

Корабль Тубала набирал скорость, удаляясь от четвертой планеты Спики. За пультом сидел Билл Сефан, а сам Тубал, сидя в тесной каютке, двумя глотками прикончил содержимое огромной плоской бутылки с денебианским ликером.

Ври Форасе с грустью наблюдал за этой операцией.

— Он стоит двадцать кредитов бутылка, — сказал он, — а у меня осталось всего две.

— Ну, так не позволяй мне его заграбастывать, — великодушно произнес Тубал. — Меняю пустую бутылку на полную.

— Один такой глоток, — пробормотал денебианец, — и я отключусь до осенних экзаменов.

Тубал не обратил на его слова внимания.

— Это, — начал он, — войдет в историю университета как самый потрясающий прикол за...

И тут послышался звонкий щелчок, почти не приглушенный слоями обшивки, и свет в каютке погас.

Ври Форасе вдавило в переборку, да так сильно, что он мог дышать лишь короткими судорожными вздохами.

— О к-космос! П-полное уск-корение! Что с-случилось с ур-равнителем?

— К чертям уравнитель! — взревел Тубал, с трудом поднимаясь. — Что случилось с кораблем?

Спотыкаясь, он выбрался через дверь в столь же темный коридор. Форасе полз следом. Когда они ворвались в рубку, Сефан сидел за пультом. Его заливал тусклый свет аварийных ламп, зеленая кожа блестела от пота.

— Метеор, — прохрипел он. — Вывел из строя распределители мощности, и теперь вся энергия идет на разгон. Освещение, обогрев и радио также накрылись, а вентиляторы еле крутятся. В четвертом отсеке пробина.

Тубал вперил в Сефана безумный взгляд.

— Идиот! Почему ты не смотрел на индикатор массы?

— Смотрел, еще как смотрел! — взвыл Сефан. — Так знай, комок шпатлевки, что он ничего не показывал. Он — ничего — не — показывал! А чего еще ожидать от раздолбанной жестянки, взятой напрокат за две сотни? Метеор прошел сквозь защитный экран, как сквозь бумагу.

— Заткнись!

Тубал распахнул дверцу шкафчика со скафандрами и застонал.

— Тут только арктурские модели. Черт, забыл проверить перед вылетом. Справишься с таким, Сефан?

— Может быть, — протянул Сефан, с сомнением почесывая ухо.

Через пять минут Тубал протиснулся в шлюз, за ним последовал Сефан, неуклюже путаясь в складках огромного скафандра. Через полчаса они вернулись.

— Заслонки! — процедил Тубал, стянув шлем.

Ври Форасе ахнул:

— Выходит... нам крышка?

Арктурец покачал головой.

— Мы сможем их починить, но это займет некоторое время. Радио накрылось окончательно, так что на помощь рассчитывать нечего.

— Помощь! — встрепнулся Форасе. — Только ее нам еще не хватало! А как мы объясним, что оказались в системе Спики? Нам теперь что радио включить, что покончить жизнь самоубийством — все едино. Пока мы в состоянии вернуться сами, мы в безопасности. Если и пропустим парочку лекций, ничего страшного не случится.

— А что станет с пугливыми землянами на четвертой планете Спики? — мрачно поинтересовался Сефан.

Форасе открыл рот, собираясь ответить, но так и не смог произнести ни слова. Когда он его закрыл, вид у него стал такой, что денебианца можно было демонстрировать студентам-психологам как типичного гуманоида, охваченного отчаянием.

Но это было только начало неприятностей.

Полтора дня ушло на то, чтобы разобраться в схемах энергетической установки. Еще два дня пришлось тормозить, сбрасывая скорость для разворота. На возвращение к Спике-4 потратили еще четыре. На все вместе — восемь.

Когда корабль снова завис над холмом, на котором они оставили землян, день только начинался. Лицо Тубала, изучавшего район недавней посадки через телевизор, все более вытягивалось, и вскоре он нарушил затянувшееся гробовое молчание.

— Кажется, мы ухитрились совершить все возможные ошибки до единой. Мы высадили их возле туземной деревни. От землян не осталось и следов.

— Дело скверно, — уныло покачал головой Сефан. Охваченный отчаянием Тубал закрыл лицо руками.

— Все, конец. Или они сами напугали друг друга до смерти, или их прикончили туземцы. Мы прилетели в запретную зону, что само по себе скверно... а теперь, полагаю, нас можно обвинить в преднамеренном убийстве.

— Нам остается только одно, — сказал Сефан, — совершить посадку и проверить, не остался ли кто из них в живых. Это наш долг. А потом...

Он судорожно сглотнул.

— А потом, — шепотом закончил за него Форасе, — нас ждет исключение из университета, психоревизия... и физический труд до конца жизни.

— Заткнитесь! — рявкнул Тубал. — О наказании еще будет время подумать. За дело.

Медленно совершая крути, корабль начал опускаться и сел на каменистую площадку, где восемь дней назад они бросили десятерых ошеломленных землян.

— Как нам общаться с туземцами? — спросил Тубал у Форасе, вопросительно приподняв надбровные складки (на которых, разумеется, не росли волосы). — Валяй, парень, выдай нам что-нибудь из субгуманоидной психологии. Нас тут только трое, и я не хочу лишних неприятностей.

Форасе пожал плечами, его мохнатое лицо сморщилось.

— Как раз об этом я только что подумал, Тубал. Я ничего о ней не знаю.

— Что?! — одновременно выпалили Тубал и Сефан.

— Никто не знает, — торопливо добавил денебианец. — Это факт. В конце концов, мы ведь не позволяем субгуманоидам вступать в Федерацию до тех пор, пока они не станут полностью цивилизованными, а пока подобное не произойдет, всякие контакты с ними запрещены. Или ты полагаешь, что у нас было много возможностей изучать их психологию?

Арктурец тяжело уселся на землю.

— Да, все лучше и лучше. Так *гумай*, лохматая твоя морда. Предложи хоть что-нибудь!

Форасе почесал макушку.

— Ну... гм... полагаю, лучше всего будет обращаться с ними как с нормальными гуманоидами. Если мы приблизимся медленно, показывая раскрытые ладони, не станем делать резких движений и попробуем сохрани-

нять спокойствие, то, думаю, все обойдется. Но помните — я сказал, что так *думаю*. Уверенности у меня нет.

— Пошли, и к черту твою уверенность, — нетерпеливо бросил Сефан. — Какая, собственно, разница? Если меня и прикончат здесь, то, по крайней мере, не придется возвращаться домой. — Он сжался, словно затравленный зверь. — Как подумаю, что скажет моя семья...

Они вышли из корабля и вдохнули воздух четвертой планеты Спики. Солнце, похожее на большой оранжевый баскетбольный мяч, висело прямо над их головами. Где-то в лесу хрипло каркнула птица, потом воцарилась мертвая тишина.

— Гм-м! — произнес Тубал, уперев руки в бока.

— Тишина такая, что в сон клонит. Никаких признаков жизни. Ладно, в какой стороне деревня?

Вспыхнул короткий спор, и вскоре арктурец, а за ним двое приятелей зашагали по склону в сторону молчаливого леса.

Когда они углубились в него на сотню футов, деревья внезапно ожили, и с нависающих ветвей на них бесшумно хлынула волна туземцев. Ври Форасе она захлестнула сразу, Билл Сефан продержался секунду-другую, но тоже со стоном повалился на спину.

И лишь гигант Майрон Тубал остался на ногах. Уперев в землю широко расставленные подошвы и утрашая противника оглушительным ревом, он замахал руками. Атакующие туземцы накатывались со всех сторон, но тут же отлетали обратно, словно капельки воды, угодившие под струю вентилятора. Построив оборону по принципу ветряной мельницы, Тубал медленно пятился, желая упереться спиной в ствол дерева.

Тут он и совершил ошибку. На самой низкой ветви этого дерева, прижавшись к ней, лежал туземец — более осторожный и сообразительный, чем его товарищи. Тубал уже заметил, что природа наградила туземцев гибкими мускулистыми хвостами, и мысленно отметил этот факт. Только еще одна разумная раса в Галактике, гуманоиды с гаммы Цефея, имела хвосты. Но не заметил он, однако, того, что хвосты у местных туземцев были хватательными.

Обнаружил он это почти немедленно, когда туземец на ветке опустил хвост вниз, мгновенно обвил им шею Тубала и затянул тугую петлю.

Арктурец резко рванулся от боли, хвостатый противник слетел с ветки, но хватки так и не ослабил, хотя висел вниз головой, а Тубал мотал его из стороны в сторону.

Мир перед глазами Тубала потемнел, и он потерял сознание раньше, чем коснулся земли.

Тубал медленно пришел в себя и тут же с неудовольствием ощутил, как покалывает онемевшую шею. Он попробовал ее потереть и лишь через несколько секунд сообразил, что лежит, крепко связанный. Этот факт заставил его насторожиться, и он тут же понял, что лежит на животе, что неподалеку что-то ужасно грохочет и что Сефан и Форасе лежат рядом с ним такими же неподвижными тюками. Последним до него дошло, что он не в силах разорвать свои путы.

— Эй, Сефан, Форасе! Вы меня слышите?

— Так ты жив, старый драконианский козел? — жизнерадостно отозвался Форасе. — А мы уж решили, что тебе крышка.

— Меня не так-то просто прикончить, — буркнул арктурец. — Где мы?

Наступило короткое молчание.

— Полагаю, в туземной деревне, — мрачно произнес Ври Форасе. — Слышал когда-нибудь такой шум? Барабан не замолкал ни на минуту с тех пор, как нас сюда бросили.

— А вы не видели никого из...

В Тубала вцепились чьи-то руки, потянули и усадили. Шея заболела еще сильнее. Кривобокие хижины из зеленых бревен, крытые соломой, поблескивали в лучах послеполуденного солнца. Вокруг них в молчаливом ожидании кольцом стояли темнокожие длиннохвостые туземцы. Их было несколько сотен, у каждого головной убор из перьев и короткое копыс со зловещего вида зазубренным наконечником.

Их глаза не отрывались от цепочки фигур на переднем плане, и Тубал тоже обратил на них свой гневный

взгляд. Не вызывало сомнений, что то были вожди племени. Кроме пышных, украшенных бахромой одежд из скверно выдубленных шкур, варварское впечатление их наряда усиливали высокие деревянные маски, разрисованные карикатурами на человеческие лица.

Одна из внушающих ужас фигур в маске короткими ритуальными шажками приблизилась к гуманоидам.

— Привет, — произнес туземец, снимая маску. — Решили вернуться пораньше?

Очень долго Тубан и Сефан не могли выдать из себя ни слова, а Ври Форасе одолел приступ кашля.

Наконец Тубал медленно сделал глубокий вдох.

— Ты один из землян, верно?

— Верно. Эл Уильямс. Можете звать меня просто Эл.

— Они тебя еще не убили?

— Они никого из нас не убили, — радостно улыбнулся Уильямс. — Как раз наоборот. Джентльмены, — он церемонно поклонился, — позвольте вам представить новых... э-э... богов этого племени.

— Новых чего? — выдавил Форасе. Он все еще кашлял.

— Э-э... богов. Извините, но я не знаю этого слова на галактическом.

— Но что оно означает? Что такое «бог»?

— Мы для них некие сверхъестественные существа — объект поклонения. Разве вы еще не поняли?

Гуманоиды с тоской переглянулись.

— Мы для них, — ухмыльнулся Уильямс, — существа, обладающие огромной силой.

— Что за ерунду ты несешь? — раздраженно произнес Тубал. — С чего они взяли, что вы очень сильны? Силы в вас, землянах, не так-то и много — куда ниже среднего!

— Тут все дело в психологии, — пояснил Уильямс. — Раз уж они увидели, как мы опускаемся в огромной сверкающей повозке, которую таинственная сила переносит по воздуху, а потом эта повозка взлетает, опираясь на огненный столб, то им не остается ничего иного, как считать нас существами сверхъестественными. Это же азы психологии примитивных племен.

Глаза Форасе, слышавшего Уильямса, едва не вылезли от удивления.

— Кстати, — продолжил Уильямс, — а что вас задержало? Мы давно догадались, что это был студенческий прикол, верно?

— Слушай, — оборвал его Сефан, — кончай вешать нам лапшу на уши! Если они решили, что вы боги, то почему они не приняли за богов нас? Мы тоже прилетели на корабле, и...

— А тут, — пояснил Уильямс, — немного вмешались мы. Мы им объяснили — картинками и на языке жестов, — что вы были демонами. И когда вы в конце концов вернулись — кстати, мы тоже очень обрадовались, заметив корабль, — они уже знали, что надо делать.

— А что такое «демоны»? — с легким, но совершенно отчетливым оттенком ужаса спросил Форасе?

Уильямс вздохнул:

— Неужели вы, жители Галактики, не знаете элементарщины?

Тубал медленно, потому что шея еще болела, повернул голову.

— Может, пора нас освободить? У меня вся шея затекла.

— Куда ты торопишься? В конце концов, вас принесли сюда, чтобы принести в жертву в нашу честь.

— *Принести в жертву?*

— Конечно. Вас разрежут ножами на кусочки.

Гуманоиды смолкли, парализованные ужасом. Тубал опомнился первым и прохрипел:

— Хватит нам туфту подсовывать! Сам знаешь, мы не какие-то там земляне, нас так легко не запугаешь.

— О, уж это мы знаем! Сам я ни за что на свете не стал бы пытаться вас одурачить. Но существует такая простая вещь, как психология дикарей, и она требует небольших человеческих жертв, так что...

Связанный Сефан, яростно извиваясь, попытался накинуться на Форасе:

— Ты, по-моему, говорил, что никто не владеет психологией субгуманоидов! Выходит, ты пытался оп-

равдать свое невежество, мохнатый пучеглазый отпрыск незаконнорожденной веганской ящерицы! Ну и вяпались же мы!

Форасе торопливо отполз подальше.

— Нет, погоди! Я только...

Уильямс решил, что шутка зашла слишком далеко.

— Не дергайтесь, ребята, — успокоил он. — Ваш хитроумный прикол дал вам самим пинка под зад — и хорошего пинка, — но мы не собираемся заходить настолько далеко. Пожалуй, мы уже достаточно повеселились за ваш счет. Свини сейчас у туземного вождя, объясняет, что мы собираемся улететь и взять вас с собой. Честно говоря, мне уже давно не терпится отсюда... Погодите, меня зовет Свини.

Когда Уильямс через несколько секунд вернулся, в его глазах застыло странное выражение, а лицо позеленело и продолжало на глазах зеленеть.

— Похоже, — выдавил он, судорожно сглотнув, — что наш прикол теперь дал пинка нам. Туземный вождь настаивает на жертвоприношении!

Трое гуманоидов молча принялись обдумывать ситуацию. Молчание несколько затянулось.

— Я велел Свини, — мрачно добавил Уильямс, — вернуться к вождю и сказать, что если он не поступит так, как мы велели, с его племенем случится нечто ужасное. Но это чистый блеф, а вождь может и заупрямиться. Гм-м... мне очень жаль, парни. Кажется, мы зашли слишком далеко. Если дела пойдут совсем скверно, мы вас развяжем и станем сражаться рядом с вами.

— Тогда развязывай сразу! — взревел Тубал. — Пора с этим покончить!

— Стой! — отчаянно пискнул Форасе. — Пусть землянин сперва испробует психологию. Давай, землянин, раскинь мозгами!

Уильямс задумался настолько упорно, что у него заболела голова.

— Видите ли, — вскоре пробормотал он, — мы потеряли часть своего божественного престижа, когда не смогли вылечить жену вождя. Она вчера умерла. — Он рассеянно кивнул. — И сейчас нам требуется впечатляющее чудо. Гм-м... Парни, а у вас в карманах ничего не завалилось?

Он присел рядом с ними на корточки и принялся обшаривать карманы. У Ври Форасе обнаружили стилус, блокнот, густой гребешок, немного порошка от чесотки, пачка кредиток и всякие безделушки. В карманах Сефана нашлась примерно такая же коллекция бесполезных мелочей.

Зато из заднего кармана Тубала Уильямс извлек небольшой черный предмет, похожий на пистолет с огромной рукояткой и коротким стволом.

— Что это?

Тубал нахмурился.

— Выходит, я именно на нем все это время сидел? Это сварочный пистолет, я им заделывал пробоину в корпусе после удара метеорита. Толку от него никакого — заряд почти кончился.

Глаза Уильямса вспыхнули, тело возбужденно вздрогнуло.

— Это ты так думаешь! Вы, жители Галактики, дальше своего носа ничего не видите. Почему бы вам не слетать на Землю — сразу станете смотреть на мир другими глазами.

И Уильямс помчался к своим приятелям-конспираторам.

— Свини! — заорал он. — Вали к этой проклятой хвостатой обезьяне и передай, что через секунду я разгневаюсь и обрушу небо на его тупую башку. Припутни его как следует!

Однако вождь не стал дожидаться посланника. Он сделал повелительный жест, и туземцы разом бросились вперед. Тубал взревел, его мускулы затрещали, пытаясь разорвать путы. Сварочный пистолет в руке Уильямса ожил, метнув вперед слабый энергетический луч.

Ближайшая к нему хижина внезапно вспыхнула. Затем вторая, третья, четвертая... и тут пистолет выдохся окончательно.

Но этого оказалось достаточно. Ни один туземец не остался на ногах — все они лежали, уткнувшись в землю и воплями вымаливая прощение. Громче всех выл и вопил вождь.

— Передай вождю, Свини, — велел Уильямс, — что то был лишь маленький, незначительный пример того, что мы собирались с ним сделать!

И благодушно добавил, разрезая стягивающие гуманоидов сыромятные ремни:

— Сами видите — примитивная дикарская психология.

Они успели вернуться на корабль и взлететь, и лишь тогда Форасе нашел в себе силы поступиться гордостью:

— Я думал, что земляне никогда не владели математической психологией, потому что она у них не развилась. Откуда же тебе известна психология субгуманоидов? Никто в Галактике не развил эту науку настолько далеко!

— Знаешь, — улыбнулся Уильямс, — мы накопили кое-какие практические приемы обращения с племенами, не затронутыми цивилизацией. Видишь ли, мы прилетели с планеты, где большинство населения, образно говоря, не отличается цивилизованностью. Поэтому такие знания нам просто *необходимы*.

Форасе медленно кивнул.

— Ну ты и халявщик! Но этот небольшой эпизод, по крайней мере, кое-чему нас научил.

— Чему же?

— Никогда, — заявил Форасе, снова прибегая к жаргону землян, — не дразни чокнутых. Они могут оказаться куда более чокнутыми, чем ты думал!

ТУПИК

Я не умею судить о своих работах. Какие-то нравятся мне больше, какие-то меньше (таких, которые совсем не нравились бы, практически нет), но я не могу с уверенностью сказать: вот эта вещь лучше, чем все остальные. Поэтому Марти решает, какие из моих произведений будут опубликованы (если будут) в выпусках журнала «Эстаундинг».

Мне эта повестушка нравится, потому что она напоминает мне об одном периоде моей жизни, когда я сам был частью бюрократического аппарата — во время второй мировой войны, когда я служил на экспериментальной авиабазе военно-морского флота в Филладельфии (вместе с Робертом Хайнлайном и Л. Спрейгом де Кампом). В те годы мне постоянно приходилось сталкиваться с бюрократической волокитой и воистину головоломным канцелярским эпистолярным стилем, который я использовал в своей повести.

Я воспринял этот стиль как вызов и однажды, помнится, написал инструкцию на канцелярском жаргоне, стараясь сделать его как можно более замысловатым и усложненным и в то же время не отступать от правил. У меня оказались выдающиеся способности к этому

делу, и в результате я состряпал такой документ, который вполне мог подвести меня под военный трибунал. Но чувство юмора оказалось сильнее благоразумия, и я все же послал мое творение по инстанциям. Под трибунал меня не отдали. Напротив — меня похвалили и наградили за безукоризненно выполненную работу. Думаю, именно это обстоятельство и натолкнуло меня на идею «Тупика».

Один лишь раз в истории Галактики была открыта разумная раса негумановидов.

Лигурн Виер. Исторические эссе

Глава 1

От кого: Бюро Внешних Провинций

Кому: Людану Антиоху, старшему государственному администратору, А-8

Тема: Назначение на административную должность, имеющую «гражданский инспектор Цефея-18», согласно нижеизложенным основаниям

Основания:

- а) Постановление Совета № 2515 года 971-го Галактической Империи «Назначение должностных лиц Административной службы. Порядок и пересмотр назначений»
- б) Императорский указ Я-2374 от 243/975 Г. И.

1. Согласно основанию (а) вы назначаетесь на должность, поименованную в графе «Тема». Полномочия гражданского инспектора Цефея-18 распространяются на негуманоидных подданных Императора, проживающих на планете в условиях автономии согласно основанию (б).

2. В обязанности должностного лица, поименованного в графе «Тема», входит общий контроль за внутренними делами негуманоидов, координация деятельности учрежденных правительством исследовательских и контрольных комиссий, а также представление полугодовых отчетов обо всех аспектах жизни негуманоидов.

К. Морили, директор БюВнеПров
12/977 Г. И.

Людан Антиох внимательно выслушал собеседника и вежливо помотал своей круглой головой:

— Друг мой, я и рад бы помочь, но вы оседлали не ту лошадку. Ваш вопрос нужно решать в самом Бюро.

Томор Заммо откинулся на спинку кресла, яростно потер крючковатый нос, проглотил то, что намеревался сказать, и спокойно ответил:

— Логично, но непрактично. Я не могу сейчас лететь на Трантор. Вы — представитель Бюро на Цефее-18. Неужели вы совершенно бессильны?

— Видите ли, я хоть и гражданский инспектор, но обязан проводить здесь политику Бюро.

— Прекрасно! — вышел из себя Заммо. — Тогда скажите мне, наконец, в чем заключается политика Бюро! Я возглавляю научно-исследовательскую комиссию, учрежденную непосредственно самим Императором и обладающую неограниченными правами. И тем не менее гражданские власти на каждом шагу ставят мне палки в колеса, твердя, как попугаи, в свое оправдание о пресловутой «политике Бюро». Что это за политика и с чем ее едят? Кто-нибудь может объяснить мне по-человечески?

Антиох устремил на ученого безмятежно-невинный взор:

— Насколько я могу судить — прошу учесть, что это не официальное заявление, а потому не пытайтесь поймать меня на слове, — политика, проводимая Бюро, заключается в том, чтобы обращаться с негуманоидами как можно более гуманно.

— В таком случае какое право они имеют...

— Ш-ш-ш! Не надо повышать голос. Видите ли, Его Императорское Величество — гуманист и последователь философского учения Аврелия. Между прочим, ни для кого не секрет, что Император самолично установил здешние порядки. И уверяю вас, политика Бюро самым тщательнейшим образом следует монаршим установлениям. Сами понимаете, что плыть против *такого* течения я не в силах.

— Что ж, милый мой, — тяжелые веки физиолога еле заметно дрогнули, — со своими настроениями долго вы на этой должности не продержитесь. Нет, я не собираюсь вышибать вас из кресла, ничуть не бывало.

Оно само из-под вас ускользнет, потому что такими методами вы ничего не достигнете!

— Вот как? Отчего же? — Маленький, кругленький и розовенький, Антиох обычно с большим трудом изображал на своем толстощеком лице что-либо помимо веселой и дружелюбной приветливости — но сейчас оно было серьезно.

— Вы здесь недавно. А я давно! — хмуро ответил Заммо. — Вы не против, если я закурю? — Он небрежно подпалил кончик дешевой крепкой сигары и сказал, как отрезал: — Гуманности здесь не место, администратор. Вы обращаетесь с негуманоидами как с людьми, а это до добра не доведет. И вообще, я не люблю слово «негуманоиды». Они животные.

— Они разумны, — мягко возразил Антиох.

— Ну, значит, разумные животные. Полагаю, эти два понятия не являются взаимоисключающими. Как бы там ни было, а двум разумным расам в одном пространстве не ужиться.

— Вы предлагаете их истребить?

— Нет, Галактика меня побери! — Ученый взмахнул сигарой. — Я предлагаю относиться к ним как к объектам изучения, и не более. Мы многое могли бы узнать у этих животных, если бы нам позволили. И не только узнать, но и — подчеркиваю! — незамедлительно использовать полученные знания во благо человечества. Вот в чем заключается подлинная гуманность! Мы можем облагодетельствовать весь род людской, если уж вас так волнует этот бесхребетный культ Аврелия!

— Какие конкретно познания вы имеете в виду?

— Да какие угодно — хотя бы химию, например. Полагаю, вы уже слышаны об их успехах в области химии?

— Да, — признал Антиох. — Я просмотрел большинство отчетов о негуманоидах, опубликованных за последние десять лет. Надеюсь, отчеты будут поступать и впредь.

— Хм... Что ж, тогда мне остается лишь добавить, что химиотерапией они владеют в совершенстве. Я собственными глазами видел, как благодаря их пилюлям срстаются сломанные кости — вернее, то, что заменяет им кости. Пятнадцать минут — и перелома как не

бывало! Конечно, их лекарства для людей чистый яд, по крайней мере большинство. Но если нам удастся раскрыть механизм действия пилюль на негуманоидов, то есть на животных...

— Да, да. Я понимаю, насколько это важно.

— Неужели? Приятно слышать. А кроме того, нас интересует странный способ общения этих животных.

— Вы имеете в виду телепатию?

— Телепатия! Телепатия! Телепатия! — процедил физиолог сквозь зубы. — С таким же успехом можете назвать это колдовством. О телепатии никто не знает ровным счетом ничего, кроме самого слова «телепатия». Какой у нее механизм действия? Какая физиология, физика? Я и рад бы узнать, да не могу. Политика Бюро не позволяет — если, конечно, я вас слушаюсь!

Антиох поджал губки:

— Но... Простите, доктор, я вас не понимаю. Кто вам мешает? Гражданская администрация не препятствует научному исследованию негуманоидов. Я, разумеется, не могу отвечать за действия своего предшественника, но со своей стороны...

— Я не говорю о прямом вмешательстве. Но, клянусь Галактикой, администратор, нам препятствует самый дух вашей системы. Вы заставляете нас обращаться с животными как с людьми. Вы позволили им выбрать себе вождя, вы не вмешиваетесь в их внутренние дела, вы нянчитесь с ними, наделяете их так называемыми правами, как их понимает аврелианская философия! Я не могу договориться с их вождем.

— Почему?

— Потому что он отказывается развязать мне руки. Он не позволяет проводить опыты над животными без их собственного добровольного согласия. Нам удалось заполучить двух-трех добровольцев — это же курам на смех! Какие тут могут быть исследования!

Антиох беспомощно пожал плечами.

— К тому же, — продолжал Заммо, — мы не сможем узнать ничего стоящего о строении мозга, о физиологии и химическом составе этих животных, если нам не позволят их препарировать, не дадут проводить опыты с питанием и медицинскими препаратами. Сами

знаете, администратор, научные исследования — штука жестокая. В них нет места гуманности.

Людан Антиох с сомнением потер пальцем подбородок.

— Неужели нельзя обойтись без жестокости? Негуманоиды — безвредные создания. И конечно же, препарировать... По-моему, неплохо бы вам хоть немного изменить свое к ним отношение. Сдается мне, вы их терпеть не можете. Я хочу сказать, вряд ли стоит смотреть на них свысока...

— Свысока! Я вам не ньютик-социопсихолог, на которых нынче пошла такая мода! Если для решения проблемы требуется препарировать животное, ни в жизнь не поверю, что ее можно решить методом «правильного индивидуального подхода». Пусть хоть весь мир перевернется — не поверю!

— Ну и напрасно. Между прочим, все администраторы выше класса А-4 в обязательном порядке проходят социопсихологическую подготовку.

Заммо вытащил изо рта изжеванную сигару, выдержал долгую презрительную паузу и сунул сигару обратно.

— Тогда почему бы вам не испробовать свое искусство на вашем собственном Бюро? У меня есть кое-какие связи в Имперском суде, и с их помощью...

— Поймите, я не имею права указывать Бюро, что ему делать, по крайней мере впрямую. Генеральная стратегия не входит в мою компетенцию, ее вырабатывает Бюро. Но... знаете, мы могли бы попробовать, так сказать, обходной маневр. — Администратор еле заметно улыбнулся. — Тактический маневр.

— То есть?

Антиох многозначительно поднял указательный палец, а другой ладонью легонько похлопал по кипе связанных серых папок, громоздившихся рядами на полу возле его кресла.

— Я просмотрел большую часть отчетов. Скучно, конечно, но там попадаются и интересные факты. Например: когда, как вы думаете, родился последний негуманоидный младенец на Цефее-18?

Заммо ответил, не задумываясь:

— Не знаю. И знать не хочу.

— А вот Бюро захочет. На Цефее-18 не было ни одного новорожденного за последние два года — то

есть с тех пор как негуманоидов переселили на эту планету. Вы можете объяснить почему?

Физиолог пожал плечами.

— Слишком много потенциальных факторов. Необходимо исследование.

— Хорошо. Допустим, вы напишете отчет...

— Отчет? Я их штук двадцать уже настрочил!

— Напишите еще один. Обратите внимание Бюро на нерешенные проблемы. Подчеркните, что необходимо изменить методику исследований. Сделайте особый упор на проблему рождаемости. Бюро не осмелится ее проигнорировать. Если негуманоиды вымрут, кому-то придется держать ответ перед Императором. Видите ли...

Заммо вперил в инспектора подозрительный мрачный взгляд.

— Вы полагаете, они клонут?

— Я работаю на Бюро вот уже двадцать семь лет. И знаю их всех как облупленных.

— Я подумаю об этом.

Заммо встал и вышел из кабинета, хлопнув дверью.

Позже физиолог сказал своему коллеге:

— Он бюрократ до кончиков ногтей. Закопался по уши в бумажках и не смеет высунуть оттуда даже кончик носа. Сам он ничего не решит, но если мы его подтолкнем, может, что и получится.

От кого: Административный Центр Управления Цефея-18
Кому: БюВнеПров

Тема: Проект внешних провинций № 2563, часть 2: «Координация научных исследований негуманоидов на Цефее-18»

Основания:

а) Письмо БюВнеПров Цеф-Н-КМ/дг 100132 от 302/975 Г. И.

б) Письмо АдЦУ-Цеф-18 АА-ЛА/мн от 140/977 Г. И.

Приложение:

1. Отчет Научной группы-10, отделение физики и биохимии: «Физиологические характеристики негуманоидов Цефея-18, часть 11», датированный 172/977 Г. И.

1. «Приложение 1» пересылается в БюВнеПров для ознакомления с информацией. Считаю своим долгом подчеркнуть, что в разделе 12 (параграфы 1–16) «Приложения 1» предлагается изменить настоящую политику БюВнеПров по

отношению к негуманоидам с целью облегчения проведения физических и химических исследований, ведущихся в настоящее время в рамках основания (а).

2. Считаю необходимым обратить внимание Бюро на то, что в основании (б) уже обсуждалась возможность изменения методов исследований и что АдЦУ-Цеф-18 по-прежнему считает такое изменение преждевременным. Тем не менее АдЦУ-Цеф-18 предлагает включить в проект БюВнеПров вопрос о рождаемости негуманоидов ввиду несомненной важности данной проблемы, изложенной в разделе 5 «Приложения 1», и возложить ответственность за решение упомянутого вопроса на АдЦУ-Цеф-18.

Л. Антиох, инсп. АдЦУ-Цеф-18
174/977 Г. И.

От кого: БюВнеПров

Кому: АдЦУ-Цеф-18

Тема: Проект внешних провинций № 2563: «Координация научных исследований негуманоидов на Цефее-18»

Основание:

а) Письмо АдЦУ-Цеф-18 АА-ЛА/мн от 174/977 Г. И.

1. В ответ на предложение, выдвинутое в параграфе 2 основания (а), сообщаем: вопрос о рождаемости негуманоидов не может подлежать компетенции АдЦУ-Цеф-18. В связи с предположением НаучГруппы-10 о том, что бесплодие негуманоидов может быть обусловлено недостатком определенных химических веществ в составе пищевых продуктов, ответственность за все исследования в данной области возложить на НаучГруппу-10 как на наиболее компетентный орган.

2. Методы исследований, проводимых НаучГруппами, должны неукоснительно соответствовать текущим директивам, изложенным в проекте, поименованном в графе «Тема». Никаких изменений в политике не предусматривается.

К. Морили, директор БюВнеПров
186/977 Г. И.

Глава 2

Из-за своей гуттаперчевой гибкости и худобы репортер казался еще выше, чем был на самом деле. Звали его Густив Баннерд, и он обладал не только репутацией,

но и дарованием — две эти вещи, вопреки представлениям расхожей морали, не так уж тесно взаимосвязаны.

Людан Антиох смерил репортера недоверчивым взглядом:

— Нет смысла отрицать, вы совершенно правы. Но отчет НаучГруппы был строго конфиденциальным. Не понимаю, как...

— Утечка информации, — бесстрастно отозвался Баннерд. — Сведения всегда просачиваются.

Антиох, откровенно озадаченный, нахмурил румяное личико:

— Значит, мне придется заткнуть дыру, через которую они просачиваются. Я не могу пропустить вашу статью. Все упоминания о претензиях НаучГруппы должны быть вырезаны. Вы и сами это понимаете, разве не так?

— Нет. — Баннерд был по-прежнему невозмутим. — Это важная информация. И у меня есть свои права, подтвержденные Императорским указом. Я полагаю, Император должен быть в курсе того, что здесь творится.

— Но здесь ничего не творится! — отчаянно воскликнул Антиох. — Ваши домыслы не имеют под собой оснований. Бюро не собирается менять свою политику, я же показывал вам письма!

— Вы считаете, что сумеете противостоять давлению Заммо? — насмешливо поинтересовался репортер.

— Думаю, да. Если буду уверен, что он не прав.

— Если! — все также спокойно проговорил Баннерд. И вдруг взорвался: — Антиох, эти негуманоиды — настоящее чудо, в Империи нет больше ничего подобного! Правительство не в состоянии по достоинству оценить, каким сокровищем оно владеет! Чиновники уничтожают это сокровище! С негуманоидами обращаются как с животными...

— Право же... — неуверенно начал Антиох.

— Только не говорите мне про Цефей-18! Это типичный зоосад! Хорошо оборудованный зоосад, где ваши живодеры-ученые дразнят несчастных цефеидов, просовывая палки между прутьями. Да, вы бросаете им кусочки мяса, но вы заперли их в клетки. Я знаю, что говорю! Я пишу о них статьи вот уже два года. Я, можно сказать, почти живу среди них...

— Но Заммо говорит...

— Заммо! — В устах репортера это прозвучало как ругательство.

— Заммо говорит, — не сдавался Антиох, — что мы, наоборот, слишком нянчимся с ними — они, мол, животные, а мы обращаемся с ними как с людьми.

Впалые щеки репортера застыли, словно маска.

— Сам он животное, ваш Заммо. Поклонник науки! Поменьше бы таких поклонников! Вы читали труды Аврелия? — неожиданно поинтересовался Баннерд.

— М-м... Да. Насколько я знаю, Император...

— Император к нам благоволит. Не то что его предшественник, который преследовал нас и травил.

— Не понимаю, к чему вы клоните.

— Негуманоиды многому могут нас научить. Понимаете? Не тому, чем озабочен Заммо и его команда, — не химии и не телепатии. Научить образу жизни, образу мышления. У них нет преступности, нет отбросов общества. Кто-нибудь пытался изучить их философию? Или поставить эту проблему перед социальной инженерией?

Антиох задумался, складки на пухлом лице его разгладились.

— Интересная мысль. Вот настоящая задача для психологов...

— Вздор! Психологи в большинстве своем шарлатаны. Они умеют ставить проблемы, но их решения никуда не годятся. Тут нужны братья во Аврелии. Философские мужи...

— Но послушайте, мы же не можем превратить Цефей-18 в объект... в объект метафизического изучения!

— Почему нет? Еще как можем.

— Но каким образом?

— Прекратите все свои жалкие потуги превратить цефеидов в подопытных кроликов. Позвольте им создать свою социальную структуру без вмешательства человека. Предоставьте им неограниченную независимость, и пусть философские учения свободно взаимодействуют друг с другом...

— Такое невозможно сделать за один день, — нервно возразил Антиох.

— Но начать-то можно!

— Что ж, я не вправе запретить вам попробовать, — медленно проговорил администратор. Глаза его подернулись дымкой задумчивости, голос зазвучал доверительно: — Однако вы сами испортите себе всю игру, если опубликуете отчет НаучГруппы-10 и обвините ученых в отсутствии гуманности. Ученые — народ влиятельный.

— Мы, философы, тоже.

— Да, но существует более легкий путь. Не стоит метать в них громы и молнии. Просто намекните, что НаучГруппа не справляется с решением возложенных на нее задач. Намекните без эмоций, пусть читатели сами делают выводы. К примеру, напишите о проблеме рождаемости — это же безумно важная проблема! Нынешнее поколение негуманоидов может оказаться последним, несмотря на все усилия ученых. Подчеркните, что к этому вопросу нужен иной, философский подход. Можете выбрать любую проблему, какую — решайте сами. — Антиох встал, обворожительно улыбаясь: — Только, заклинаю вас Галактикой, не подымайте шума! К чему вам лишние кривотолки?

— Возможно, вы и правы, — сухо, не отвечая на улыбку, отозвался Баннерд.

Позже репортер написал коротенькое письмецо своему другу:

«Он, вне всякого сомнения, неумен. В голове полная каша, а в жизни нет никакой путеводной идеи. Абсолютно некомпетентен как специалист. Но умеет лавировать, приспособливаться, склонен к компромиссам и скорее пойдет на уступки, чем будет стоять непошибаемой скалой. Это качество может быть полезным для нас. Твой брат во Аврелии».

От кого: АдЦУ-Цеф-18

Кому: БюВнеПров

Тема: Статьи о рождаемости негуманоидов на Цефее-18

Основания:

а) Письмо АдЦУ-Цеф-18 АА-ЛА/мн от 174/977 Г. И.

б) Императорский указ Я-2374 от 243/975 Г. И.

Приложения:

1-Г. Статья Баннерда, место написания Цефей-18, дата 201/977 Г. И.

2-Г Статья Баннерда, место написания Цефей-18, дата 203/977 Г. И.

1. Бесплодие негуманоидов на Цефее-18, о котором сообщалось в основании (а), стало предметом обсуждения в галактической прессе. Статьи по данному вопросу прилагаются для ознакомления («Приложения 1 и 2»). Хотя упомянутые статьи основываются на данных, считающихся секретными и не подлежащими разглашению, репортер в ответ на вопрос об источнике информации сослался на право свободы печати, подтвержденное основанием (б).

2. В связи с невозможностью избежать публичной огласки и неизбежностью непонимания со стороны общественности просим БюВнеПров дать указания о дальнейшей политике в области проблемы бесплодия негуманоидов.

Л. Антиох, инсп. АдЦУ-Цеф-18
209/977 Г. И.

От кого: БюВнеПров

Кому: АдЦУ-Цеф-18

Тема: Исследование рождаемости негуманоидов на Цефее-18

Основания:

а) Письмо АдЦУ-Цеф-18 АА-ЛА/мн от 209/977 Г. И.

б) Письмо АдЦУ-Цеф-18 АА-ЛА/мн от 174/977 Г. И.

1. Вменить в обязанность АдЦУ-Цеф-18 исследовать причины и изыскать меры для предотвращения нежелательного падения рождаемости, упомянутого в основаниях (а) и (б). В связи с этим утвердить проект «Исследование рождаемости негуманоидов на Цефее-18», которому ввиду особой важности проблемы присвоить приоритетный разряд «АА».

2. Присвоить проекту номер 2910; ассигнования выделять из расчетного счета № 18/78.

К. Морили, директор БюВнеПров
223/977 Г. И.

Глава 3

Если пребывание в стенах экспериментального центра НаучГруппы-10 и улучшило настроение Томора Заммо, то дружелюбия оно ему не прибавило ни на грош.

Антиох, брошенный хозяином, одиноко стоял перед застекленной стеной, за которой простиралась главная полевая лаборатория.

Лаборатория представляла собой обширную площадку с теми же природными условиями, что были теперь на всем Цефее-18, — крайне неприятными для исследователей, но естественными для исследуемых. Сухой, насыщенный кислородом воздух и раскаленный песок плавилась в ослепительно белом солнечном сиянии. Посреди этого пекла по одному или парочками сидели, съезжившись, кирпичного цвета негуманоиды — жилистые, со сморщенной, свисающей складками кожей.

Из лаборатории вынырнул Заммо, жадно напился воды и посмотрел на гостей.

— Хотите туда зайти? — спросил он. Под носом у физиолога блестели капельки пота.

— Нет, благодарю вас. — Антиох решительно помотал головой. — Какая там сейчас температура?

— Сто двадцать в тени, если бы там была тень. А они жалуются, что им холодно. Сейчас начнется водопоёй — полюбуйтесь, если есть желание.

Струя воды выстрелила вверх из фонтана, расположенного в центре площадки. Приземистые фигурки, поднявшись на ноги, запрыгали наперегонки и сгрудились у фонтана, отпихивая друг друга. Прямо из середины лица у них выскочили длинные и гибкие кожаные трубочки, которые устремлялись в струю, а затем появлялись оттуда, усеянные каплями воды.

Так продолжалось довольно долго. Тела негуманоидов разбухли, обвисшие кожаные складки разгладились. Существа осторожно отступали от фонтана, засовывая питьевые трубочки в розовую сморщенную плоть над широким безгубым ртом, пока не втянули их внутрь окончательно.

— Животные! — презрительно сказал Заммо.

— И часто они пьют? — спросил Антиох.

— Да сколько захотят! Мы их поим каждый день, но они могут обходиться без воды целую неделю, если припрет. Они запасают воду под кожей. А по вечерам едят — они же еще и вегетарианцы.

Круглое личико Антиоха расплылось в улыбке:

— Приятно, что ни говори, увидеть все своими глазами. Надоело без конца читать отчеты.

— Да? — рассеянно бросил Заммо. И спросил: — А у вас какие новости? Что пишут голубенькие мальчики с Трантора?

Антиох уклончиво пожал плечами:

— Жаль, что вы сами не можете слетать в Бюро. Поскольку Император благоволит к аврелианам, гуманность нынче превыше всего. Да вы и сами знаете. — Администратор помолчал немного, нерешительно жуя губу. — Но проблему рождаемости передали-таки в ведение АдЦУ, и не просто так, а с приоритетом «двойное А».

Заммо пробурчал что-то себе под нос.

— Надеюсь, вы понимаете, — продолжал Антиох, — что проект рождаемости отныне приобретает преимущество перед всеми прочими исследованиями, проводимыми на Цефее-18. Это очень важный проект.

Антиох повернулся к стеклянной стене и вдруг без всякого перехода спросил:

— Вам не кажется, что они несчастны?

— Несчастны! — Слово прогремело подобно взрыву.

— Ну, я хочу сказать, они чувствуют себя не в своей тарелке, — торопливо поправился Антиох. — Вы понимаете? Трудно ведь абсолютно точно воссоздать условия среды, так мало зная о ее обитателях.

— Скажите, вы хоть раз видели ту планету, откуда мы их забрали?

— Я читал отчеты...

— Отчеты! — Безграничное презрение. — А я ее видел! Наша полевая лаборатория может казаться вам пустыней, но для них это просто райские кущи. Еды и питья хоть отбавляй — чего еще надо? Мы подарили им целую планету с растительностью и водными потоками взамен голых гранитных и кремниевых скал, где они с трудом выращивали в пещерах грибы, а воду выпаривали из гипсовых глыб. Да они там вымерли бы в ближайшее десятилетие, если б мы их не спасли! Несчастны? Га-а-ах! Если они несчастны, значит, они просто неблагоприятные твари, хуже всяких животных!

— Может, вы и правы. Но знаете, у меня есть одна идея...

— Какая еще идея? — Заммо достал сигару.

— Надеюсь, она окажется небесполезной для вас. Почему бы вам не попробовать более активно вовлечь негуманоидов в свои исследования? Дайте им возможность проявить себя. В конце концов, у них высокоразвитая наука, в ваших отчетах постоянно об этом говорится. Поставьте перед ними какую-нибудь задачу, пусть решают...

— Какую именно?

— Ну... — Антиох растерянно развел руками. — Да неважно какую, лишь бы на пользу дела. Например, космические корабли. Отведите негуманоидов в рубку и наблюдайте за реакцией.

— Зачем? — резко спросил Заммо.

— Да затем, что их реакция на инструменты и приборы, предназначенные для человека, может о многом вам рассказать. И в то же время так вы гораздо быстрее завоюете их расположение. У вас появится куда больше добровольцев, если они заинтересуются тем, что делают.

— Ваша психологическая подготовка дает себя знать. Хм-м... Звучит довольно заманчиво... Надо будет обмозговать. Но даже если я соглашусь, кто меня пустит с этими животными в рубку звездолета? В моем личном распоряжении нет ни единого корабля, а при одной только мысли о том, сколько сил придется положить, чтобы пробить все бюрократические препоны, мне просто дурно становится.

Антиох задумался, слегка наморщив лобик.

— Ну, это не обязательно должны быть звездолеты... Но если идея вам по душе, вы можете предложить ее Бюро от своего имени. Напишите отчет — авторитетно, так, как вы умеете, — а я со своей стороны постараюсь привязать его к проекту рождаемости. Под проект с двойной литерой «А» можно получить все что угодно и без особых проблем.

— Что ж, посмотрим. — Заммо, несмотря на явную заинтересованность, не смягчился ни на йоту. — А сейчас мне пора. У меня эксперимент по основному

обмену веществ в самом разгаре. Я подумаю над вашим предложением. В нем что-то есть.

От кого: АдЦУ-Цеф-18

Кому: БюВнеПров

Тема: Проект внешних провинций № 2910, часть 1: «Исследование рождаемости негуманоидов на Цефее-18»

Основание:

а) Письмо БюВнеПров Цеф-Н-КМ/кар 115097 от 223/977 Г. И.

Приложение:

1. Отчет НаучГруппы-10, отделение физики и биохимии, датированный 220/977 Г. И., часть 15

1. «Приложение 1» пересылается в БюВнеПров для ознакомления с информацией.

2. Особое внимание просим обратить на раздел 5 (параграф 3) «Приложения 1», содержащий заявку на предоставление в распоряжение НаучГруппы-10 космического корабля с целью проведения исследований, одобренных БюВнеПров. АдЦУ-Цеф-18 считает, что упомянутые исследования могут внести большой вклад в работу, проводимую ныне в рамках проекта, поименованного в графе «Тема» и утвержденного основанием (а). Принимая во внимание приоритетность вышеозначенного проекта, просим рассмотреть заявку НаучГруппы незамедлительно.

Л. Антиох, инсп. АдЦУ-Цеф-18
240/977 Г. И.

От кого: БюВнеПров

Кому: АдЦУ-Цеф-18

Тема: Проект внешних провинций № 2910: «Исследование рождаемости негуманоидов на Цефее-18»

Основание:

а) Письмо АдЦУ-Цеф-18 АА-ЛА/мн от 240/977 Г. И.

1. В ответ на запрос, содержащийся в «Приложении 1» основания (а), передать в распоряжение АдЦУ-Цеф-18 учебный корабль АН-Р-2055 с целью проведения исследований над негуманоидами на Цефее-18 в рамках проекта, поименованного в графе «Тема», а также прочих проектов, утвержденных Бюро.

2. Настоятельно рекомендуем всеми возможными способами ускорить работу над вышеупомянутым проектом.

К. Морили, директор БюнеПров
251/977 Г. И.

Глава 4

Маленькое красно-коричневое существо явно чувствовало себя неуютно, хотя и всячески старалось это скрыть. Оно зябко куталось в теплую хламиду — а между тем в кабинете стояла такая жара, что от людей в летних рубашках пар валил клубами.

— Немного сыро для меня, но при столь низкой температуре сырость легче переносится, — тщательно выбирая слова, пронзительным голосом пропищало существо.

— Крайне признателен вам за любезный визит, — улыбнулся Антиох. — Я сам собирался к вам в гости, но ваша атмосфера для меня — непосильное испытание... — Улыбка сделалась извиняющейся.

— Ну что вы, не стоит благодарности. Вы, чужепланетные человеки, сделали для нас больше, чем мы когда-либо сумели сделать для себя сами. Небольшие неудобства, которые мне нетрудно претерпеть, — лишь малая толика, коей мы способны возместить наш неплатный долг.

Речь цефеида была уклончивой, словно он подбирался к своим мыслям в обход, со стороны, или почитал прямой разговор верхом неприличия.

Густив Баннерд, сидевший в углу комнаты, забросив одну длинную ногу на другую, проворно застрочил в блокноте и спросил:

— Вы не против, если я запишу вашу беседу?

Цефеид мельком взглянул на журналиста.

— Я не против.

Антиох же продолжал оправдываться:

— Это не просто светский визит, сэр. Ради светской беседы я не стал бы подвергать вас таким неудобствам. Но нам необходимо обсудить жизненно важные вопросы, а вы ведь вождь своего народа.

— Мне приятно, что намерения ваши благи, — кивнул цефеид. — Продолжайте, пожалуйста.

Администратор только что не извивался всем телом — так усердно старался покорректнее облечь свои мысли в слова.

— Это вопрос деликатный, — сказал он, — и я никогда не осмелился бы вынести его на обсуждение, не имей он такого... э-э... животрепещущего значения. Я всего лишь чиновник — так сказать, рупор правительства...

— Мой народ считает чужепланетное правительство благожелательным правительством.

— Да, конечно, оно благожелательно. Именно поэтому мое правительство весьма обеспокоено фактом отсутствия рождаемости у вашего народа.

Антиох прервался, встревоженно ожидая реакции, но реакции не последовало. Лицо цефеида было неподвижно, лишь слегка подрагивали морщинки в том месте, где была спрятана питьевая трубка.

— Мы не решались поставить перед вами этот вопрос, — продолжал Антиох, — ибо он касается чрезвычайно интимных вещей. Невмешательство в личную жизнь — основной принцип моего правительства, и мы изо всех сил старались самостоятельно найти разгадку, не тревожа вас и ваш народ. Но, вынужден признать, мы...

— Потерпели неудачу? — закончил цефеид, видя нерешительность Антиоха.

— Вот именно. Во всяком случае, мы не нашли никаких фатальных ошибок в системе воссоздания природных условий вашей родной планеты, правда, условия эти пришлось смягчить, дабы сделать их более пригодными для жизни. Наши ученые считают, будто всему виной недостаток каких-то химических веществ. Поэтому я прошу вас о добровольной помощи. Ваш народ далеко обогнал нас в области биохимии. Конечно, если вы не в состоянии или не желаете нам помочь...

— Нет, нет, я могу помочь! — Было похоже, что цефеид обрадовался. Его гладкий безволосый череп со свисающими складками кожи наморщился, выражая непонятные людям эмоции. — Никто из нас и помыслить не мог, что вы, чужепланетные люди, будете озабочены этим вопросом. Ваша озабоченность лишний

раз подтверждает ваши благие намерения. Мир, созданный вами, мы находим прекрасным. Это настоящий рай по сравнению с нашей родной планетой. О таких природных условиях нам приходилось лишь слышать в легендах о Золотом веке...

— Тогда...

— Есть одно обстоятельство. Боюсь, вы не сумеете понять. Наивно ожидать, чтобы две разумные расы могли мыслить одинаковыми категориями.

— Я попытаюсь понять.

Голос цефеида смягчился, в нем отчетливо зазвучали напевные, нежные полутона:

— На своей родной планете мы вымирали. Но мы боролись. Многие достижения нашей науки, развивавшейся в течение всей истории, более длительной, чем ваша, были утеряны безвозвратно. Многие, но не все — возможно, оттого, что в основе нашей науки лежала биология, а не физика, как у вас. Ваш народ открыл новые формы энергии и устремился к звездам. Наш народ сделал открытия в области психологии и психиатрии и построил общество, свободное от болезней и преступности.

Нет смысла спорить о том, какое из двух направлений развития более похвально, но нет также и никаких сомнений насчет того, какое из них оказалось более удачным. Все, что могла сделать биология в нашем умирающем мире, лишенном источников энергии и жизненно важных ресурсов, — это облегчить процесс умирания.

И все-таки мы боролись. В последние столетия мы усиленно работали над разгадкой секрета атомной энергии, и вот недавно перед нами забрезжила надежда, что мы сможем оторваться от поверхности планеты, державшей нас в плену, и улететь к звездам. Вернее, к ближайшей звезде, всего за двадцать световых лет, и то не зная, существует ли у нее планетная система, и предполагая, что скорее всего не существует.

Но любой жизни присущ инстинкт, не позволяющий ей сдаваться, даже если дальнейшая борьба представляется бессмысленной. К тому времени нас осталось пять тысяч. Всего пять тысяч! И мы построили свой первый космический корабль — экспериментальный и

наверняка обреченный на неудачу. Но мы уже разбирались в принципах движения и навигации, мы разработали маршрут...

Повисла тяжелая пауза. Маленькие черные глазки цефеида затуманились от воспоминаний.

Из угла внезапно раздался голос репортера:

— И тут явились мы?

— И тут явились вы, — согласился цефеид. — И все сразу переменялось. Энергии нам давали сколько хочешь, только попроси. Новый мир, уютный и удобный, прямо-таки идеальный мир, нам подарили даже без всякой просьбы. Свои социальные проблемы мы давно решили сами, а более трудную проблему окружающей среды за нас неожиданно решили вы, и не менее успешно.

— Ну и?.. — подбодрил цефеида Антиох.

— Ну и... что-то в этом было неправильное. Наши предки столетиями бились над проблемой полетов к звездам, а звезды, как выяснилось, давно уже были вашей собственностью. Мы боролись за жизнь, а вы просто взяли и преподнесли ее нам в подарок. Нам не за что больше бороться. И стремиться тоже больше не к чему. Вселенная принадлежит вашей расе.

— Но эта планета — ваша, — ласково возразил Антиох.

— Из милости. Как дар. Она не наша по праву.

— По-моему, вы заслужили ее.

Цефеид устремил на собеседника пристальный взгляд:

— У вас добрые намерения, но, боюсь, вы не понимаете. Нам некуда идти из подаренного вами мира. Мы зашли в тупик. Жизнь — это борьба, а ее у нас отняли. Жизнь потеряла для нас интерес. Мы сознательно не производим потомства. Таким образом мы решили сами убраться с вашей дороги.

Антиох машинально снял с подоконника флюорошар и крутанул его. Объемистая, трехфутового диаметра разноцветная сфера завертелась, отражая потоки света, и невероятно легко и грациозно поплыла по воздуху.

— Значит, вы не видите другого выхода? Только бесплодие?

— Мы могли бы попытаться бежать, — прошептал цефеид, — но куда? В Галактике нет для нас места. Она принадлежит вам.

— Да, если вы хотите быть независимыми, то ближе Магеллановых Облаков места вам не найти. Магеллановы Облака...

— Но вы не пустите туда нас одних. Хотя у вас благие намерения, я знаю.

— Да, мы печемся о вашем благе, а потому не можем вас отпустить.

— У вас превратное представление о том, что для нас благо.

— Возможно. И все-таки... может, вы попытаетесь смириться? В вашем распоряжении целая планета.

— Я не в силах вам объяснить, у вас другой образ мышления. Мы не можем смириться — и мне кажется, администратор, что вы сами пришли к такому же выводу. Мысль о тупике, в который мы попали, как в западню, для вас не новость.

Антиох ошарашенно поднял глаза, протянул ладонь и остановил вращение флюорошара.

— Вы читаете мои мысли?

— Это только догадка. Правильная, насколько я понимаю.

— Да, но вы в состоянии читать мои мысли? Мысли людей вообще, я имею в виду. Мне любопытно было бы узнать. Наши ученые утверждают, что вы не можете этого делать, но мне порой кажется, что вы просто не хотите. Впрочем, наверное, я не должен был задавать такой вопрос. Я и так уже злоупотребил вашим вниманием...

— Нет... что вы... — Маленький цефеид поплотнее закутался в свою хламиду и на мгновение уткнулся лицом в толстый воротник с электрообогревом. — Вы, чужепланетные человеки, говорите о чтении мыслей. Это совсем другое, но объяснять просто бессмысленно.

— Слепому от рождения не объяснишь, что значит зрение, — пробормотал Антиох старую поговорку.

— Да, верно. Мы не можем «читать» ваши мысли, как вы выражаетесь, хотя выражение это совершенно неправильно. Дело не в том, что у нас не хватает органов восприятия — дело в том, что ваш народ не

умеет передавать мысли, а мы не в силах научить, как это делается.

— Хм-м...

— Конечно, временами, когда у вас, чужепланетных человеков, бывают особенно сильные всплески эмоций или напряженная сосредоточенность мыслей, некоторые из нас, особенно зоркие, так сказать, улавливают нечто. Не могу утверждать, но подчас мне чудится...

Антиох опять раскрутил флюорошар. Румяное лицо администратора задумчиво застыло, глаза не отрывались от цефеида. Густив Баннерд размял пальцы и, беззвучно шевеля губами, принялся перечитывать свои записи.

Флюорошар кружился, а цефеид со все возрастающим вниманием следил за разноцветными бликами, перебегающими по поверхности хрупкой диковинки.

— Что это? — спросил он наконец.

Антиох вздрогнул, лицо его прояснилось, по нему разлилась почти веселая безмятежность.

— Это? Модная штучка трехлетней давности — когда-то вся Галактика по ним с ума сходила, а нынче они безнадежно вышли из моды. Безделица, но приятная. Баннерд, вас не затруднит зашторить окна?

Раздался тихий щелчок, и окна превратились в глухие, непроницаемо черные пятна, а от флюорошара полились пульсирующие потоки ярко-розового свечения. Антиох — пунцовая фигура в пунцовой комнате — поставил шар на стол и тронул его красной ладонью. Шар завертелся, засиял разноцветьем красок, понемногу ускоряя вращение; краски то смешивались, то разделялись ошеломительно контрастными сполохами.

Антиох, переливаясь всеми цветами радуги, пояснил:

— Шар сделан из материала с варьирующейся флюоресцентностью. Он почти невесом, безумно хрупок, но гироскопически сбалансирован так, что редко падает, если обращаться с ним аккуратно. Он довольно красивый, этот шарик, вы не находите?

Голос цефеида донесся словно откуда-то издалека:

— Очень красивый.

— Но, к сожалению, мода на него прошла — окончательно и бесповоротно.

— Он очень красивый, — повторил отрешенный голос цефеида.

Баннерд нажал на кнопку. Окна обрели прозрачность, а шар мгновенно поблек.

— Теперь вам пора идти, — сказал, вставая, Антиох. — Если вы задержитесь дольше, боюсь, здешняя атмосфера скажется на вашем здоровье. Премного благодарен вам за любезность.

— Это я вам премного благодарен. — Цефеид тоже встал.

— Между прочим, большая часть вашего народа приняла наше предложение попрактиковаться в управлении современными звездолетами. Для вас не секрет, я полагаю, что нашей целью было изучение реакции вашего народа на человеческую технику. Надеюсь, вы не чувствуете себя задетыми?

— Вам незачем извиняться. У меня, например, не оказалось никаких задатков будущего пилота, но все равно это было интересно. Напомнило нам о наших собственных попытках — и о том, как близко мы подошли к решению проблемы.

Цефеид удалился. Антиох сел, нахмурился и несколько даже резко обратился к Баннерду:

— Смею надеяться, вы не забыли о нашем уговоре? Это интервью не для публикации!

— Как скажете, — пожал плечами Баннерд.

Антиох, сидя за столом, рассеянно крутил в пальцах маленькую металлическую статуэтку.

— Что вы думаете обо всем этом, Баннерд?

— Мне жаль их. Представляю, каково им сейчас. Мы должны наставить их на путь истинный, и философии это под силу.

— Вы уверены?

— Да.

— Мы, конечно же, не можем их отпустить.

— Нет, конечно. Это исключено. Нам слишком многому нужно у них научиться. Думаю, их настроение преходяще. Они изменят свое решение, особенно когда мы предоставим им полную независимость.

— Возможно. А что вы скажете насчет флюорошара, Баннерд? Цефеиду он явно понравился. По-моему, это был бы красивый жест — закупить и подарить им несколько тысяч шаров. Клянусь Галактикой, ведь рынок ими просто затоварен, мы могли бы купить их по дешевке!

— А что, хорошая мысль! — отозвался Баннерд.

— Да, но Бюро ни в жизнь не согласится. Я их знаю. Глаза репортера сузились:

— А ведь идея действительно стоящая! Цефеидам нужны какие-то новые впечатления,

— Да? Вообще-то... можно попытаться. Предположим, я включу вашу стенограмму сегодняшнего интервью в свой отчет и ненавязчиво обращу внимание Бюро на эту идею с шарами. А вы... В конце концов, вы ведь член Философского общества и наверняка имеете влиятельных друзей, чьи рекомендации будут более весомы для Бюро, нежели мои. Вы меня понимаете?

— Да-а, — задумчиво протянул Баннерд. — Да-а.

От кого: АдЦУ-Цеф-18

Кому: БюВнеПров

Тема: Проект ВнеПров № 291Q, часть 2: «Исследование рождаемости негуманоидов на Цефее-18»

Основание:

а) Письмо БюВнеПров Цеф-Н-КМ/кар 115097 от 233/977 Г. И.

Приложение:

1. Стенограмма беседы между Л. Антиохом, инспектором АдЦУ-Цеф-18, и Ни-Саном, Старейщиной негуманоидов на Цефее-18.

1. «Приложение 1» пересылается в БюВнеПров для ознакомления с информацией.

2. В ходе исследования, поименованного в графе «Тема» и предпринятого во исполнение указаний основания (а), были выявлены новые обстоятельства, изложенные в «Приложении 1». Заверяем БюВнеПров, что предпринимаются все возможные меры для того, чтобы перебороть опасный психологический настрой, наблюдающийся ныне у большинства негуманоидов.

3. Считаю своим долгом отметить, что Старейшина негуманоидов на Цефее-18 выказал интерес к флюорошарам.

Начинаем предварительное исследование данного проявления негуманоидной психологии.

Л. Антиох, инсп. АдЦУ-Цеф-18
272/977 Г. И.

От кого: БюВнеПров

Кому: АдЦУ-Цеф-18

Тема: Проект ВнеПров № 2910: «Исследование рождаемости негуманоидов на Цефее-18»

Основание:

а) Письмо АдЦУ-Цеф-18 АА-ЛА/мн от 272/977 Г. И.

1. На основании «Приложения 1» основания (а) выделить через департамент торговли пять тысяч флюорошаров для пересылки на Цефей-18.

2. Во исполнение монаршей воли и Его Императорского Величества установлений вменить в обязанность АдЦУ-Цеф-18 приложить все усилия для того, чтобы убаготворить негуманоидов и устранить причины их недовольства.

К. Морили, директор БюВнеПров
283/977 Г. И.

Глава 5

Ужин подошел к концу. В залу внесли вино, гости вытащили сигары. Присутствующие разбились на группы, и в центре самой многочисленной оказался капитан торгового флота. Его блестящая белоснежная форма буквально завораживала слушателей.

Капитан самодовольно разглагольствовал:

— Подумаешь, большое дело! Я и не такие караваны водил, что мне триста кораблей! Но, надо признаться, подобного груза у меня еще не бывало. Представляете: тащить сюда, на край света, пять тысяч флюорошаров! Клянусь Галактикой!

Людан Антиох тихонько рассмеялся, пожав плечами:

— Это для негуманоидов. Надеюсь, груз не был слишком тяжелым?

— Тяжелым — нет, но объемистым — это точно. Шары такие хрупкие, что больше двадцати на корабль не впихнуть, особенно если соблюдать все правила транспортировки — груз-то бьющийся! Но, в конце

концов, денежки платит правительство, пусть у него голова и болит.

— Похоже, вы впервые столкнулись со стилем работы правительственных чиновников, капитан? — мрачно усмехнулся Заммо.

— Нет, Галактика их побери! — взорвался капитан. — Я стараюсь избегать госзаказов, это правда, но не всегда удается. Скажу вам откровенно: чиновников на дух не выношу! Бюрократы паршивые! Канцелярские крысы! Все жилы из меня вытянули своей бумажной волокитой. Это же злокачественная опухоль на теле Галактики! Будь моя воля, я бы их всех разогнал!

— Вы несправедливы, капитан, — возразил Антиох. — Вы не понимаете.

— Да? Ну что ж, вы ведь тоже из племени бюрократов. — Капитан сопроводил последнее слово дружелюбной улыбкой. — Может, вы мне растолкуете?

— Видите ли, управление государством — нелегкий труд, — смущенно начал Антиох. — В состав Империи входят тысячи планет и миллиарды жителей, и все они требуют заботы. Управлять такой машиной немислимо без четко организованного аппарата. На сегодняшний день, если не ошибаюсь, только в Имперской Административной службе работают порядка четырехсот миллионов людей, и чтобы координировать их действия, а также суммировать полученную информацию, правительству необходимы «канцелярские крысы», как вы изволили выразиться. Вы можете считать бюрократическую систему бессмысленной и бестолковой, она может действовать вам на нервы, но без нее не обойтись. Каждый листок бумаги — это ниточка, объединяющая усилия четырехсот миллионов человек. Ликвидируйте Административную службу — и вы разрушите Империю, а вместе с ней и межпланетный мир, и порядок, и цивилизацию.

— Ну, это вы хватили! — проворчал капитан.

— Ничего подобного. — Антиох был искренне взволнован. — Структура и законы административной системы должны быть достаточно всеобъемлющи и жестки, чтобы некомпетентный чиновник — а бывают и такие: вы можете смеяться, но некомпетентными бывают не только чиновники, но и ученые, и репортеры,

и даже капитаны, — так вот, чтобы даже некомпетентный чиновник не смог причинить ей большого вреда. В худшем случае система просто будет продолжать функционировать без одного звена.

— Да-а, — кисло проворчал капитан, — а если, предположим, чиновником назначат умного парня? Его ваша жесткая система зажмет в клещи и превратит в бездарную посредственность.

— Ерунда! — дружелюбно отозвался Антиох. — Умный человек может, работая в рамках системы, сделать все, что захочет.

— Каким же образом, интересно? — поинтересовался Баннерд.

— Ну... Как бы вам объяснить... — Антиох неожиданно замялся. — Один из способов — это, например, добиться, чтобы ваш проект внесли в разряд приоритетных, под литерой «А» или «двойное А», если получится.

Капитан запрокинул голову, намереваясь от души расхохотаться, но осуществить свое намерение не успел: дверь внезапно распахнулась и в залу вбежали перепуганные люди. Они кричали все разом, так что слов было не разобрать. Наконец сквозь общий гвалт до присутствующих донеслось:

— Сэр, корабли улетели! Негуманоиды захватили их силой!

— Что? Все?!

— Все до единого! Эти твари захватили корабли...

Два часа спустя беседовавшая ранее четверка собралась, уже без прочих гостей, в кабинете Антиоха.

Антиох холодно сказал:

— Они разыграли все как по нотам. Не оставили ни одного звездолета, даже ваш учебный, Заммо, прихватили. В этом секторе Галактики сейчас нет правительственных кораблей. Пока мы организуем погоню, беглецы уже выйдут за пределы Галактики и будут на полпути к Магеллановым Облакам. Капитан, вы обязаны были обеспечить более надежную охрану.

— Мы только что приземлились, первый день после перелета! — вскричал капитан. — Мне и в голову не приходило...

— Погодите-ка минуту, капитан, — резко оборвал его Заммо. — По-моему, до меня начинает доходить. Антиох! — грозно обратился он к администратору. — Это вы организовали им побег!

— Я? — Лицо у Антиоха было до странности холодным, чуть ли не безучастным.

— Вы говорили нам сегодня, что умный администратор может сделать все, что захочет, если добьется, чтобы его проекту присвоили «двойное А». Вы добились своего и помогли негуманоидам смыться!

— Я? Помилуйте, да мыслимое ли это дело? Да ведь не кто иной, как вы сами, в собственном своем отчете, забили тревогу о падении рождаемости. И не кто иной, как присутствующий здесь Баннерд, своими сенсационными статьями запугал Бюро до того, что оно решило присвоить проекту двойной приоритет. Я тут вообще ни при чем.

— Но именно вы посоветовали мне написать о рождаемости! — совсем взъярился Заммо.

— Да что вы говорите? — невозмутимо отозвался Антиох.

— А мои статьи о рождаемости! — вдруг прорезался Баннерд. — Ведь это вы подбивали меня их писать!

Разъяренная троица струдилась над Антиохом, мирно сидевшим за столом. Администратор непринужденно откинулся в кресле и проговорил:

— Избавьте меня от своих инсинуаций. Если вы хотите меня в чем-то обвинить, то будьте любезны, представьте доказательства. По имперским законам в качестве доказательств принимаются письменные материалы, стенограммы, записи на пленках, а также заявления, сделанные в присутствии свидетелей. Вся моя корреспонденция хранится или здесь, или в Бюро, или в других официальных местах. Ни в одном из писем я не просил о двойном приоритете. Бюро по собственной инициативе присвоило моему проекту разряд «двойное А», опираясь на материалы, представленные Заммо и Баннердом. Так что вы оба ответственны за случившееся. По крайней мере, так выходит по документам.

— Вы обвели меня вокруг пальца и заставили, как последнего дурака, учить этих тварей управлять звездолетом! — нечленораздельно прорычал Заммо.

— Это было *ваше* предложение. У меня в папочке подшит отчет, в котором вы предлагаете понаблюдать за реакцией негуманоидов на нашу технику. Такой же документ хранится и в Бюро. Доказательство — законное доказательство — налицо. А я ко всему этому не имею ни малейшего отношения.

— И к шарам тоже? — взвился Баннерд.

— Вы нарочно заставили меня привести сюда корабли! — неожиданно взревел капитан. — Пять тысяч шаров! Вы знали, что для них понадобятся сотни звездолетов!

— Я в жизни не заказывал никаких шаров, — сдержанно ответил Антиох. — Идея принадлежала Бюро, хотя, я думаю, друзья Баннерда по Философскому обществу тоже внесли свою лепту.

Баннерд чуть не задохнулся.

— Да вы же... Вы же спрашивали у вождя цефеидов, умеет ли он читать мысли! Вы велели ему заинтересоваться шарами!

— Ах бросьте! Вы сами вели стенограмму нашей беседы, у меня она тоже подшита. Ваши обвинения голословны. — Администратор поднялся из-за стола. — Прошу меня извинить, но мне необходимо подготовить отчет для Бюро.

В дверях Антиох обернулся:

— Кстати, а ведь проблема негуманоидов решена, пусть даже исключительно в их пользу. Теперь они снова начнут размножаться и больше никому не будут обязаны жизнью. Именно этого они и хотели. И еще, позвольте вас предупредить: не пытайтесь меня потопить своими дурацкими обвинениями. Я, как-никак, канцелярская крыса с двадцатисемилетним стажем, и в бумажной работе знаю толк: я в любой момент могу доказать безупречную правильность всех своих действий. Кстати, капитан, я бы с удовольствием продолжил нашу беседу. Если захотите, я объясню вам, каким образом толковый администратор может в рамках бюрократической системы добиться всего, чего пожелает!

И вот что примечательно: оказалось, что такое округлое детское личико способно изобразить ну очень саркастическую улыбку!

От кого: БюВнеПров

Кому: Людану Антиоху, старшему государственному администратору, А-8

Тема: Подтверждение служебного соответствия должностного лица Административной службы

Основание:

а) Решение Суда АдСлужбы № 22874-Ку от 1/978 Г. И.

1. Благоприятное решение, представленное в основании (а), безоговорочно снимает с вас ответственность за побег негуманоидов с Цефея-18. Предписываем вам находиться в полной готовности, дабы принять следующее назначение.

Р. Хорпритт, главный директор АдСлужбы
15/978 Г. И.

Содержание

Азазел.

Перевод М. Левина

Введение	7
Демон ростом в два сантиметра	10
Всего один концерт	20
Улыбка, приносящая горе	27
Кому достаются трофеи	37
Неясный рокот	46
Спаситель человечества	57
Дело принципа	69
О вреде пьянства	82
Время писать	93
По снежку по мягкому	107
Логика есть логика	124
Кто быстрее свой путь пройдет	135
Глаз наблюдателя	146
Есть многое на небе и земле	159
Угадывание мысли	171
Весенние битвы	184
Галатея	197
Полет фантазии	210
Сумасшедший ученый	226

Тупик

Такой прекрасный день. <i>Перевод С. Трофимова</i>	241
День охотников. <i>Перевод А. Шарова и В. Постникова</i>	269
Перст обезьяны. <i>Перевод А. Шарова и В. Постникова</i>	280
Паштет из гусиной печени. <i>Перевод А. Иорданского</i>	293
Прикол. <i>Перевод А. Волнова</i>	315
Тупик. <i>Перевод И. Васильевой</i>	335

МИРЫ АЙЗЕКА АЗИМОВА

В двенадцати книгах

Книга двенадцатая

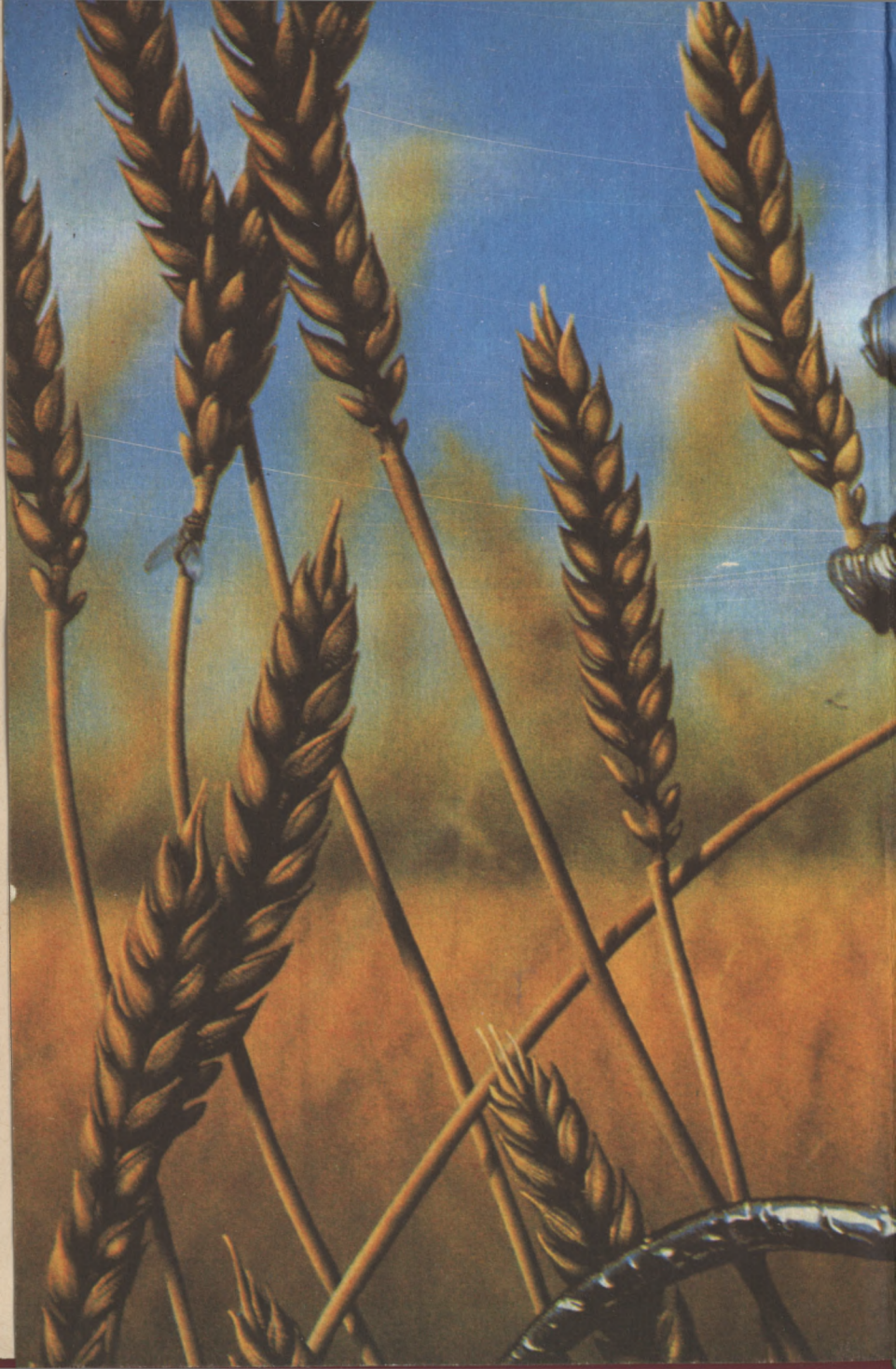
В оформлении использована работа
Тима Уайта

Составитель *А. Новиков*
Главный редактор *А. Захаренков*
Ответственный за выпуск *Е. Чутов*
Редакторы *А. Александрова, М. Проворова*
Технический редактор *К. Козаченко*
Корректоры *Ж. Голубева, Н. Дундина, Е. Ошуркова*
Оператор компьютерной верстки *Н. Жук*
Художественное оформление серии: *М. Захаренкова*
Оформление шмуцтитлов: *В. Ковалев*

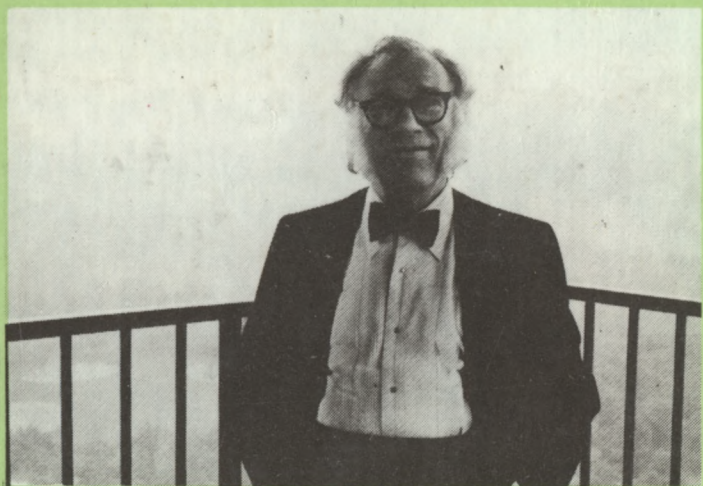
ЛР № 062455 от 23.03.93

Подписано в печать с готовых диапозитивов 24.11.94.
Формат $84 \times 108^{1/32}$. Бумага типографская.
Гарнитура Балтика. Печать высокая.
Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 20,32. Уч.-изд. л. 20,56.
Тираж 18 500 экз. Заказ № 4-412.

Издательская фирма «Полярис»,
Латвийская Республика, LV-1039, Рига, а/я 22
Книжная фабрика им. М. В. Фрунзе,
310057, Харьков, ул. Донец-Захаржевского, 6/8







АЗАЗЕЛ

РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1994